Юрий Лукин

ДВА ПОРТРЕТА

Юрий Лукин

ДВА ПОРТРЕТА

А.С. Макаренко

М. А. Шолохов

Критико-биографические очерки

Московский рабочий

1975

8Р2
Л 84

Лукин Ю. Б.
Л 84 Два портрета. М., «Моск. рабочий», 1975. 416 с.

Юрий Лукин – известный литературный критик, литературовед, кинодраматург. Более тридцати лет отдал он труду нелёгкой профессии журналиста-правдиста. Его статьи по вопросам литературы, искусства публиковались в газетах, журналах, сборниках. Немало книг советских прозаиков вышло под редакцией Лукина или с его предисловием. Он создал ряд телевизионных передач, посвящённых творчеству советских писателей. Так случилось в жизни Лукина, что ещё в начале тридцатых годов судьба счастливо свела его с Антоном Макаренко и Михаилом Шолоховым. Он был первым читателем и редактором многих произведений этих писателей, разделял с ними радость появления новых книг. Долгие годы личного общения с Макаренко и Шолоховым, углублённое знакомство с лабораторией их мастерства дали возможность автору этой книги сказать о выдающихся прозаиках-гуманистах живое слово современника.

$Л\frac{70202-273}{М72(03)-75}233-75$

8Р2

© Издательство «Московский рабочий», 1975 г.

Прим. при оцифровке: в бумажном издании страницы с фотографиями не пронумерованы, поэтому нумерация страниц после вкладок с фотографиями в электронном издании отличается от бумажного на соответствующее число страниц-вкладок.

ОТ АВТОРА

Что побудило меня и что позволило соединить под одной обложкой очерки о двух таких не похожих друг на друга писателях, как Антон Семёнович Макаренко и Михаил Александрович Шолохов? Творчество этих художников слова столь различно, что вопрос, поставленный мною перед собой в самом начале, разумеется, возникнет у любого, если не у каждого, читателя, взявшего в руки книгу. Это вполне естественно.

Однако среди ряда других обстоятельств есть, по крайней мере, четыре основных, разрешивших мне такую попытку.

Первое. Речь идёт о двух писателях-гуманистах, в чьём творчестве идеи и направленность гуманизма революционного получили одно из наиболее сильных выражений, их произведения буквально пронизаны этими идеями, в публицистике обоих выдающихся прозаиков их идейно-художественные концепции закреплены в формулах и помогают уяснить творческие позиции того и другого писателя. Два портрета писателей. Два портрета гуманистов.

Второе. Некоторые линии сближения можно усмотреть уже в ранних моментах биографий. Оба пришли в литературу из самой гущи жизни. Один боролся за установление и укрепление Советской власти

на Дону. Другой на Украине, в годы хозяйственной разрухи, голода, начал свою благородную работу воспитателя, стремясь сохранить самый ценный капитал страны, её будущее – детей. Педагогическая деятельность Макаренко известна весьма широко. Любопытно напомнить, что хотя бы малой чёрточкой перекликается с этим и биография юного Шолохова. Причём в обоих случаях объект воспитания, обучения был несколько необычен с современной точки зрения, его выдвигали насущные требования тех лет и дней. Тогда это было исключительно злободневно. Макаренко, как известно, взялся за работу с беспризорными детьми. Шолохов в своих родных местах участвовал в работе по ликвидации неграмотности среди взрослого населения нашей страны. Это, конечно, совпадение, которого могло и не быть, но другие стороны вопроса весьма важны: воспитание нового человека, формирование его взглядов, его характера – этому посвящено, собственно говоря, всё, что написано тем и другим. Итак, два портрета художников слова. Два портрета воспитателей человеческой души.

Третье. Не хотелось бы стараться скрыть от читателя очевидную особенность книги: то, что оба эти писателя – самые мои любимые в советской литературе. Два портрета любимых писателей.

Четвёртое. Автору этих строк выпало в жизни большое счастье работать с тем и другим мастером, встречаться с ними, близко узнать их. Два портрета, рисованные, хотя бы частично, с натуры.

Хочу надеяться, что читатель не осудит меня за мысль построить книгу в таком виде, в каком она и предложена его вниманию.

А. С. Макаренко

ПРИСЯГА

«Я отвечаю за то, чтобы в моей работе было прямое, политическое, боевое влияние, тем более сильное, чем больше моё художественное дарование.

Я отвечаю за то, что в своей работе я буду честен и правдив, чтобы в моём художественном слове не было искажения перспектив и обмана. Там, где я вижу победу, я должен первым поднять знамя торжества, чтобы обрадовать бойцов и успокоить малодушных и отставших. Там, где я вижу прорыв, я должен первым ударить тревогу, чтобы мужество моего народа успело как можно раньше прорыв ликвидировать. Там, где я вижу врага, я должен первым нарисовать его разоблачающий портрет, чтобы враг был как можно раньше уничтожен».

Этими строгими и вдохновенными словами Антона Семёновича Макаренко, звучащими как клятва, как боевая присяга, хочется начать работу, рассказывающую о его жизни и творчестве, претендующую на то, чтобы в ней был очерчен его облик – писателя, педагога, человека. Слова присяги писателя-гражданина, писателя-борца явились живым откликом на высокую награду. В феврале .1939 гола за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской литературы Антон Семёнович Макаренко был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Он гордился тем, что в ряду писателей, чей труд отмечен партией, правительством, народом, стоит и его имя. В выражении народного одобрения он видел утверждение того, что в общей линии борьбы ему поручен определённый участок, за который он отвечает перед народом, утверждение того, что он не художник-партизан, а художник-организатор, уполномоченный народом выражать стремления и «перспективные

профили» нашей жизни. Орден, полученный им, подчёркивал для Макаренко идею его ответственности, и поэтому он прежде всего считал себя обязанным сознавать, за что он отвечает перед родным советским народом. Он так хорошо виден в этих словах.

ГОРЬКИЙ В ЕГО ЖИЗНИ

На рабочем столе у Макаренко в простой, скромной рамке стоял портрет Максима Горького. Особенное значение имел великий пролетарский писатель, основоположник литературы социалистического реализма, в жизни автора «Педагогической поэмы».

О том, в какой степени были связаны жизнь и творчество Макаренко с именем Горького, вспоминаешь всякий раз, раскрывая эту книгу, видя посвящение: «С преданностью и любовью нашему шефу, другу и учителю Максиму Горькому»,– и погружаясь в мир образов, взятых писателем из реальной действительности и обретших новую жизнь как создание искусства, как могучее средство воспитания человеческого характера.

Богато литературное и научно-педагогическое наследство Антона Семёновича Макаренко, писателя выдающегося таланта и крупнейшего новатора в педагогической науке и практике. Наша литература, литература социалистического реализма, и передовая советская педагогическая наука вправе гордиться им.

Можно ли разделить литературу и педагогику в деятельности Макаренко? Не случайно дал он своему лучшему литературному произведению название «Педагогическая поэма». Читая эту подлинную поэму в прозе, мы видим, что она от первой до последней строки проникнута идеями воспитания. Воспитания нового, советского человека.

«Педагогическую поэму» читают миллионы. Но сегодняшний её читатель, особенно молодой, не всегда знает жизненный путь того, кто написал эту книгу, кто был создателем детской колонии имени Максима Горького.

У человека и писателя Макаренко особая биография. Его литературными героями стали те, чьи характеры он создавал непосредственно в жизни.

•

Антон Семёнович Макаренко родился в 1888 году, в городе Белополье, на Украине. Отец его был маляром, потом заведовал малярным цехом и работал помощником мастера сборного цеха в мастерских Харьковско-Николаевской железной дороги.

Окончив в 1904 году городскую школу в Кременчуге, а в следующем году – одногодичные педагогические курсы, Антон Семёнович получил звание учителя народных училищ и право преподавать в двухклассных училищах.

Тридцать два года работал он на педагогическом поприще. Начал свою деятельность в Крюковском, затем некоторое время преподавал в Долинском железнодорожном училище. От той поры дошли до нас воспоминания его товарищей по работе, рисующие внутренний облик молодого учителя-революционера, в настоящем смысле живого человека, с острым умом, широким кругозором и подлинно горьковским уважением к человеческому достоинству.

Уже тогда Макаренко испытал на себе огромное влияние идей и самого образа буревестника русской революции. «В удушливые годы перед японской войной,– писал он впоследствии,– в том захолустье, где прошла моя молодость, литературные явления замечались с большим опозданием... И тем ярче и ослепительнее прорезало нашу мглу непривычно простое и задорное имя: Максим Горький... Горький вплотную подошёл к нашему человеческому и гражданскому бытию. Особенно после 1905 года его деятельность, его книги и его удивительная жизнь сделались источником наших размышлений и работы над собой».

Глубокая внутренняя связь, родство помыслов и убеждений находили своё выражение в практических делах. Мы узнаём об этом из свидетельства самого Макаренко:

«Максим Горький сделался для меня не только писателем, но и учителем жизни. А я был просто «народным учителем», и в моей работе нельзя было обойтись без Максима Горького. В железнодорожной школе, где я учительствовал, воздух был несравненно чище, чем в других местах; рабочее, настоящее пролетарское общество крепко держало школу в своих руках... Из этой школы вышло много большевиков.

И для меня, и для моих учеников Максим Горький был организатором марксистского мироощущения. Если понимание истории приходило к нам по другим путям, по путям большевистской пропаганды и революционных событий, по путям нашего бытия в особенности, то Горький учил нас ощущать эту историю, заражал нас ненавистью и страстью и ещё большим уверенным оптимизмом, большой радостью требования: «Пусть сильнее грянет буря!»

Человеческий и писательский путь Горького был для нас ещё и образцом поведения. В Горьком мы видели какие-то кусочки самих себя, может быть даже бессознательно мы видели в нём прорыв нашего брата в недоступную для нас до сих пор большую культуру».

Естественно было тогда для молодого Макаренко думать: чтобы закрепить эту победу, расширить её завоевания, надо прорываться в «большую культуру» именно литературным путём. Так появляется в 1914 году его рассказ, озаглавленный «Глупый день».

В рассказе речь шла об одном действительном событии, известном автору. Некий поп ревновал свою жену к местному учителю. Держал в страхе и жену и учителя. Но вот попа заставили отслужить молебен по случаю открытия «Союза русского народа» – черносотенной организации. И после этого почувствовал он, что потерял право даже на ревность, потерял власть над женой, а молодая его жена, наоборот, получила право относиться теперь к нему с презрением.

Автор послал своё детище Максиму Горькому. Ответ не обрадовал новичка: рассказ, интересный по теме, написан слабо, драматизм переживаний основного действующего лица неясен, нет фона, диалог неинтересен. Горький заканчивал своё письмо начинающему литератору советом написать что-нибудь другое.

Оказалось, что интересной темы ещё мало, нужна писательская техника, нужно что-то знать о «фоне», нужно предъявлять серьёзные требования к диалогу. А главное – необходим талант. И вот первая неудача в новом для него деле привела Макаренко к мысли, что именно главного-то у него и нет, писателем ему не быть. Сгоряча он не прислушался к внимательному, товарищескому совету Горького продолжить писательские опыты.

Но эта же неудача в литературе заставила его задуматься над тем, что и скромный учитель может много сделать

на своём участке культурного фронта. Чтобы продолжить педагогическое образование, Антон Семёнович поступает в октябре 1914 года в Полтавский учительский институт.

Ученье там было на короткий срок (с сентября 1916 по апрель 1917 года) прервано призывом в действующую армию, где Макаренко служил ратником – так именовался нижний чин – ополчения второго разряда 27-й пешей Воронежской дружины.

Антон Семёнович оканчивает институт с отличным аттестатом, золотой медалью и выдающейся характеристикой. С тех пор он целиком посвящает себя педагогическому труду.

Но по-настоящему полно раскрылся его талант лишь в советское время.

Необъятные перспективы распахнулись перед талантливым педагогом после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Жизнь страны настоятельно требовала решения насущных проблем коммунистического воспитания. Все свои силы, всё своё творчество Макаренко безраздельно посвятил неутомимой, страстной борьбе за воспитание нового, советского человека.

Всегда он был вдохновенным начинателем, смело пролагающим новые пути. Его новаторство опиралось на глубокие теоретические знания, на тщательное и зоркое изучение жизни, на живой, практический опыт воспитательной работы. Он был подлинным борцом и в педагогической работе, и в литературном творчестве.

В первые годы Советской власти Антон Семёнович работал инспектором высшего начального железнодорожного училища в Крюкове, заведовал начальным городским училищем в Полтаве.

В 1920 году произошло событие, круто повернувшее всё течение его жизни, ставшее важнейшей вехой в его биографии.

«В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе...» – такими простыми словами начинается «Педагогическая поэма». А это и стало событием, получившим огромное значение для всей дальнейшей судьбы Макаренко: его назначили на пост заведующего полтавской колонией для правонарушителей, которой позже было присвоено имя Максима Горького.

Читатель «Педагогической поэмы» видит, как педагог

Макаренко начинал свою воспитательную работу среди тех, кому в условиях царской России была бы уготована в конце концов судьба обитателей ночлежного дома и кого завоевания Октябрьской революции должны были вывести и – в результате могучего воздействия коренных факторов советской действительности – вывели на верную, широкую дорогу трудовой жизни.

Многое приходилось Макаренко решать наново. Ни опыта, ни традиций в этой области педагогической работы – работы с беспризорными детьми – накоплено ещё не было. А если и имелись «традиции» дореволюционных колоний для малолетних преступников, то такие «традиции», которые предстояло сломать.

Педагог Макаренко выдвинул перед собой задачу гораздо более глубокую, нежели вопрос о воспитании беспризорного ребёнка. Он должен воспитать достойных, счастливых граждан социалистического общества. А это ставит во всём объёме вопросы коммунистического воспитания.

Талантливый педагог обращался своей напряжённо ищущей мыслью снова к Горькому, к его гордым думам о Человеке. Черпал силы в его оптимизме, постигал правду марксистского обобщения в изображённых им картинах жизни русского общества и, убеждаясь в том, как глубоко показаны в горьковском творчестве «все проклятья капитализма», формулировал: «Горький прекрасно доказал, что капиталистическое общество губительно... для всего человечества». Он высоко ценил умение Горького видеть в человеке положительные силы, учился этому умению и горьковской требовательности к человеку.

Как-то, значительно позже, Макаренко сказал: «Уже не подлежит сомнению, что средний моральный и политический уровень гражданина Советского Союза несравненно выше уровня подданного царской России и выше уровня среднего западноевропейского человека. Не подлежит сомнению, что причины этих изменений лежат в самой структуре общества и его деятельности... Суть в том, что легче и свободнее реализуются положительные человеческие потенциалы, которые раньше не реализовались. В этом величайшее значение нашей революции и величайшая заслуга Коммунистической партии». В 1920 году, когда Макаренко лишь приступал к деятельности в колонии для правонарушителей, понимание этого ещё только начинало у него

складываться. Но и тогда он много думал о «мудрости жизни», которую видел в сочетании горьковского оптимизма и требовательности; о той страстности, с какой Горький находил в человеке героическое; о том, как любовался великий гуманист скромностью человеческого героизма; о том, как по-новому вырастало понятие героического в образах, которые дал автор повести «Мать». Он учился у Горького непримиримости в борьбе, ненависти к старому миру, уважению и любви к трудовому человеку – «мудрому строителю жизни».

Ища верного решения проблем советской педагогики, Макаренко руководствовался осмыслением самой природы нового человеческого общества, рождённого Октябрём и начинавшего стройку новой жизни в трудное и незабываемое время.

«Дно» принципиально было невозможно в Советской стране, и мои «горьковцы» очень скоро возымели настойчивое намерение,– писал Антон Семёнович,– не ограничиться простым всплыванием наверх, их соблазняли вершины гор, из горьковских героев больше других импонировал им Сокол».

Смелая мысль педагога-новатора, глубоко верившего во всемирно-историческое дело советского народа, не останавливалась на полпути. Руководя колонией, впоследствии описанной в «Педагогической поэме», формируя умы и души у тех, в ком царские чиновники усмотрели бы только юных правонарушителей, Макаренко разрабатывает методику коммунистического воспитания. В книге он повествует о том, как создавал методические принципы, накапливал опыт, вдохновляясь всё время горьковским идеалом человека, осуществляя в своей практической работе, как он выражался, «методику горьковского отношения к человеку».

Перелистаем последние страницы «Педагогической поэмы». Мы найдём:

«Только пятьдесят пацанов-горьковцев пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой комплект находок, традиций и приспособлений, целый ассортимент коллективной техники, молодой техники освобождённого от хозяина человека. И на здоровой, новой почве, окружённая заботой чекистов, каждый день поддержанная их энергией, культурой и талантом, коммуна выросла в коллектив

ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы «исправления человека»... Далёкий, далёкий мой первый горьковский день, полный позора и немощи, кажется мне теперь маленькой-маленькой картинкой в узеньком стёклышке праздничной панорамы». Какие события в жизни Макаренко произошли между этими двумя днями, о которых говорится в приведённых строках? Какие события совершились в дальнейшем? О многом рассказала сама книга, но о многом узнаём мы и из других источников.

Колония имени М. Горького под Полтавой возникла в ту пору, когда первая мировая война, а затем продолжавшаяся гражданская война оставили сотни детей без родителей, без средств к существованию, сделали беспризорными. В колонии собрали мальчиков и девочек от двенадцати до восемнадцати лет. Макаренко так определяет состав колонистов: «Всё это были характеры по меньшей мере оригинальные. Тут были не только воришки; некоторые из этих молодых людей обвинялись в изнасиловании, проституции, подделке документов, в бродяжничестве – в общем, тёмная, невежественная компания, проникнутая духом анархизма в его самых примитивных формах».

В труднейших условиях Макаренко за восемь лет напряжённой и самоотверженной, подвижнической работы создал образцовый воспитательный коллектив. К 1928 году в колонии насчитывалось около четырёхсот воспитанников. В ней организовали столярную, сапожную и швейную мастерские, молочное хозяйство, свиноферму. Воспитатели, во главе с Антоном Семёновичем, не щадя себя трудились для того, чтобы дать подросткам радость труда, радость приобщения к культуре, радость творчества, чтобы их жизнь в колонии стала «заполненной и прекрасной». У колонистов имелись своя школа-семилетка, где училось триста мальчиков и сто девочек, свой оркестр, свой театр. Большое внимание уделялось тому, чтобы колонисты ходили в красивых костюмах, чтобы их окружало изобилие цветов. Воспитатели сумели привить колонистам сознание ответственности перед всем коллективом, готовность охотно выполнять возлагаемые на них обязанности, понимание того, что их личное благо неразрывно связано с благом всей страны.

Коллектив скрепляла задушевная дружба. Колония

представляла собой свободное объединение людей, никого не заставляли жить здесь насильно. Один из ведущих принципов в педагогических воззрениях Макаренко нашёл выражение в том, что подверглись уничтожению оградительные стены, заборы, которые могли бы помешать, если б кто-то захотел уйти из колонии. Воспитательный процесс в колонии был настолько действенным, что колонисты со временем стали наиболее передовыми людьми во всей округе и даже оказывали благотворное влияние на местное население.

Макаренко считал основным своим правилом в воспитательной работе: «Как можно больше уважения к человеку, и как можно больше требования к нему». Он рассказывает, что требовал от своих воспитанников энергии, целеустремлённости, общественной активности, уважения к коллективу и интересам коллектива. Вполне понятно, утверждает он, что с такой точки зрения грань между уважением и требовательностью фактически стирается. Сам факт, что от человека много требуют, показывает, что его уважают, а уважение само по себе заставляет быть требовательным. Педагог Макаренко не ограничивал своей воспитательной методики какой-либо короткой формулой, которая годилась бы на все случаи жизни. Была рождена опытом и выверена на опыте чрезвычайно «детализированная и далеко идущая» система правил и законов. В результате напряжённого и упорного труда выработались и также длительным опытом закреплялись традиции колонии как воспитательного коллектива.

Передовиками в коллективе были комсомольцы, выросшие здесь же, в колонии. Каждый воспитанник являлся членом одного из рабочих, трудовых отрядов в десять – пятнадцать человек. Выбор командира доверялся самому отряду. Главные, жизненные вопросы колонии решались советом командиров отрядов вместе с воспитателями.

Исключительное значение в жизни коллектива имела переписка с Горьким. Колония стала постоянным и весьма активным корреспондентом великого писателя, жившего тогда в Италии. Письма воспитанников и самого Макаренко сообщали обо всех новостях их жизни.

После ответа Алексея Максимовича на первое письмо Макаренко каждый из отрядов написал отдельно, рассказывая о своих делах и заботах. С тех пор в Сорренто обычно отправлялись два пакета – один от Антона Семёновича,

другой, большой, от колонистов. И Горький, как правило, отвечал двумя письмами. Они читались перед всей колонией; такой день становился праздником для горьковцев.

Каждое письмо в этой переписке – драгоценный человеческий документ.

Первое письмо в Италию пошло 8 июля 1925 года, когда коллективу горьковцев исполнилось почти пять лет. В нём заведующий колонией писал Алексею Максимовичу, что, выбирая Горького своим шефом, колонисты руководились не простым желанием носить имя известного всему миру лица, а «какой-то глубокой родственностью между Вами и нами». Эту родственность колонисты видели и чувствовали, подчёркивал Антон Семёнович, «не только в том, что и Ваше детство подобно детству наших ребят, и. не только в том, что многие типы в Ваших произведениях – это наши типы, но больше всего в том, что Ваша исключительная вера в человека, нечто единственное во всей всемирной литературе, помогает и нам верить в него. Без такой веры мы не могли бы 5 лет работать без отдыха в колонии. Теперь эта вера стала и верой наших хлопцев, она создаёт в нашей колонии здоровый, весёлый и дружный тон, которому удивляются все, кто у нас бывает».

Как на главное доказательство успешности педагогической работы в колонии Антон Семёнович указывал на то, что подростки, присланные к ним принудительно, по постановлению судебных органов, и носившие позорное клеймо правонарушителей, через несколько месяцев уже гордились своим положением колонистов, да ещё горьковцев.

Лаконично сообщал он о трудностях, пережитых и переживаемых колонией. Со свойственным ему юмором и склонностью к парадоксам писал: «К нашему счастью, нас никто никогда не баловал особенным вниманием». Здесь выражалась мысль о том, что хотя колония пережила много тяжёлых дней – две зимы воспитанники даже не имели тёплой одежды и обуви,– но, по крайней мере, невмешательство реакционеров-педологов на первых порах и жизнь колонии дало ей возможность возникнуть и окрепнуть. Антон Семёнович писал о том, что коллектив успешно справляется с постоянным наличием тридцати процентов новеньких, которые привносят в колонистскую общину беспорядочный дух городской улицы, рынка, вокзалов,

притонов; о том, что под влиянием дружной семьи более старых колонистов этот дух очень быстро исчезает и «только в редких случаях... приходится приходить в отчаяние».

Чрезвычайно характерно для представления о тоне и стиле коллектива упоминание о том, что день колонии – это «строгий до минуты трудовой комплекс. Но почему-то он у нас всегда проходит со смехом и шутками». Особенное оживление наступало в праздничные дни. У колонистов были и собственные праздники – «День первого снопа» и «День первого хлеба»: колония принимала множество гостей, горожан и крестьян. Задушевно рассказывал руководитель колонии о том, как отмечался там день рождения Горького: «Зато... в день Вашего рождения мы не приглашаем никого. Нам всем это страшно нравится. Колония вся украшается флагами и зеленью (сосны у нас свои). В столовой белоснежные скатерти, все в праздничных костюмах, но ни одного чужого человека. Ровно в 12 часов к Вашему портрету торжественно выносится знамя и вся колония до единого человека усаживается за столы. Всегда в этот день у нас печётся именинный пирог. Произносятся короткие, но горячие и душевные речи. В этот день мы ежегодно повторяем:

– Пусть каждый колонист докажет, что он достоин носить имя Горького.

Обед заканчивается множеством сладостей – это единственный день, когда мы позволяем себе некоторую роскошь».

Макаренко писал, что простота и немногословие делали этот праздник особенно прекрасным, что колонисты когда вспоминали что-нибудь, то обычно говорили: «Это было до именин» или «после именин».

Четыре года подряд в эти дни колонисты ставили у себя пьесу «На дне».

И заканчивалось письмо рассказом о том, что в день «именин» колонисты с особенной страстью мечтают о приезде своего шефа; вслух рисуют себе картину, что было бы, если бы он приехал к ним на целый месяц; что свою надежду видеть у себя Максима Горького они не решаются превратить в просьбу, так как знают – ему не позволяет приехать здоровье.

Живая, сердечная переписка полна интереснейших мыслей. Горький своим мудрым, проницательным взглядом сразу оценил огромное дело, которое начинал скромный

педагог-энтузиаст. В первом же письме Алексей Максимович просил сказать колонистам, что они живут в дни, когда особенно требуется от человека любовь к труду, необходимому для того, чтобы построить на земле новую, свободную, счастливую жизнь. Письмо заканчивалось словами: «Привет работникам, это всегда – самые великие герои в истории человечества, в деле, цель которого – свобода и счастье!»

Общение с Горьким окрыляло Макаренко. Горький смело звал вперёд. Он высказывал Макаренко искреннее уважение за его «умный, прекрасный труд». И с каким, должно быть, волнением читал Антон Семёнович строки, отвечавшие его самым сокровенным мыслям: «Мне хотелось бы, чтоб осенними вечерами колонисты прочитали моё «Детство», из него они увидят, что я совсем такой же человечек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моём желании учиться и не боялся никакого труда».

Горький в своих ответах на письма Макаренко и колонистов неоднократно выражал желание быть чем-нибудь полезным колонии. Он предлагал высылать книги, музыкальные инструменты для оркестра, не раз хотел помочь своими хлопотами в особенно трудные для коллектива дни.

Антон Семёнович и колонисты отвергали эту помощь: они считали, что если общение с Горьким станет им полезным в какомлибо материальном отношении, это будет профанацией их чувства к нему. «Вы для нас дороги и страшно «полезны» только тем, что живёте на свете». Ярко передана в одном из писем гордость колонистов тем, что они носят имя Горького. «А теперь,– говорится в этом письме,– когда мы почувствовали Вас не только как символ, а как живую личность, когда мы все держали в руках лист, который держали и Вы, и когда мы услышали Ваши слова, обращённые к нам, о свободной и счастливой жизни, нам сам чёрт не брат. Ваше шефство для нас большое счастье, и много, очень много сделано нашими воспитателями только благодаря Вам».

Макаренко, педагоги, вся колония с единственной просьбой обратились к Горькому: если он будет в России, когда-нибудь подарить им знамя.

«Может быть, Вы не согласитесь со мной, что это будет страшно хорошо. И «полезно». Простите за шутку.

Хлопцы заваливают мой стол своими письмами. И спрашивают:

«А это ничего, что мы так написали?» После этого можно ещё пять лет поработать в колонии».

Письма Горького творили, по словам Антона Семёновича, чудеса, во всяком случае они делали работу нескольких воспитателей. И, вчитываясь в эту переписку, перебирая эти письма одно за другим, вникая в глубокий, полный высокого человеческого достоинства их подтекст, за которым стоит полная суровой борьбы жизнь, сделанная в упорном и одухотворённом труде радостью,– какой чёрствый человек сможет без комка, подступающего к горлу, читать строки: «Нужно быть художником, чтобы изобразить наши настроения после Ваших писем. С внешней стороны как будто нечего протоколировать. Сидит за столом председатель и возглашает: «Слушается предложение Максима Горького!» А в это время зал никак не может настроиться на деловой лад. Глаза у всех прыгают, чувства тоже прыгают, и всё это хочет допрыгнуть до Вашего портрета и что-нибудь сделать такое... Ночью в куренях мечтают о том, как будут Вас встречать, когда Вы приедете, какую Вам дадут комнату, чем будут кормить. Наши хлопцы ведь всегда были одиноки: отцы, матери, дедушки, бабушки – всё это растеряно давно, мало кто помнит о них. А любовь у них требует выхода, и вот теперь такое неожиданное и великое счастье – можно любить Вас».

Извещал Антон Семёнович шефа колонии и о тех сложных размышлениях, которыми был охвачен перед «завоеванием» Куряжа. Он характеризовал впервые увиденную им детскую колонию в Куряже как яму, ужаснее которой не встречал. Наркомпрос Украины боялся, что горьковцы ничего не сделают с двумястами куряжан, что они сами потеряют свою стройность и дисциплину. И звучала в письме постоянная макаренковская нота бодрости, непоколебимой веры в силу здорового, правильно организованного коллектива: «Посмотрим. Дело, кажется, выгорит. Задача страшно трудная, но у нас есть ещё пафос».

Следующее письмо отправлено только через полтора месяца. Это реляция об одержанной победе. Победа состояла в том, что горьковцы добились права переехать в Куряж, сохранить за колонией имя Максима Горького и вступить в борьбу с «огромным клубком копошащихся в грязи, распущенных подростков, привыкших к пьянству и матерной ругани», заразить их «хоть небольшим пафосом, увлечь моей верой в их человеческую ценность (Вашей верой)».

Не скрывал Антон Семёнович и того, что «немного побаивался». Никогда ещё не приходилось ему «сразу нагружать свою волю и нервы такой массой человеческого несчастья, принявшего уже формы застаревших язв».

Отправляясь с двумя воспитанниками в Куряж принимать колонию, Макаренко «в этот критический и, может быть, самый интересный момент» в жизни колонии благодарил Горького от имени всей колонии за ту энергию и бодрость, которые вселяло в них одно его имя, не говоря уже о живом общении с ним.

Из Куряжа Антон Семёнович писал о том, что трудно представить себе большую степень запустения, хозяйственного, педагогического, просто человеческого. Он писал, что двести детей живут здесь не умываясь, не зная, что такое мыло и полотенце, загаживают всё вокруг себя, потому что нет уборных, отвыкли от всякого подобия дисциплины,– но что дети это в общем хорошие и горьковцы надеются за лето привести их в некоторый порядок. «Жизнь начинается интересная и страшно напряжённая. Самая главная задача – изжить потребительскую философию наших новых питомцев... Мы надеемся, что огромная работа по ремонту и развитию хозяйства поможет нам перевести эту философию на рабочие рельсы».

Горький чутко воспринял боевой дух колонистов, их стремление взять самую сложную задачу, вступить в борьбу с жестокими трудностями, двинуться вперёд в своём собственном развитии. Он сердечно поздравлял колонистов с переездом на новое место, желал всем им новых сил, душевной бодрости, веры в своё дело. Его письмо таило в себе огромную вооружающую силу философского обобщения.

«Прекрасное дело делаете Вы,– писал великий гуманист,– превосходные плоды должно дать оно.

Земля эта – поистине наша земля. Это мы сделали её плодородной, мы украсили её городами, избороздили дорогами, создали на ней всевозможные чудеса, мы, люди, в прошлом – ничтожные кусочки бесформенной и немой материи, затем – полузвери, а ныне – смелые зачинатели новой жизни.

Будьте здоровы и уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиться и расцвести, чтобы она обогатила землю ещё большими чудесами».

Получив это письмо, Макаренко сделал куряжцам доклад о Горьком. Ребята были в течение двух с половиной часов захвачены рассказом о жизни любимого писателя. Антон Семёнович прочитал им также выдержки из «Детства» и «В людях». После читалось письмо.

Антону Семёновичу казалось, что запущенным, одичалым ребятам трудно будет понять любовь Горького к Человеку и горьковскую веру в человеческую культуру, что придётся многое им объяснять.

«Но когда я прочитал письмо на общем собрании и увидел, как блестели глаза набежавшей слезой, я понял, что эти оборванные, худые дети тоже имеют отношение к человеческим идеалам и что это Вы силою своего слова заставили их это почувствовать.

Вечером все писали Вам письма...»

Макаренко рассказывал о настроениях колонистов:

«По Вас прямо скучают. Как будто раньше видели Вас и давно уже пора повидаться. На Вашем портрете разглядывают морщинки и спрашивают, какого Вы роста и какой у Вас голос. Я говорю, что Вы высокий, худой, говорите басом, очень сердитый и страшно добрый. А какого цвета Ваши усы, затруднился определить... 15-й отряд (они гордятся тем, что ближе всего к Вам – работают в пекарне) прекрасно, хоть и глупо, выражает общие чувства: «В эту минуту готовы обнять Вас в своих молодых, но крепких объятиях и крепко расцеловать». Если Вы к нам приедете, то Вам придётся плохо, потому что некоторые обладатели молодых, но крепких объятий производят очень внушительное впечатление...»

Алексея Максимовича волновали «милые письма колонистов», он с радостью получал эти «каракули, написанные трудовыми руками». «Вас я крепко обнимаю, удивительный Вы человечище и как раз из таких, в каких Русь нуждается»,– читаем мы в том же письме. Он просил Макаренко принять «почтительный поклон» и «удивление пред Вашей силой воли».

Сила воли Макаренко не была сломлена и последующей борьбой против злейших его врагов – педологов и украинских буржуазных националистов, ожесточённо травивших его самого и шельмовавших его постановку воспитания в колонии имени М. Горького. Хотя Антон Семёнович и признавался, что после того, как колония чуть не погибла, а он нажил «кучи врагов» и начал чувствовать усталость,– всё же

он стойко боролся за своё дело, непоколебимо веря в его правоту.

Уже пришлось ему уйти из управления колониями и отбиваться от «всяких кирпичей вдогонку», всё больше горьких нот появлялось в его письмах, но теперь рядом с прежней колонией существовала коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, организацию коллектива которой поручили педагогам и колонистам – горьковцам. Здесь был дворец – паркет, дубовая мебель, мастерские, оборудованные новейшей техникой, души, ванны, прекрасная одежда, обильная пища. И в прежней колонии, хотя не было этого комфорта, хотя в спальнях обувь примерзала к полу, валилась всюду штукатурка, «в каторгу обратилась топка печей», нередко срывался «мат», «светили иногда голые колени», шла «отчаянная борьба за жизнь, за каждую латку, за огрызки ботинок»,– несмотря на всё это, царили весёлый, дружный тон, дисциплина, смех, гремел оркестр, играя «Весёлого горьковца»... «Ждут весны,– писал Макаренко,– и с весной того, чего ждут семь лет, с чем уже ушли многие из колонии,– ждут Вашего приезда. Сомнений в том, что Вы к нам заедете, нет ни у одного, вопросы и проблемы только в одном: как Вас принять, как встретить, как пищать от восторга и радости, когда Вы приедете».

Антон Семёнович оговаривался, что лучше своих воспитанников знает, как будет нужен Горький в каждом уголке России, что не уверен даже, имеют ли они право просить его заехать к ним, но несколько строк в одном из томов выходивших тогда сочинений Горького, где говорилось о колонии, дают и ему, Макаренко, некоторую надежду.

Хочется поклониться мужеству и сердцу этого человека, когда читаешь его скорбные и полные гордости и веры слова:

«Мы всё сделаем, чтобы к Вашему приезду победить нашу бедность, чтобы не оскорбить Вас никаким неприятным впечатлением. Да нам и весна поможет. Дзержинцы также убеждены, что Вы навестите их».

Горький был очень взволнован и огорчён этим письмом. Он сожалел, что Антон Семёнович не сообщил о переживаемых неприятностях в самом начале их, и объяснял это удивительной деликатностью в отношении к нему, нежеланием «беспокоить». Шеф колонии дружески укорял Антона Семёновича за то, что человек,

делающий серьёзнейшее дело, «церемонится», и очень просил написать, чем практически можно помочь ему и колонии. Он обратился в редакцию газеты «Известия» с предложением послать корреспондента, который толково осветил бы жизнь и работу колонии.

Когда появилась статья о колонии, Горький сразу откликнулся письмом Антону Семёновичу, где говорилось: «...читая статью, едва не разревелся от волнения, от радости. Какой Вы чудеснейший человек, какая хорошая, человечья сила. Настроение Ваше, тревогу Вашу – я понимаю... Вашу гордость борца за своё дело я также понимаю, очень понимаю! Но ведь дело это как-то связано со мною, и стыдно, неловко мне оставаться пассивным в те дни, когда оно требует помощи».

Письма Антона Семёновича того времени полны ожиданием встречи с Горьким в колонии. Алексей Максимович возвратился на родину и жил в Москве. Колонисты были уверены, что он навестит колонию во второй половине июня. Но «так как в этой половине 15 дней», они не могли «считать дни», оставшиеся до его приезда, а им это было «страшно нужно». Чтобы сделать приезд Горького более реальным, Антон Семёнович послал в Москву бывшего воспитанника колонии, студента Харьковского медицинского института Шершнева и Чевелия, одного из самых первых горьковцев, перешедшего в коммуну имени Ф. Э. Дзержинского. Примечательна краткая приписка в письме, раскрывающая характер воспитания, которое получали макаренковские колонисты: «Они оба Вам не надоедят, так как оба по-горьковски лаконичны, сделают дело и уедут. В области выражения чувств они также умеют быть сдержанными». В конце июня, когда выяснилось, что Алексей Максимович сможет выехать из Москвы лишь в следующем месяце, Макаренко писал ему: «Мы ждём Вас, в этих словах вся наша жизнь. Ждём между пятым и десятым. Если Вы приедете в Харьков, мы на вокзале Вас потихоньку встретим так, что никто не будет знать. Вы обещали нам написать о дне и часе Вашего прибытия. Я этот день и час скрою даже от колонистов, чтобы действительно Вас никто не беспокоил. У нас в колонии мы также не будем Вас затруднять никакими речами. Вы у нас даже сможете отдохнуть».

...И вот событие, которого так ждали горьковцы, произошло.

В один из первых июльских дней 1928 года, когда тысячи людей встречали Горького в Харькове, на перроне был выстроен почётный караул колонистов с оркестром и знаменем. Алексей Максимович увидал их ещё из окна вагона, сразу узнал и приветливо протянул к ним руки.

На следующий день колонисты встречали Горького у себя в колонии, встречали, «как родственники, с глубочайшей теплотой дружбы, и как читатели, и как граждане Советской страны». Комната, которую ему приготовили в школьном помещении, была украшена зеленью и цветами.

Алексей Максимович провёл в колонии три дня. Здесь всё ему оказалось хорошо знакомым по письмам колонистов и Антона Семёновича. Он знал по имени и фамилии всех, о ком ему писали, знал, как ведётся колонистское хозяйство, как расположены постройки...

Он вставал в шесть утра, завтракал вместе с колонистами, работал с ними, успевал в течение дня побывать на всех участках работы.

Вечерами все собирались вокруг него. Ему сыграли «На дне». Алексею Максимовичу очень понравился Шершнев в роли Сатина. Своими силами был дан и концерт.

Антон Семёнович впоследствии рассказывал, что, казалось, Горький не три дня провёл среди колонистов, а с самого основания колонии жил с ними,– и это вполне естественно: колония имени М. Горького не только носила это имя, горьковцы любили и чтили Алексея Максимовича, как отца.

В очерке «По Союзу Советов» Горький описал свои впечатления этих трёх дней. Огромную ценность представляет данная им характеристика колонии и её руководителя.

«...А. С. Макаренко, организатор колонии под Харьковом, в Куряже,– все эти «ликвидаторы беспризорности» не мечтатели, не фантазёры, это, должно быть, новый тип педагогов, это люди, сгорающие в огне действенной любви к детям, а прежде всего это – люди, которые, мне кажется, хорошо сознают и чувствуют свою ответственность пред лицом детей».

Горький писал о том, что новый тип педагога уже нашёл своё отражение в советской литературе. Отметил намёки на этот тип в «Дневнике Кости Рябцева» и «даже в страшноватом рассказе талантливой Л. Копыловой «Химеры». Напомнил о том, что дореволюционная литература от

Помяловского до Чехова дала огромную галерею людей «в футляре», показала ужасающую фигуру Передонова, классический тип раба – «мелкого беса»; о том, что в художественной и мемуарной литературе прошлого так же редко и эпизодически, как в действительности, мелькал образ учителя, любящего своих учеников и понимающего, что сегодняшние дети завтра будут строителями жизни.

Писатель говорил об учителях и учительницах, которые, «работая в условиях крайне трудных, жестоко трудных, работают со страстью и пафосом художников».

Примечателен глубиною и выразительностью портрет Макаренко, оставленный Горьким:

«Это бесспорно талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нём тоном такой гордости, как будто они сами создали его. Он – суровый по внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из «идейных». Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспевает, всё видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный фотографический снимок с его характера. У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно, приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженой голове.

На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход работы в колонии, вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные небрежности, ошибки,– Антон Макаренко сидит в стороне и лишь изредка вставляет в беседу два-три слова. Почти всегда это слова упрёка, но он произносит их как старший товарищ. Его слушают внимательно и не стесняются спорить с ним – как с двадцать пятым товарищем, который признан двадцатью четырьмя умней, опытней, чем все они. Он ввёл в обиход колонии кое-что от военной школы, и это – причина его разногласия с украинским наробразом...

...А. С. Макаренко умеет говорить детям о труде с тою спокойной, скрытой силою, которая и понятней и красноречивее всех красивых слов».

Алексей Максимович излагал в очерке историю колонии, с горячим сочувствием говорил о характере и методике воспитания, традициях, выработанных там. Замечательно передал он очень существенное в колонистах.

Отметил, что они вызывают странное впечатление «благовоспитанных». Это особенно наблюдается, подчёркивал Горький, в их отношении к «маленьким», к новичкам, которые только что пришли или которых привели. «Маленькие сразу попадают в ошеломляющие условия умной заботливости со стороны страшноватых – на улице – подростков. Ведь вот такие подростки колотили их, эксплуатировали, учили воровать, пить водку, учили и ещё многому», а здесь их встречает «отлично выработанное» чувство товарищества.

«Удивительно легко и просто чувствовал я себя среди них, а я – человек, не умеющий говорить с детьми, всегда боюсь, как бы не сказать им что-то лишнее, и эта боязнь делает меня косноязычным. Но дети Куряжской колонии не будили у меня эту боязнь. Впрочем, и говорить с ними не было нужды, они сами хорошие рассказчики, и каждому из них есть что рассказать».

Горький вспоминает, как он ещё до приезда в колонию четыре года переписывался с ребятами, следя за постепенным изменением их орфографии, грамматики, ростом их социальной грамотности, расширением познания действительности – за тем, как из маленьких анархистов, бродяг, воришек, из юных проституток вырастают хорошие, рабочие люди.

Как известно читателю «Педагогической поэмы», книги остро полемической, Макаренко, работая в колонии имени М. Горького, вёл борьбу против лжеучёных-педологов, пользовавшихся покровительством тогдашнего руководства Наркомпроса.

В 1928 году он оказался вынужденным оставить колонию, которая к тому времени находилась уже в Харькове. Пришлось отказаться и от работы заведующего детскими учреждениями интернатного типа в Харьковском округе и заведующего домами рабочих подростков.

Величайшее уважение к Горькому заставило Антона Семёновича промолчать о том, что приезд Алексея Максимовича совпал по времени с вынужденным уходом Макаренко из колонии. Праздник встречи с Горьким остался не омрачённым тягостным для Макаренко и всего коллектива событием.

Лишь в Москве дошла до Алексея Максимовича эта новость. Он написал Антону Семёновичу очень сердечное письмо, где говорил о том, как его поразил и огорчил уход

Макаренко из колонии. Зная, что Антона Семёновича, воспитавшего колонистов в духе уважения к культуре русского народа, травили украинские националисты, Горький со свойственной ему прозорливостью выражал опасение, что и в данном случае были замешаны тенденции «националистического» характера.

В то время как украинский наробраз вёл «победоносную» войну против всех остатков «макаренковщины» в колонии, Антон Семёнович писал книгу и создавал новый коллектив коммунаров-дзержинцев.

•

В своей педагогической деятельности Макаренко опирался на положения марксистско-ленинской науки о воспитании. Его педагогические взгляды, эстетические концепции выросли на почве передовой отечественной общественной мысли. Он развивал идеи о воспитании человека-гражданина, которые высказывались революционными демократами – Белинским, Чернышевским, Добролюбовым. Широкое новаторское развитие получила у Макаренко идея выдающегося педагога Ушинского о проблеме воспитания в ребёнке чувства долга.

Против самых основ педагогики Макаренко, советской педагогики, и ополчались реакционеры педологи.

Трудности борьбы Макаренко с его идейными противниками объяснялись тем, что Наркомпрос РСФСР и наркомпросы других союзных республик допустили извращения в руководстве школой, в массовом порядке насаждая в школах так называемых «педологов» и передоверив им важнейшие функции.

Наряду с педагогическим составом созданная организация педологов, независимая от педагогов, имела свои центры в виде различных педологических кабинетов, областных лабораторий и научно-исследовательских институтов. Таким образом, учебная и воспитательная работа оказалась искусственно раздробленной между педагогами и педологами, и более того – над педагогами был учинён контроль со стороны педологов.

Практика педологов, протекавшая в полном отрыве от работы педагогов, сводилась к проведению экспериментов, носивших псевдонаучный характер, и организации среди учащихся и их родителей множества обследований, которые

направлялись главным образом против неуспевающих или не укладывающихся в рамки школьного режима учеников и имели целью доказать якобы наследственную и социальную обусловленность неуспеваемости ученика или дефектов в его поведении, отыскать как можно больше отрицательных влияний и патологических извращений в жизни самого ребёнка, его семьи, родных, предков, общественной среды. Практиковалась система обследований умственного развития и одарённости, перенесённая на советскую почву из буржуазной педологии, представлявшая собой издевательство над учащимися и противоречившая не только задачам советской школы, но и попросту здравому смыслу. Ребёнка шести-семи лет запутывали казуистическими вопросами, после чего определяли его так называемый «педологический» возраст и степень его умственной одарённости. В результате всё больше и больше детей зачислялось в категории умственно отсталых, дефективных и «трудных».

Эти извращения в работе органов народного просвещения были вскрыты и разоблачены постановлением Центрального Комитета партии от 4 июля 1936 года «О педологических извращениях в системе наркомпросов».

ЦК партии указал, что наркомпросы находились в стороне от коренных и жизненных задач руководства школой и развития советской педагогической науки, осудил теорию и практику педологии, отметил, что эти теория и практика базировались на лженаучных, антимарксистских положениях.

ЦК партии установил, что «такая теория могла появиться лишь в результате некритического перенесения в советскую педагогику взглядов и принципов антинаучной буржуазной педологии, ставящей своей задачей в целях сохранения господства эксплуататорских классов доказать особую одарённость и особые права на существование эксплуататорских классов и «высших рас» и, с другой стороны, физическую и духовную обречённость трудящихся классов и «низших рас». Такое перенесение в советскую науку антинаучных принципов буржуазной педологии тем более вредно, что оно прикрывается «марксистской» фразеологией».

В постановлении указывалось, что создание марксистской науки о детях возможно лишь на почве преодоления антинаучных принципов педологии, на почве суровой критики

её идеологов и практиков, на основе полного восстановления в правах педагогики и педагогов как носителей марксистской науки о воспитании детей, как проводников этой науки в жизнь.

Выступая против педологов, Макаренко вместе с Горьким, вместе с передовыми советскими педагогами боролся за торжество и чистоту принципов марксистско-ленинской науки о воспитании, отстаивая дело всей своей жизни.

Характерно, что именно педологи и их покровители вынудили Макаренко уйти из колонии: летом 1928 года его вызвали в Учёный совет Наркомпроса Украины для доклада и объявили его систему воспитания «несоветской».

Характерно и то, что Макаренко, уйдя из колонии, продолжал борьбу, твёрдо веря в правоту своего дела, работая в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского и взявшись за оружие художественного слова.

Макаренко руководит этой трудовой коммуной в Харькове, затем работает помощником начальника отдела трудовых коммун НКВД УССР.

Уже в 1932 году он извещал Горького о больших успехах коммуны. Дзержинцы давно перешли на полную самоокупаемость, открыли у себя рабфак, построили «новый во всех отношениях замечательный завод, приняли много новых беспризорных». Антон Семёнович писал, что коммуна стала культурным и красивым учреждением, делающим большую и нужную работу.

О коммуне имени Ф. Э. Дзержинского ярко и последовательно рассказано в книгах Макаренко. Позволю себе лишь обратиться к заметке, напечатанной в газете «Известия» 5 ноября 1932 года. В заметке говорилось о том, что в редакцию доставлены три первых советских плёночных фотоаппарата, качество которых признано блестящим. Экспертиза, проведённая учёными, участниками менделеевского съезда, признала, что аппараты изготовлены целиком из отечественного материала, задача конструирования и изготовления их в серийном масштабе разрешена вполне хорошо. Газета сообщала, что в Харькове приступлено к организации фабрики производительностью сто аппаратов в день.

Эти аппараты носили название «ФЭД», по названию коммуны имени Ф. Э. Дзержинского. Газета писала: «Бывшие

беспризорники благодаря тёплому вниманию и дружескому отношению коллектива работников ГПУ Украины сумели превратить свою экспериментальную лабораторию в образцовую производственную единицу».

РОЖДЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

1928 год стал годом рождения Макаренко как писателя. Именно тогда была закончена им первая часть «Педагогической поэмы».

Не это произведение выдающегося художника слова первым увидело свет. Но прежде чем рассказать о начале творческого пути Антона Семёновича на литературном поприще, ответим на вопрос: как же пришёл он к решению вновь испытать свои силы в литературе?

Это произошло тогда, когда масштабы его педагогического опыта значительно переросли возможности непосредственной практической пропаганды такого опыта. У Антона Семёновича возникла первоначально мысль написать трактат, где было бы сведено воедино изложение его теоретических воззрений и применявшейся им практической методики. Он искал более широкой трибуны и в конце концов обратился к художественному слову, как наиболее активному средству воздействия на ум и сердце читателя. Его писательское творчество возникло как продолжение его борьбы за свои научно-педагогические идеи. «Я не перестал быть педагогом,– часто говаривал он.– Я лишь сменил род оружия».

Макаренко гордился тем, что дело коммунистического воспитания – новое дело в мировом масштабе. С этим благородным делом и связывал он всегда свою работу в литературе. Он чувствовал себя педагогом «не только прежде всего, а везде и всюду педагогом».

Новый замысел – написать художественную книгу – получил горячее одобрение Горького. Однако долго не решался автор послать рукопись «Педагогической поэмы» на суд Максима Горького, чтобы определить её судьбу. Из памяти не изгладилась давняя неудача с рассказом. По собственному признанию, он опасался нового поражения, а ему вовсе не хотелось «превращаться в глазах Алексея Максимовича из порядочного педагога в неудачного писателя».

Вот почему он продержал рукопись книги у себя в столе... пять лет.

А пока что была написана небольшая книжка «Марш 30-го года». Её рукопись Антон Семёнович прислал в издательство. Мне довелось быть редактором этой книжки. Помню, с какой остротой почувствовалось в рукописи неизвестного автора обещание чего-то очень значительного. Первая же встреча с Антоном Семёновичем дала возможность близко узнать этого изумительного человека. «Марш 30-го года» гораздо конспективнее других книг Макаренко, написан куда более робко. Но и в первой весточке, обозначившей приход в литературу нового писателя, сразу захватывало глубиной и новизной её содержание, незнакомый вам прежде и властно вторгавшийся в мир ваших представлений кусок живой жизни. И уже в той маленькой книжке очаровывали – проявившиеся так зримо в «Педагогической поэме» – особая макаренковская свежесть обращения с привычными понятиями, представлениями, полный внезапных парадоксов юмор, украинская хитринка, ясность взгляда на жизнь. Это очень умная повесть. Сказался в ней и ещё один ценнейший дар Макаренко как писателя – способность в любой мелочи, в описании любого факта раскрыть свою прекрасную, редкой чистоты душу.

Удивительно светлый образ Макаренко – педагога и человека – смутно ещё, но вырисовывался уже и тогда для тех, кто читал первые страницы его первой рукописи. Он умел ценить счастье и не бояться горечи. Он умел сделать счастливыми детей, которых воспитывал. То, в чём «теоретики» из тогдашнего наробраза и соцвоса усматривали казарменную муштру, было увлекательной детской игрой, игрой, вошедшей в быт, ставшей действеннейшим средством воспитания. Так и виделся этот незабываемый макаренковский коллектив: ребята, здоровые, весёлые, жадные к жизни, смышлёные и хитрые, брызжущие жизненной силой,– и среди них педагог в самом высоком смысле слова, умница, тонкий психолог, буквально покорявший коммунаров смелостью ума, силой и чистотой души, веривший в человека и ни перед чем не отступавший в благородной борьбе за человека. И все юноши и девушки – в трудовой жизни, в быту, в общественных функциях коллектива – играли, чуть улыбаясь этой игре и отдаваясь ей с увлечением. Их мудрый воспитатель, которого его противники

представляли бурбоном и самодуром, сумел, формируя коллектив будущих тружеников, дисциплинированных членов общества, стойких борцов, сохранить детству всё живое, что ему свойственно, без чего оно перестаёт быть детством. Макаренко придавал огромное значение стилю коллектива. Стиль его колонистов – подтянутость, собранность, мужество, острое чувство ответственности за своё поведение перед коллективом, требовательность к самому себе и к другим: всё должно сверкать чистотой – и в мыслях человека, и в комнате, где он живёт. И этот стиль радостной, бодрой деловитости, подтянутости, душевной чистоты и беспощадной иронии, выправляющей человека, стиль, присущий Макаренко, ощущался после первого же соприкосновения, хотя бы заочно, с умом его, с его душой.

Письма Антона Семёновича, которые приходили из Харькова во время работы над рукописью, вполне дорисовали образ этого человека.

Когда однажды, сидя в редакции, я услышал вопрос: «Где здесь редакция современной литературы?» – и, подняв голову, увидел, что в комнату вошёл и, скромно остановившись у дверей, так просто и так по-военному выпрямившись, ко мне обращается пожилой человек в военной шинели, с обветренным, суровым лицом и совершенно особенными, несомненно макаренковскими, чуть грустными, чуть ласковыми, чуть насмешливыми, затаённо улыбающимися глазами, я, не задумываясь даже о неожиданности своего вопроса, спросил его: «Вы товарищ Макаренко?» Он расхохотался и подтвердил это, удивившись тому, что был так сразу узнан. Мне кажется, его всюду узнали бы те, кто читал его книги. Много позже, когда с первого взгляда при встрече с Семёном Калабалиным стало ясно, что я вижу Карабанова из «Педагогической поэмы», мне пришлось задуматься о том, какой Макаренко ещё не оценённый по достоинству, крупнейший художник.

Работать над рукописью с Антоном Семёновичем всегда было очень интересно и... весело. Его тонкий ум, вкус и юмор превращали эту сложную, подчас утомительную работу в увлекательнейшее занятие, вроде игры в шахматы.

Он часто шутил. Однажды, правя в его кабинете в Лаврушинском переулке текст «Флагов на башнях», мы обнаружили, что на каждом шагу герои улыбались и хохотали.

Антон Семёнович, шутливо сетуя на то, что вот, дескать, автор и редактор не дают молодёжи повеселиться, рассказал, как в одной редакции ему слово «пацаны» всюду переправили на «парни». И когда мы кончили работу, он улыбнулся своей удивительно тёплой улыбкой и сказал: «Ну вот, теперь всех улыбающихся пацанов повыкидывали, остались одни мрачные... парни с Лаврушинского». Так же шутливо он жаловался на то, что критики постоянно требуют от него каких-то коллизий, а он, дескать, даже и не знает, что это слово значит. «Я же не писатель! – восклицал он.– Пусть писатели выдумывают коллизии».

За милым балагурством Антона Семёновича, за его сверкающими парадоксами, неожиданными сопоставлениями и противопоставлениями, за всей внешней игрой его блестящего ума открывались глубокие, порою неожиданные, всегда интереснейшие раздумья и мысли. Чрезвычайно ярки были размышления о коллективе, изложенные им после в его лекциях; запомнилось, как он говорил о дисциплине; многие сложившиеся в прошлом понятия он обновлял применительно к нашим условиям – условиям социализма. Движение нашей жизни ломало ряд установившихся представлений, наполняло немало старых терминов новым, революционным содержанием.

Антон Семёнович умел высмеять оппонента. Одной из любимых его шутливых поз было представить себя человеком несведущим в той области, о которой идёт разговор. Именно так он часто, поддразнивая молодёжь, говорил о музыке, о живописи, на самом деле прекрасно зная искусство и очень любя его.

«Я не писатель, не знаток этого дела»,– заявлял он, смеясь над теми критиками, которые не поняли его произведений и пытались умалить их значение. И тут же давал генеральный бой критике, обнаруживая редкостную эрудицию и исключительно смелые разработки вопросов литературной теории, философии искусства, писательского мастерства.

Несколько сходно с этим и утверждение относительно педагогического таланта, сформулированное в прекрасных лекциях. Начисто отрицая у себя наличие таланта, он всё объяснял *мастерством*, которого может достигнуть *всякий* и которого, замечал он, за долгие годы достиг он сам. Здесь три четверти правды. Основная ценность научно-педагогической методики Макаренко в том, что

она учит педагогическому мастерству, которого может достигнуть каждый педагог. Но в макаренковской практике были подлинные чудеса, были исключительные, из ряда вон выходящие случаи и положения, коллизии, в решении которых обнаруживалось не только мастерство, но и необычайной силы талант педагога. Точно разработанная методика, философское обоснование этой методики и талант Антона Семёновича сделали его педагогический путь путём подчас фантастических побед.

Его воспитанники рассказывали о характерной черте Антона Семёновича как педагога: всё понимающий, всё чувствующий человек, он и в ответственные, самые сложные минуты никогда не надевал на себя личины каменного спокойствия премудрого наставника. Он не боялся открыть перед своими воспитанниками и своё восхищение и негодование – всю свою человеческую душу, умевшую так остро чувствовать и горевшую так ярко. И величайшим вознаграждением педагогу было то, что уже взрослыми людьми в наиболее важных для себя вопросах они неизменно обращались за советом к Антону Семёновичу.

За свои убеждения он боролся со страстью. Мне довелось видеть его и в годы успехов, и в годы исканий и тяжёлой, изнуряющей борьбы, и я мог потому оценить всю степень взволнованности этого педантически скупого на разговоры о себе – о своих личных переживаниях – человека, когда он сказал, что после XVIII партийного съезда, где были широко поставлены вопросы воспитания, чувствует себя именинником. Стоит в памяти просветлённое его лицо. Это было великим праздником для Макаренко, провозглашением торжества идей, борьбе за которые он отдал всю свою жизнь.

Можно лишь представить себе, как счастлив был бы Антон Семёнович видеть возникновение широкой сети профессионально-технических училищ, рождение суворовских, нахимовских школ, политехнизацию средней школы, создание школ-интернатов – осуществление многих его воззрений и чаяний. Ведь такие принципы коллективного воспитания – одна из основ педагогических идей Макаренко. День за днём вырабатывая в воспитанниках понимание и твёрдое соблюдение кодекса чести советского гражданина, он прививал им чувство коллективности, священное уважение к завоеваниям революции и готовность служить им до последнего дыхания.

•

Как известно, Антон Семёнович Макаренко начал работать в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского с 1928 года. В «Марше 30-го года» ведётся рассказ об итогах трёхлетнего труда в коллективе дзержинцев и уже многолетнего труда Макаренко в области коллективного воспитания, включая его деятельность в колонии имени М. Горького. Видны увлекательные перспективы развития коммуны дзержинцев, её планы на будущее. Всё показано в движении вперёд, в стремлении к дальнейшему совершенствованию методики воспитания, опирающейся на завоевания советского строя, на успехи социалистического строительства, нашего хозяйства и культуры. Об истории коллектива сказано кратко, в начальных главах. Основное внимание уделено тогдашнему состоянию коммуны. Читатель знакомится с укладом жизни коммуны, её каждодневным распорядком, узнаёт самые различные стороны её жизни, заботы и интересы коммунаров, становится их спутником в интереснейших походах, видит героев книги в труде, на отдыхе, в повседневных буднях их жизни.

По своему жанру «Марш 30-го года» – цикл очерков, посвящённых единой теме и связанных между собой основными действующими лицами.

Написанная в 1930 году, книга вышла через два года в Государственном издательстве художественной литературы. Её не заметила литературная критика. Как же был удивлён и обрадован автор, когда в декабре 1932 года получил письмо с почтовым штемпелем Сорренто:

«Вчера прочитал Вашу книжку «Марш 30-го года». Читал – с волнением и радостью, Вы очень хорошо изобразили коммуну и коммунаров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную Вашу заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я Вас искренно поздравляю с этой книгой... Передайте ребятам привет мой, скажите, что я страшно рад был прочитать, как они живут, как хорошо работают и хорошо, дружески – по-настоящему – относятся друг к другу. *М. Горький».*

После выхода этой первой книжки Горький, как говорил Антон Семёнович, уже «не отпустил» его:

«12 лет трудились Вы, и результатам трудов нет цены... Огромнейшего значения и поразительно удачный

педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение, на мой взгляд... пишите книгу, дорогой друг мой».

«Марш 30-го года» был своего рода литературным экспериментом Макаренко. После того как этот опыт увенчался неожиданным для автора успехом, создаётся новая, тоже экспериментальная в этом же смысле, работа – «ФД-1». Автор искал художественных средств, наиболее пригодных для выявления своих педагогических идей, наиболее действенной формы повествования, определялись его творческие принципы, его писательский почерк.

Книга «ФД-1» не была издана. Рукопись её, к сожалению, уцелела лишь частично. В собрании сочинений опубликовано то, что сохранилось. Это примерно половина рукописи. «ФД-1», по сути, продолжает повествование «Марша 30-го года».

Работа в столярной мастерской, прокладка шоссе, кустарный труд воспитанников, изготовлявших детали мебели, безусловно содействовали выработке и закреплению трудовых навыков, но они воспитывали скорее мастерового-кустаря, чем современного рабочего Советской страны. Макаренко считал, что воспитательная коммуна должна быть полноценной ячейкой современного ей советского общества. Он придавал огромное значение воспитанию производственному, то есть участию в работе коллектива заводского, ибо считал необходимым добиться «пролетарской сущности» коллектива.

Смело ставит он перед коммунарами принципиально новые задачи. Чтобы достигнуть более высокого морально-политического уровня коллектива, оп выдвигает идею создания завода, который будет выпускать приборы, требующие передовой техники, квалифицированного труда заводских рабочих, точных знаний, высокой производственной дисциплины. Огромным фактором, воздействующим на психологию воспитанников коммуны, было то, что они приступали к выпуску сложных приборов, в которых остро нуждалось народное хозяйство и которые до последнего времени ввозились из-за границы. Речь шла об электросверлилках.

Коммуна сделала большой шаг вперёд. В ней уже имелся рабфак. Коммунары работали теперь не долотом, стамеской, рубанком или лопатой. Они стояли у шлифовальных и револьверных станков, работали в цехах построенного в коммуне завода, который сохранил стране

валюту, выпуская отечественные электросверлилки коммуны имени Феликса Дзержинского. «ФД-1» – это и есть название первой модели новой электросверлилки. Так ознаменовался переход воспитательной работы в коллективе, руководимом Антоном Семёновичем Макаренко, в новое качество.

Очень близки этим произведениям по своей тематической направленности пьесы «Мажор» (1933) и «Ньютоновы кольца» (написанная в 1934–1935 гг., пьеса опубликована в те годы не была). Первую из них сближают с «ФД-1» даже отдельные сюжетные линии, некоторые действующие лица – коммунары и руководитель коммуны. Во второй – таких действующих лиц нет, но всё развитие действия отображает процессы, характеризовавшие дальнейший рост производственной жизни в коллективе коммунаров-дзержинцев. В коммуне был создан завод, первым в истории отечественной техники выпускавший плёночные фотоаппараты, которые явились новым шагом в советской оптической промышленности. А действие пьесы как раз и происходит на заводе фотооборудования и связано с производством таких фотоаппаратов, с трудностями освоения нового вида сложной и требующей тончайшей отделки продукции.

Но основное значение пьес Макаренко не столько в их фабуле, сколько в художественных и педагогических идеях автора.

Эти идеи выражены в названиях обоих драматургических произведений. В пьесе «Мажор» главным в замысле автора было показать бодрый, оптимистический дух коллектива советских людей, способного преодолеть и преодолевающего любые препятствия; передать радостный тон его жизни; воспеть торжество свободного коллективного труда.

В другой пьесе конкретная производственная задача обретает смысл символического художественного обобщения: если оптическая линза недостаточно точно и хорошо отшлифована, если допущена ошибка, близкая хотя бы к одной сотой доле миллиметра, при проверке линзы возникает светящийся круг – так называемое «ньютоново кольцо». Конфликтное развитие действия пьесы, связанное с борьбой за устранение брака в производстве линз, за устранение этих колец, за совершенную точность работы, рождает метафорический образ, обращающий читателя к

мыслям о воспитании человеческого характера, об особой требовательности к труду педагога.

Макаренко полагал, что педагог обязан владеть предельно отточенным мастерством в шлифовке человеческого характера; он полагал, что здесь, как и в наиболее точном и тонком производстве, едва поддающаяся учёту, малейшая ошибка может привести к губительным последствиям. Поэтому и пьеса «Ньютоновы кольца», посвящённая, казалось бы, вопросам производства, по сути, трактует одну из коренных проблем всего творчества Макаренко, которое в своей основе целиком обращено всегда к одному предмету – воспитанию нового человека.

Эти идеи получили гораздо более углублённую и художественно законченную разработку в других произведениях писателя. От эскизов, набросков, литературных опытов Макаренко перешёл к созданию цельных художественных полотен, где нашло полное выражение созревшее, окрепшее, яркое в своей индивидуальности мастерство его как художника слова.

Произошло важнейшее событие, имевшее огромное значение для постановки всей воспитательной работы в стране, для развития нашей педагогики. Советское правительство приняло решение организовать широкую сеть детских трудовых коммун.

Узнав об этом, Горький с тем большей настойчивостью стал убеждать Антона Семёновича в необходимости писать книгу, которая должна «оправдать и укрепить» методику воспитания, разработанную в колонии имени М. Горького и в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. Он торопил Макаренко, направлял его работу, давал ценнейшие указания, советы. Это помогло Антону Семёновичу поверить в себя уже и как в литератора. Получив осенью 1933 года первую часть «Педагогической поэмы», Горький сдаёт её в набор для альманаха «Год XVII». Одна за другой все части «Поэмы» прошли через руки Горького.

До конца жизни Антона Семёновича Макаренко остался Горький его учителем. В Горьком видел Макаренко великого писателя, созданного революцией. Он писал:

«Мы должны быть глубоко благодарны нашей эпохе, нашей революции и нашей Коммунистической партии, создавшим Максима Горького, вынесшим его на ту высоту, без которой его голос не мог быть услышанным в мире трудящихся и в мире врагов».

ПОЭМА ПЕДАГОГА

Работа Макаренко над «Педагогической поэмой» охватывает конец 20-х и первую половину 30-х годов. Это время, отмеченное огромными достижениями во всей жизни нашей родины.

В период, завершившийся годом «великого перелома», была обеспечена победа политики социалистической индустриализации страны. Закладывались основы тяжёлой индустрии, способной перевооружить всё народное хозяйство. По всей стране развернулось гигантское строительство мощных заводов. Строились Днепрогэс, Краматорский, Горловский, Уральский, Магнитогорский, Ростовский, Сталинградский заводы, Московский и Горьковский автомобильные заводы, реконструировался завод в Луганске, строились комбинаты в Березниках и Соликамске, шахты и домны.

Произошёл коренной переворот во взглядах людей на труд. Ярким выражением нового отношения к труду явилось широкое движение масс за подъём производительности труда – социалистическое соревнование. Вырабатывалась также новая дисциплина труда.

Началось массовое движение за коллективизацию сельского хозяйства. Возникало множество совхозов, колхозов. Совершились огромные революционные перемены в жизни страны.

Страна приступила к выполнению пятилетнего плана социалистического переустройства СССР.

В первой половине 30-х годов, выполнив свою первую пятилетку, страна заложила фундамент социалистической экономики. Были созданы гиганты тяжёлой индустрии, механизированное коллективное сельское хозяйство; уничтожены безработица, эксплуатация человека человеком.

Социалистическая система одержала победу во всех областях народного хозяйства. Глубокие изменения произошли в положении рабочего класса, крестьянства, интеллигенции.

В обстановке общего хозяйственного и общественно-политического подъёма в жизни страны обозначился новый этап и в развитии советской литературы. 30-е годы стали периодом стремительного её роста, славных успехов, окончательно утвердивших победу метода социалистического реализма.

В 30-е годы наша литература обильно пополнялась художниками, принёсшими с собой близкое знание современной действительности, большой жизненный опыт, горячее стремление ответить на актуальные, злободневные запросы читателя. В эти годы начали свою деятельность в литературе Николай Островский, Александр Твардовский, Константин Симонов, Леонид Соболев, Аркадий Первенцев, Николай Вирта, Юрий Крымов и многие другие. Именно в то время окрепло и развилось творчество Бориса Горбатова, Якова Ильина, Бориса Галина. В числе имён, вошедших в литературу в 30-е годы, было и имя Антона Семёновича Макаренко.

Время решительного поворота основной массы писателей к темам социалистического созидания, к проблемам изображения человека-строителя, к актуальным вопросам коммунистического воспитания... Эти темы становятся в литературе главенствующими. Михаил Шолохов, не завершив ещё работы над «Тихим Доном», создаёт первую книгу «Поднятой целины», Фёдор Панфёров заканчивает «Бруски», выходит в свет поэма Александра Твардовского «Страна Муравия», Леонид Леонов пишет роман «Соть», Мариэтта Шагинян – «Гидроцентраль», Валентин Катаев – «Время, вперёд!». Несколько позже появляются «Люди из захолустья» Александра Малышкина, «Танкер «Дербент» Юрия Крымова.

Новый, советский человек стал основным героем нашей литературы. Это потребовало углублённого изображения его в повседневной деятельности, в труде на благо народа, в процессе формирования сознания и мира чувств. Возникала ответственная задача отображения взаимоотношений личности и коллектива, государственного мышления передового советского человека, его устремлений, надежд, чаяний, славных побед, вдохновляющей перспективы движения вперёд.

Характерная особенность литературы 30-х годов – раскрытие богатства и многообразия индивидуальных черт свободной личности, получившей наивысшие возможности развития в коллективе советских людей; определяющем роли коллектива в формировании личности, неразрывности судьбы положительного героя советской литературы с судьбою народа, судьбою всей страны.

Получают развитие в литературе темы советского патриотизма, пролетарского интернационализма, социалистического

гуманизма, включающего в себя любовь к человеку-труженику – борцу за счастье всего человечества и пламенную ненависть к его врагам, к врагам прогресса, свободы, демократии.

Стремление писателей идти по горячим следам событий, создать живые образы своих современников нередко проявлялось в особой форме типизации, обобщения жизненных явлений, изображаемых характеров. Многие писатели искали в самой жизни людей и события, черты которых уже в реальной действительности несли в себе элементы обобщения, что давало возможность использовать их как прототипы художественного образа. Такой подход к изображению явлений действительности ничего общего не имеет с так называемой «литературой факта», «фактографией», с натуралистическим копированием, подменяющим подлинное творчество. Речь идёт лишь о способе создания типического, обобщающего образа. Этим путём шли и Н. Островский и А. С. Макаренко. Здесь нашла выражение одна из традиций советской литературы, проявившаяся в творчестве и Горького («Мать»), и Фурманова («Чапаев»), и других писателей.

Произведения Макаренко при всём своеобразии и взятого материала, и индивидуальности писателя отразили в себе передовые устремления всей советской литературы 30-х годов.

•

Есть писатели, чьи книги сопутствуют вам всю вашу жизнь. Более того, образы героев этих книг, образ самого человека, создавшего такую книгу, входят в вашу душу, становятся её частицей. К таким произведениям принадлежит большая, прекрасная книга – «Педагогическая поэма».

Читатель, впервые встретившийся с этой книгой, никогда уже её не забудет, обязательно будет возвращаться к ней. И каждый раз ему будет раскрываться нечто новое в её страницах, такое, чего он раньше не разглядел. По-новому будут обогащать его мир мысли автора, изображение человеческой судьбы, правдивое и глубокое, то знание жизни, та вера в счастье, которыми щедро поделился с ним писатель. Заставив читателя так много продумать и прочувствовать, книга окажется ему и в будущем верным другом

и надёжным советчиком. Нередко будет он по ней проверять свои поступки, мысли и чувства.

Читатель найдёт здесь героев, которые ему полюбятся, увлекательный рассказ о творческих поисках педагога-новатора, историю возникновения интереснейшего воспитательного коллектива. Он увидит живым перед собой образ взыскательного и чуткого руководителя этого коллектива, смелого и тонкого педагога и художника Антона Семёновича Макаренко. Вникая в строчки книги, читатель словно бы почувствует, как билось сердце этого замечательного человека.

В «Педагогической поэме» показан весь путь колонии имени М. Горького от первых часов её существования до того дня, когда пятьдесят колонистов-горьковцев стали ядром коммуны имени Ф. Э. Дзержинского.

Человеческий материал, с которым руководителю колонии пришлось начинать свою деятельность, был более чем пёстрым и трудно поддавался воздействию. Сохранился ценнейший документ – предисловие, которым Макаренко предварил автобиографии колонистов-куряжцев, посылая Горькому эти безыскусные рассказы подростков о самих себе. В предисловии многое сказано о колонистах и об их руководителе.

«Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-нибудь читать. Это – концентрированное детское горе, рассказанное такими простыми, такими безжалостными словами. В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой, искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении. В этом, конечно, страшная трагедия нашего времени, но эта трагедия заметна только для нас, для беспризорных здесь нет трагедии – для них это привычное отношение между ними и миром».

И как примечательны слова:

«Для меня в этой трагедии, пожалуй, больше содержания, чем для кого-либо другого. Я в течение восьми лет должен был видеть не только безобразное горе выброшенных в канаву детей, но и безобразные духовные изломы у этих детей.

Ограничиться сочувствием и жалостью к ним я не имел права. Я понял давно, что для их спасения я обязан быть с ними непреклонно требовательным, суровым и твёрдым. Я должен быть по отношению к их горю таким же философом, как они сами по отношению, к себе.

В этом моя трагедия, и я её особенно почувствовал, читая эти записки. И это должно быть трагедией всех нас, от неё мы уклониться не имеем права. А те, что дают себе труд переживать только сладкую жалость и сахарное желание доставить этим детям приятное, те просто прикрывают своё ханжество этим обильным и потому дешёвым для них детским горем».

Макаренко удалось преобразить жизнь этих детей – и в полтавской колонии, и впоследствии в Куряже. Это достигалось разными средствами, в совершенно различных условиях. Первые шаги были необычайно трудны. Писатель смело показывает обнажённую правду жизни. Он раскрывает перед читателем все трудности, с которыми пришлось столкнуться руководителю в его усилиях создать колонистский коллектив.

Шли суровые для молодого Советского государства годы – годы хозяйственной разрухи, ожесточённой классовой борьбы, годы огромного напряжения народных сил. В деревнях, окружавших колонию, ещё силён был кулак. В самой колонии собрались подростки, в прошлом не только соприкоснувшиеся с преступным миром, но уже крепко связавшие себя с ним. Положение необычайно обострялось тем, что педагогу приходилось буквально с азов разрабатывать методические принципы работы в такой колонии.

«Люди мы были самые обычные, и у нас находилось пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно говоря, не знали: наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни.

О каждом нашем шаге можно было сказать что угодно, настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось ещё хуже: в наших спорах почему-то не рождалась истина».

Как отмечалось выше, новаторские начинания Макаренко встречали бешеное сопротивление со стороны педологов,

укоренившихся в органах просвещения. Бесчисленные наезды, ревизии, донесения превращались в травлю педагога, в поход против всего начатого им дела.

Писатель в правдивом повествовании передаёт остроту возникавших на этой почве конфликтов – и в самой колонии, и вне её стен. Он беспощаден к себе в изображении своих неудач, неопытности, минут отчаяния и срывов. Он беспощаден к своим идейным врагам, в которых справедливо видел врагов марксистской педагогической науки, людей, не понимавших самой природы нового, советского строя жизни, задач культурного строительства в нашей стране.

В письмах к Горькому писатель порою делился сокровенными мыслями, говорил о том, что его наиболее волновало в собственном творчестве: «...самая дорогая для меня работа, «Педагогическая поэма», изображающая не сладкие достижения, а тяжелейшую борьбу в горьковской колонии, полную не только пафоса, но и преступлений, между прочим моих собственных, книга, посвящаемая Вам, лежит у меня дома: как-то страшно выворачивать свою душу перед публикой с такой щедрой искренностью».

Когда первая часть «Педагогической поэмы» увидела свет, автор писал об этом Алексею Максимовичу как о важнейшем событии своей жизни. Он спрашивал, следует ли добиваться отдельного издания первой части или она не заслуживает отдельного издания; объяснял, почему такое издание особенно интересует его: в книге можно будет восстановить несколько глав и некоторые страницы (около четырёх печатных листов), исключённые при печатании в альманахе из-за недостатка места; признавался, что ему, как, вероятно, и каждому автору в подобном случае, эти страницы кажутся очень хорошими и очень нужными, необходимыми для цельности всего произведения. Спрашивал, стоит ли ему писать вторую часть; делился своими сомнениями и планами: рассказывал, что материал для второй части, уже собранный, богат, что будет описано лучшее время горьковской колонии. Важно для литературоведов упоминание о том, что в первой части «Педагогической поэмы» автор пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части предполагал показать «сильное движение развёрнутого коллектива», завоевание Куряжа и «харьковскую борьбу», закончить эту часть он хотел приездом Горького в Куряж. Вторая часть

представлялась писателю более трудной, чем первая. Для характеристики творческих принципов Макаренко чрезвычайно существенно то, как он формулировал задачу, стоявшую перед ним: описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости.

Письма помогают проникнуть в историю замысла произведения. На том этапе работы над «Педагогической поэмой» Макаренко говорил о трудностях, пути преодоления которых были ему ещё не ясны:

«Ваш приезд – это кульминационный пункт развития горьковцев, но это и его конец. До Вашего ещё приезда мне удалось спасти 60 человек в коммуне Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже на новом месте. Я всегда думал, что история дзержинцев составит тему третьей части «Педагогической поэмы». На деле, однако, мне не удалось сохранить цельность развития коллектива. Здесь набежало много людей, они дружно растащили коллектив в разные стороны, и в настоящее время вместо одного цельного явления я стою перед целой кучей проблем, получившихся исключительно благодаря неуменью многих людей.

Для окончания «Поэмы» здесь нет хорошей правды, врать не хочу, окончить же 28-м годом как будто неудобно».

Более позднее письмо раскрывает уже эволюцию замысла «Педагогической поэмы». Написана вторая часть, автор получил отзыв Горького и переработал произведение. Обрисовываются контуры третьей части...

Макаренко пишет ответ Горькому на его отзыв о второй части. В этом письме Макаренко формулирует свою «педагогическую веру»: педагогика – «вещь» прежде всего диалектическая, не может быть установлено никаких абсолютно правильных мер пли систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным. Макаренко подчёркивает: в коммунистическом воспитании главный инструмент – живой трудовой коллектив. Поэтому усилия организатора должны быть направлены к тому, чтобы создать и сберечь такой коллектив, устроить его, связать, создать тон и традиции.

Далее говорится о том, что в первой части «Педагогической поэмы» автор хотел показать, как он, неопытный и даже ошибающийся педагог, создавал коллектив из людей

заблудших и отсталых; как это удавалось ему благодаря основной установке: коллектив должен быть живой, и создавать его могут настоящие живые люди, которые в своём напряжении и сами переделываются.

Макаренко сообщает о том, что во второй части он сознательно не ставил перед собою темы переделки человека. Переделка одного, отдельного человека, обособленного индивида, представлялась ему темой второстепенной, так как Советской стране нужно массовое новое воспитание. Во второй части книги он ставил своей целью изобразить главный инструмент воспитания – коллектив и показать диалектичность его развития. Он говорит об основных чертах изображения того, что называет «инструментовкой коллектива». Здесь он выделяет: пролетарскую классовую направленность – отрицание индивидуального крестьянского хозяйства; превалирование интересов коллектива над интересами личности; дисциплину; бодрость; коллективный труд и хозяйство; образовательный и культурный процесс; настоящих живых людей (Калина Иванович, Силантий, Мария Кондратьевна); стремление вперёд, обязательное развитие; традиции, в том числе и внешние; эстетическое оформление жизни.

Третья часть «Поэмы», по замыслу автора, должна показывать коллектив в действии – в массовой переделке уже не отдельных личностей, а сразу трёхсот куряжцев.

«В третьей части,– писал Антон Семёнович,– у меня богатый материал для изображения такой переделки и доказательства того, что силами коллектива эта переделка легче и быстрее.

В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй я хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куряже.

В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается «почкованием» (дзержинцы).

Это моя схема».

В другом письме Антон Семёнович называет «Педагогическую поэму» поэмой всей своей жизни.

По совету Горького писатель усиливает все темы педагогического расхождения с тогдашними деятелями Наркомпроса. «Это прибавило к основной теме много перцу,

но главный оптимистический тон я сохранил...» Горький всё время помогал Макаренко укрепиться на верных идейно-творческих позициях. Автор предполагал в случае надобности выбросить главы «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику», те главы, где дано остросатирическое изображение реакционеров от педагогики. Алексей Максимович писал ему в октябре 1935 года: «Третья часть «Поэмы» кажется мне ещё более ценной, чем первые две. С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. «Соцвосовцев» Вы изобразили так, как и следует, главы: «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику» – нельзя исключать. Хорошую Вы себе «душу» нажили, отлично, умело она любит и ненавидит. Я сделал в рукописи кое-какие мелкие поправки и отправил её в Москву... Ну – что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю».

Противоборствующие силы вступают в «Педагогической поэме» в резкие столкновения. Развитие происходит в непрестанном преодолении конфликтов, выдвигающихся самой действительностью. В этом одна из характернейших черт произведения, существенная особенность творческой индивидуальности писателя – неуклонное следование жизненной правде и глубокое раскрытие явлений жизни, изображение революционного развития действительности. Причём писатель смело передаёт остроту и напряжение борьбы, пишет в духе лучших традиций, ещё только складывавшихся в советской литературе 20-х годов и уже значительно укрепившихся в 30-е годы.

В «Поэме» Макаренко всё в движении, всё в бурном развитии, всё в постоянной борьбе. Нарастание конфликтов получает выражение в ряде вспышек, о которых рассказано в главах, полных драматического напряжения. И закономерная сама по себе цепь этих кульминаций завершается катастрофой, пережитой руководителем колонии. Цепь таких конфликтов раскрыта и во внутренней жизни колонии, и в её взаимоотношениях с «соцвосовцами».

Внутри колонии борьба между её руководителем и вожаками колонистов, заражённых «блатными» настроениями и привычками, дошла до сцены между Макаренко и Задоровым, когда педагог, вопреки своим убеждениям, ударил воспитанника. Нечто подобное происходит и в

случае с колонистом Осадчим. И наконец, трагическим завершением этих событий стала попытка Антона Семёновича покончить с собой после известия о грабежах, которыми занимался колонист Приходько.

В преодолении многих конфликтов спаялся и закалился коллектив горьковцев, был завоёван и окреп авторитет заведующего колонией, авторитет педагога.

Ещё более сложно протекала борьба за колонию и за новые методы воспитания против педологов – «соцвосовцев». Постепенно нарастают конфликты, переходят в прямые стычки и завершаются внешним поражением Макаренко. Он оказывается вынужденным оставить колонию. Рутинёры, сомкнувшиеся с лженоваторами, всякого рода реакционеры в науке хотели погубить дело всей жизни Макаренко. Речь шла действительно, как писал он сам, о гибели его педагогики. Но чекисты, которые пригласили его руководить коммуной имени Ф. Э. Дзержинского, не были заражены педологическими предрассудками, и временное внешнее поражение педагога-новатора сменилось огромным рывком вперёд.

«Педагогическая поэма» широко знакомит читателя с поисками техники нового, коллективного воспитания и с самой этой новаторской техникой Макаренко. Мы с увлечением читаем об организации отрядов, совета командиров, о вызовах «на середину», о развитии самодеятельности колонистов. Очень важно и другое: постепенная выработка принципов производственного, этического и эстетического воспитания. Во всей работе колонии особое значение имела установка педагога Макаренко на то, что сама советская действительность является воспитующим фактором небывалой силы и маленький коллектив колонистов должен быть частицей огромной Советской страны, жить её делами, нуждами, интересами.

Своё повествование о судьбах колонии имени М. Горького писатель насытил обилием фактов, взятых непосредственно из жизни колонии. Он вывел в книге образы действительно существовавших и существующих людей, зачастую меняя лишь одну букву в той или иной фамилии. Но реальные прототипы служили писателю-мастеру материалом для создания обобщённых, типических образов. То единое, что роднит эти образы друг с другом, находит под пером писателя почти всегда своё конкретное воплощение и выражение в резко индивидуализированном портрете,

в самобытных, неповторимых чертах человеческой личности, наиболее полно раскрывающейся в коллективе, в повседневных взаимоотношениях с ним.

•

Множество героев «Педагогической поэмы» предстаёт перед читателем во всём своеобразии и богатстве проявлений каждой личности. Писатель отлично справился с трудной задачей, которую сам формулировал: «описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости».

Лучше всего выражают сущность образов «Поэмы» краткие, но очень точные определения, которые писатель наметил для себя в процессе работы над рукописью. Эти лаконические записи помогают нам пристальнее всмотреться в основных героев книги.

Большое значение придавал автор такой фигуре, как Калина Иванович. Тепло, с задушевным юмором изображён этот человек в «Поэме». Думы Калины Ивановича, его жизнь, его участие в жизни колонии, то, как он «по-старчески радостно переживает успех колонии», трогательные подробности живописного портрета помогают сильнее уяснить, как простой человек из народа, хлебнувший горя и нужды на долгом крестьянском веку, воспринимает новую жизнь, которую дала своим детям Советская страна. Он «окончательно покорён новой жизнью», хотя и не отказывается, однако, от «шутливых сентенций по поводу новых порядков». Он крепко сроднился с колонией и, даже покидая её, чувствует себя одним из её создателей и хозяев.

В образе Екатерины Григорьевны автором отмечено то, что она никогда не сдаёт своих педагогических позиций, что она «положительный, спокойный тип» педагога. Во всяких спорах ей свойственно некоторое раздумье, «маленький полезный тормоз, возбуждающий мысль». Макаренко подчёркивал спокойный переход Екатерины Григорьевны на его сторону, её радостное, уверенное движение вперёд.

На примере Ивана Ивановича Осипова писатель стремился продемонстрировать, как нужно использовать и воспитывать кадры педагогов, как из осторожного, трусливого

и неинициативного человека Иван Иванович постепенно становился хорошим «техником-педагогом».

С симпатией и уважением обрисован в книге характер Ивана Денисовича Киргизова.

«Непосвящённому наблюдателю Иван Денисович казался обыкновенным сельским учителем, а на самом деле Иван Денисович есть тот самый положительный герой, которого так тщательно и давно разыскивает русская литература. Ивану Денисовичу тридцать лет, он добр, умён, спокоен и в особенности работоспособен... всё умеет делать и всегда что-нибудь делает, но издали всегда кажется, что ему можно ещё что-нибудь поручить. Вы подходите ближе и начинаете различать, что прибавить ничего нельзя, но ваш язык, уже наладившийся на известный манер, быстро перестроиться не умеет, и вы выговариваете, немного всё же краснея и заикаясь:

– Иван Денисович, надо... там... упаковать физический кабинет...

Иван Денисович поднимается от какого-нибудь ящика или тетради и улыбается.

– Кабинет? Ага... добре! Ось возьму хлопцив, тай запакуем...

Вы стыдливо отходите прочь, а Иван Денисович уже забыл о вашем изуверстве и ласково говорит кому-то:

– Пиды, голубе, покличь там хлопцив...»

Особенно выразительны портреты воспитанников колонии. Здесь прежде всего надо назвать Семёна Карабанова, который остаётся «самым ярким лицом повести, всегда бурлящим и сдерживающим себя только военной выправкой... Из него выходит убеждённый сторонник переделки человека, об этом он всегда страстно мечтает... Он произносит сентенции против всех врагов колонии». Он во всём жаркий – и в любви, и в ненависти, и в своих заблуждениях, и в борьбе с ними.

Читатели «Поэмы» помнят, что в колонии образовалась группа, в которую входили Карабанов, Митягин и другие. Эта группа занималась набегами на баштаны, на коморы и погреба крестьян. У Митягина был обнаружен пистолет. В главе «Ампутация» показано, как Макаренко выгнал Митягина и Карабанова из колонии. Тонкими штрихами передано смятение Карабанова в момент ухода: вначале он разыгрывает обиженного, потом лжёт руководителю колонии, вслед за этим судорожно протягивает ему

руку и крепко, до боли, сжимает его пальцы, что-то хочет сказать, затем вдруг бросается к дверям и исчезает.

Для Макаренко была ясна будущая гибель Митягина как человека: это законченный тип вора. Допускал Макаренко и то, что Митягин может сбить с пути и Карабанова, который однажды уже пошёл на вооружённый грабёж... Речь в данном случае шла не об индивидуальных судьбах. Из колонии изгнали «самых грубых хлопцев», пользовавшихся наибольшим влиянием. Операция оказалась очень болезненной. Автор подчёркивает, что оба изгнанных прекрасные работники. «Карабанов во время работы умел размахнуться широко и со страстью, умел в работе находить радость и других заражать ею. У него из-под рук буквально рассыпались искры энергии и вдохновения... Митягин в работе был великолепным дополнением к Карабанову. Его движения отличались мягкостью и вкрадчивостью, действительно воровские движения, но у него всё выходило ладно, удачливо и добродушно-весело». Колония тяжело переживала их уход, особенно уход Карабанова.

И вот он явился «побачить» колонию.

«В самый разгар сельскохозяйственной ажитации, в начале февраля, в колонию зашёл Карабанов. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями. Он кое-как сбросил их с себя и ввалился ко мне:

– Зашёл посмотреть, как вы живёте. Улыбающиеся, обрадованные рожи заглядывали в кабинет: колонисты, воспитатели, прачки.

– О, Семён! Смотри! Здорово!

До вечера Семён бродил по колонии, побывал в «Трепке», вечером пришёл ко мне, грустный и молчаливый.

– Расскажи же, Семён, как ты живёшь?

– Да как живу... У батька.

– А Митягин где?

– Ну его к чёрту! Я его бросил. Поехал в Москву, кажется.

– А у батька как?

– Да что ж, селяне, как обыкновенно. Батько ещё молодец... Брата убили...

– Как это?

– Брат у меня партизан, убили петлюровцы в городе, на улице.

– Что же ты думаешь? У батька будешь?

– Нет... У батька не хочу... Не знаю...

Он дёрнулся нерешительно и придвинулся ко мне.

– Знаете что, Антон Семёнович,– вдруг выстрелил он,– а что, если я останусь в колонии? А?

Семён быстро глянул на меня и опустил голову к самым коленям.

Я сказал ему просто и весело:

– Да в чём дело? Конечно, оставайся. Будем все рады. Семён сорвался со стула и весь затрепетал от сдерживаемой горячей страсти:

– Не можу, понимаете, не можу! Первые дни так-сяк, а потом – ну, не можу, вот и всё. И хожу, роблю, чи там за обидом как вспомню, прямо хоть кричи! Я вам так скажу: вот привязался к колонии, и сам не знал, думал – пустяк, а потом – всё равно, пойду, хоть посмотрю. А сюды пришёл да как побачил, що у вас тут делается, тут же прямо так у вас добре! От ваш Шере...

– Не волнуйся так, чего ты? – сказал я ему.– Ну и было бы сразу прийти. Зачем так мучиться?

– Да я и сам так думал, да как вспомню всё это безобразие, как мы над вами куражились, так аж...

Он махнул рукой и замолчал.

– Добре,– сказал я,– брось всё».

Как видим, Семён мучится тем, что они с Митягиным творили в колонии, и прямо говорит об этом.

Возникает крайне важный разговор о доверии.

«Семён осторожно поднял голову:

Только... может быть, вы что-нибудь думаете, может, думаете: кокетую, как вы говорили. Так нет. Ой, если бы вы знали, чему я только научился! Вы мне прямо скажите: верите вы мне?

– Верю,– сказал я серьёзно.

– Нет, вы правду скажите: верите?

– Да пошёл ты к чёрту! – сказал я, смеясь.– Я думаю, прежнего ж не будет?

– От видите, значит, не совсем верите...» Карабанов жестоко волнуется. Он всем своим существом требует абсолютного доверия, однако сам никак не может поверить в такую возможность. Педагог находит прямой, но тонкий ход.

« – Напрасно ты, Семён, так волнуешься. Я всякому человеку верю, только одному больше, другому меньше: одному на пятак, другому на гривенник.

– А мне на сколько?

– А тебе на сто рублей.

– А я вот так совсем вам не верю! – «вызверился» Семён.

– Вот тебе и раз!

– Ну, ничего, я вам ещё докажу... Семён ушёл в спальню.

С первого же дня он сделался правой рукой Шере. У него была ярко выраженная хлеборобская жилка, он много знал, и многое сидело у него в крови «з дида, з прадида» – степной унаследованный опыт. В то же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и стройность агрономической техники.

Семён следил за Шере ревнивым взглядом и старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться. Только спокойствию Эдуарда Николаевича он подражать не умел и всегда был взволнован и приподнят, вечно бурлил то негодованием, то восторгом, то телячьей радостью».

Увидев жадное рвение Семёна к работе в колонии, его тягу к науке, стремление показать, на что он способен, Макаренко недели через две вручил ему доверенность на получение для колонии пятисот рублей.

Диалог ведётся педагогом с таким непринуждённо безразличным видом, какой только можно было изобразить. Безошибочно рассчитанный «удар» – передача Карабанову пистолета, который отобрали в своё время у Митягина...

«...Я позвал Семёна и сказал просто:

– Вот доверенность. Получишь в финотделе пятьсот рублей.

Семён открыл рот и глаза, побледнел и посерел, неловко сказал:

– Пятьсот рублей? И что?

– И больше ничего,– ответил я, заглядывая в ящик стола,– привезёшь их мне.

– Ехать верхом?

– Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий случай. Я передал Семёну тот самый револьвер, который осенью вытащил из-за пояса Митягина, с теми же тремя патронами. Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через десять минут я услышал треск подков по мостовой: мимо моего окна карьером пролетел всадник».

Педагог ошеломляет Семёна одним поступком за другим.

«Перед вечером Семён вошёл в кабинет, подпоясанный, в коротком полушубке кузнеца, стройный и тонкий, но сумрачный. Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер.

Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным и невыразительным тоном, на какой только был способен: Ты считал?

– Считал.

Я небрежно бросил пачку в ящик.

– Спасибо, что потрудился. Иди обедать. Карабанов для чего-то передвинул слева направо пояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал тихо:

– Добре.

И вышел».

Ещё через две недели Семёну поручается привезти вчетверо большую сумму.

«Прошло две недели. Семён, встречаясь со мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся.

Так же угрюмо он выслушал моё новое приказание:

– Поезжай, получи две тысячи рублей.

Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман браунинг, потом сказал, подчёркивая каждое слово:

– Две тысячи? А если я не привезу денег? Я сорвался с места и заорал на него:

– Пожалуйста, без идиотских разговоров! Тебе дают поручение, ступай и сделай. Нечего «психологию» разыгрывать!

Карабанов дёрнул плечом и прошептал неопределённо:

– Ну что ж...»

Вся эта глава принадлежит к числу самых сильных и значительных в книге. С удивительной точностью описаны смена чувств Карабанова, смелый и острый расчёт педагога-психолога, нарастание психологического действия, прорывающееся бурным финалом, отлично выявляющим в образном, динамическом раскрытии одну из важнейших педагогических идей Макаренко.

«Привезя деньги, он пристал ко мне:

– Посчитайте.

– Зачем?

– Посчитайте, я вас прошу!

– Да ведь ты считал?

– Посчитайте, я вам кажу.

– Отстань!

Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, потом рванул воротник и зашатался.

– Вы надо мною издеваетесь! Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть! Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно...

Он задохнулся и сел на стул.

– Мне приходится дорого платить за твою услугу.

– Чем платить? – рванулся Семён.

– А вот наблюдать твою истерику. Семён схватился за подоконник и прорычал:

– Антон Семёнович!

– Ну, чего ты? – уже немного испугался я.

– Если бы вы знали! Если бы вы только знали! Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы бог послал когонибудь, чтоб ото лесом кто-нибудь на бросился на меня... Пусть бы десяток, чи там сколько... я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусав бы, рвал, как со бака, аж пока убили бы... И, знаете, чуть не плачу. И знаю ж: вы отут сидите и думаете: чи привезёт, чи не при везёт? Вы ж рисковали, правда?»

После того как душа Семёна распахнулась, дальнейший ход Макаренко только окончательно закрепляет уже достигнутую победу. Строки, заключающие главу, звучат апофеозом педагогического мастерства. И Семёна уже не мучает рассчитанность действий педагога. Он и здесь восторгается техникой, понимая, что она не снимает главного – доверия к нему, к человеку,– а является только орудием воспитания в руках мастера.

«– Ты чудак, Семён! С деньгами всегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так: если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерёшь, а меня они легко поймают.

Семён радостно прищурил один глаз.

– Ой, и хитрый же вы, Антон Семёнович!

– Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого не видел?

– Нет, я думал, что вы этого не знали,– сказал Семён, вышел из кабинета и заорал на всю колонию:

Вылиталы орлы
3-за крутой горы,
Вылиталы, гуркоталы,
Роскоши щукалы».

Таким широким живописным мазком заканчивает художник картину, где изображён решающий перелом в сложной борьбе педагога за человеческую душу, где во всей реалистической наглядности показано торжество методики «горьковского отношения к человеку».

В обрисовке характера Карабанова писатель, пожалуй, с наибольшей силой раскрыл, какое воздействие на психологию колонистов оказывали абсолютное доверие к ним педагога и смелость психологических экспериментов, рождённая мастерством.

•

Совершенно иной тип юноши представлен в книге образом Задорова. Здесь показана бодрость человека, «спокойно связавшего себя с колонией», активного комсомольца, который первым уходит на рабфак. Он сторонник всех начинаний коммуны, как отмечает автор, крепко ведёт линию на вступление в партию. Задоров поддерживает коллектив в самые ответственные моменты своей «уверенной силой».

Среди образов наиболее активных комсомольцев привлекает к себе внимание также Волохов. Из числа пошедших впоследствии на рабфак, на учёбу западает в память читателя молчаливо, упорно преодолевающий любые трудности Бурун, в характере которого автор отмечает сочетание серьёзности и страстности.

Но ведь это самые общие характеристики, к тому же в основном опирающиеся уже на «педагогический результат», достигнутый воспитанием в коллективе. А на первых шагах взаимоотношения педагога с этими воспитанниками ознаменовались острым конфликтом, вызвавшим у автора книги метафорическое уподобление работы начальника колонии искусству канатоходца.

Рассказывая о случае, связанном с Задоровым и Волоховым, писатель даёт читателю «фон», на котором вспыхнул конфликт.

Во второй главе, носящей выразительное название «Бесславное начало колонии имени Горького», Макаренко рисует обстановку: совершенно запущенные остатки дореволюционной колонии для малолетних преступников, приезд первых двух воспитательниц, появление первых шести воспитанников. Четверо из прибывших «объектов воспитания» присланы за вооружённый квартирный грабёж. Им по восемнадцать лет. Двое младших обвинялись в кражах. Все они в галифе, в щёгольских сапогах, с причёсками по последней моде. Это Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец. Через неделю Бендюка уже арестовали за совершённое ночью убийство с целью ограбления.

Автор книги вспоминает с юмором, как был устроен парадный приём воспитанников, как он сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти всё вперёд и вперёд. И тут же даётся реплика Задорова, брошенная кому-то из товарищей и уничтожающая все первоначальные усилия педагогов: «Через тебя влипли в эту бузу!» Ирония человека, получившего впоследствии моральное право высмеять начальные свои шаги, звучит в очень ёмкой фразе: «В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас».

Следуют лаконичные портреты: «Задоров был из интеллигентной семьи – это было видно сразу. Он правильно говорил, его лицо отличалось той молодой холёностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза, всё это с особенной мясистой подвижностью,– лицо бандита».

Описание внешности дополняется столь же краткими речевыми характеристиками. Предложение заведующего колонией расчистить дорожки во дворе от сугробов, нанесённых ранними декабрьскими вьюгами, Задоров и Волохов встречают, по сути, совершенно одинаково, но выражают своё отношение сообразно психологическому складу каждого из них. Задоров: «Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападёт. Понимаете?» Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошёл ко мне в такой позе: «Ну, сказали ж вам...»

Антон Семёнович и Калина Иванович решают сами заняться расчисткой. Пререкание Калины Ивановича с

Волоховым и Таранцом, собравшимися в город, кончается тем, что у него вышибают лопату и трубку.

Писатель наносит в этой главе несколько штрихов, передающих общую обстановку вокруг колонии и дополняющих картину самой колонии.

«Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали: – Рятуйте!..

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи».

Макаренко пишет о том, что первые месяцы работы в колонии были для него и для его товарищей месяцами отчаяния, бессильного напряжения и поисков истины. «Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года».

В ту пору ещё не разбит был Врангель, в Черкассах воевали белополяки, «по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-жёлтом очаровании».

В такой обстановке колония становилась всё более похожей на воровской притон. Воспитанники издевались над воспитателями, хулиганили, уже начинали рассказывать в присутствии воспитательниц похабные анекдоты, грубили, в столовой швырялись тарелками, демонстративно поигрывали финками, нагло осведомлялись, у кого есть какое добро, которое может пригодиться. Вместо того чтобы нарубить дров, они на глазах у Калины Ивановича разломали крышу сарая.

Однажды Антон Семёнович предложил Задорову заготовить дров для кухни. Задоров впервые бросил ему «ты»: «Иди сам наруби, много вас тут!» Это было сказано обычным, соответственным фамилии этого молодого человека задорно-весёлым тоном, но тут-то и не сбалансировал воспитатель на «педагогическом канате».

«В состоянии гнева и обиды, доведённый до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял её

и снова надел. Я, вероятно, ещё бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

– Простите, Антон Семёнович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун спешил что-то поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати.

– Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чёртовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес – не давать воспитанникам топоров в руки. Но было уже поздно: они получили всё, что им полагалось. Всё равно. Я был готов на всё, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был ещё и револьвер».

«Грехопадение» педагога, первый раз в жизни ударившего человека, закончилось совершенно неожиданным эффектом. В лесу, на свежем морозном воздухе, среди величавой красоты природы, в дружном ритме работы, напряжение, грозившее катастрофой, разрядилось. В перерыве участники и свидетели происшествия уже смущённо закурили махорки из запаса Антона Семёновича, и Задоров, пуская дым к верхушкам сосен, убранных огромными шапками снега, вдруг расхохотался: «А здорово!..»

Отлично передаёт писатель это ощущение освобождения от огромной тяжести, ощущение нового взгляда людей друг на друга, возникающего взаимного доверия, прорвавшегося в столь неожиданных обстоятельствах. Уже приятно видеть «смеющуюся румяную рожу» Задорова, всего этого «большого и сильного юношу», и уже не мог Антон Семёнович не ответить ему улыбкой.

«– Что здорово? Работа? – спросил Антон Семёнович.

– Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву.

– История, ха-ха-ха!..»

А после обеда у Задорова «рожа» была уже «самая серьёзная». Он подошёл к Макаренко:

«Мы не такие плохие, Антон Семёнович! Будет всё хорошо. Мы понимаем...»

Не станем рассматривать поступок Макаренко с точки зрения допустимости подобного педагогического «приёма». Не станем искать ему объяснения сверх того, что привёл сам писатель. Отойдём в этом единственном случае от педагогики и вглядимся в художественное изображение психологических движений. Думается, что этот поступок мог иметь самые различные последствия. Однако в данном конкретном случае, в сложной цепи обстоятельств и событий он совершенно неожиданно для всех участников происшествия (но вместе с тем в связи со всем предшествующим и последующим поведением Макаренко) дал почувствовать людям, несомненно обладавшим сильными, хотя и своеобразно направленными характерами, что перед ними тоже сильный характер и – это, может быть, ещё более важно – человек, которому далеко не безразлична их судьба, который принял её близко к сердцу. Может быть, в совсем другой психологической, так сказать, «тональности» воспринимали происшедшее Задоров, Волохов и Бурун, суть же их переживаний представляется именно такой. Первоначальное ошеломление удачно разрядилось юмористическим отношением к самим себе и, несомненно, живым интересом к человеку, столь внезапно и с такой неожиданной стороны распахнувшему перед ними свою жаркую душу, которая прежде вряд ли угадывалась в педантически собранном, предельно сдержанном педагоге.

В самом Макаренко всегда было это соединение серьёзности и страстности, которое он выделил в характере Буруна.

В драматическом развитии показывает автор характер Осадчего. Памятны читателю Вершнев – «очень славный душевный человек, умеющий искать правду без лишних криков и истерик», Жевелий – «не обладающий большими способностями, но сумевший из чисто воровской «психологии» сделать искреннюю, горячую и благородную натуру».

Столь многообразны и обильны числом персонажи «Поэмы»,

что трудно хотя бы перечислить наиболее приметные фигуры.

И всё же необходимо сказать ещё об умении автора «Педагогической поэмы» создавать также образы большой сатирической силы. Горький писал, что душа Макаренко отлично умеет и любить и ненавидеть. Это умение ненавидеть видно с особенной отчётливостью в изображении врагов колонии и в тех целенаправленных характеристиках, которые автор даёт каждому из отрицательных персонажей.

Тут видное место занимает Брегель. Она «фыркает» на коммуну имени Ф. Э. Дзержинского и на все порядки в колонии и коммуне. Автор подчёркивает её злобность, вульгарность, пристрастие к сплетням. Чётко характеризует он политическую физиономию своего идейного противника.

«Товарищ Зоя» – подруга Брегель, поборница рутинной педагогики, столь же озлобленная и ненавидящая всё передовое, новое, живое. «Это была женщина, судя по костюму, но, вероятно, существо бесполое по существу: низкорослая, с лошадиным лицом, небольшая дощечка груди и огромные неловкие ноги».

Рисуя своих недругов, Макаренко беспощаден и убийственно меток в определениях. Резкий штрих становится жёстким, юмор теряет всякие нотки задушевности и мягкости, интонация переходит в саркастическую, улыбка зоркого и тонкого наблюдателя превращается в усмешку презрения.

Профессор-педолог Чайкин обнажённо выведен жуликом, отъявленным шарлатаном, мелким карьеристом и приспособленцем.

В сатирических образах своей страстной книги Макаренко бичует буржуазных националистов, с которыми и в жизни вёл ожесточённую борьбу.

Им противостоят педагоги-коммунисты Джуринская, Гуляева и другие – ядро, которое помогает Макаренко создать цельный воспитательный коллектив, здоровый и деятельный, где объединены общими целями, общей жизнью и напряжённой борьбой, постоянным стремлением вперёд и воспитуемые и воспитатели.

Искусство психологического портрета обнаруживает живые связи творчества Макаренко с лучшими традициями русской классической литературы. Об этом говорит

глубина проникновения в характер человека, реалистическое изображение его развития, умение выявить процесс этого развития в поступках, мыслях и переживаниях героев книги, подчинение всех средств изображения большой идейно-творческой задаче. Изображение человеческой личности в «Педагогической поэме» идёт целиком в русле богатого опыта отечественной классики и наиболее передовых устремлений советской литературы тех лет, уже тогда успешно продолжавшей и развивавшей классические традиции реализма.

Писательскому слогу Макаренко в высокой степени присуще искусство сжатой и точной характеристики. Примерами могут служить хотя бы приведённая несколько выше характеристика Ивана Денисовича Киргизова, стремительные штрихи, найденные для Карабанова. Вспомним эпизод, где показано, как колонисты мчались выручать Антона Семёновича из беды, когда инспектор Шарин вздумал его арестовать: «...на нас карьером неслась пара колонистских лошадей, запряжённая в громыхающую гарбу, набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми Карабанов, втянув голову в плечи и свирепо сверкая чёрными цыганскими глазами...»

Здесь точно пригнана каждая деталь, каждая из них на месте, и каждая раскрывает нечто в образе Карабанова. Прежде всего ясно видно, что он верховод среди колонистов. Для передачи его темперамента важны, конечно; не только цыганские глаза и их свирепое сверканье, но и то, что нетерпение заставляет его править стоя... Характерным обертоном в изображении всей повадки его, а что ещё важнее – какой-то психологической ухватки, того, что Макаренко называл «завитками личности», оказывается хищный контур головы, втянутой в плечи. Любопытно преображение облика Карабанова, такое же стремительное и яркое, когда на следующей странице мы видим, как он «весело блестел зубами и глазами». Два моментальных снимка, сделанных мастером, художником, резко очерчивающих человека, глубоко раскрывающих его характер.

Способность разглядеть в человеке лучшие его возможности, его «человеческий потенциал», сказалась и на особенностях портретной живописи. Критические ноты звучат в описании наклонностей и внешности Олега Огнева: «Олег Огнев – авантюрист, путешественник и нахал, по всей вероятности потомок древних норманнов,

такой же, как они, высокий, долговязый, белобрысый». И тут же уверенные мазки мастера-портретиста дополняют изображение и позволяют увидеть совершенно иное в этом характере и возможностях его развития: «Может быть, между ним и его варяжскими предками стояло несколько поколений хороших российских интеллигентов, потому что у Олега высокий, чистый лоб и от уха до уха растянувшийся умный рот, живущий в крепком согласии с ловкими, бодрыми серыми глазами».

Не часто можно встретить такое умение сыграть на контрастах в передаче внешности, такую точную игру парадоксом, неожиданно поставленным словом и соединение подчёркнутой выдумки с простейшими реалистическими штрихами: «рот до ушей» в этом изображении оказывается умным и изображению веришь; оказывается, что глаза вполне могут быть «ловкими»; а выдумка с варяжскими предками, пожалуй, понадобилась для того, чтобы показать, как всё якобы связанное с ними чуждо внутренней правде этого характера.

С полным правом мог Макаренко сказать о себе: «...я умел с первого взгляда, по внешним признакам, по неуловимым гримасам физиономии, по голосу, по походке, ещё по каким-то мельчайшим завиткам личности... сравнительно точно предсказывать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из этого сырья». Опыт педагога и отразился в психологически углублённых, предельно выразительных портретах, которые он дал уже как художник слова.

Большую роль в портретах, написанных Макаренко, играют глаза. Он отлично знал человеческую душу. Сколько оттенков передал он только в описаниях человеческих глаз! Вот глаза Кузьмы Лешего: «На смуглом лице Лешего были хорошо пригнаны и снабжены прекрасным вращательным аппаратом огромные чёрные глаза...» (Снова парадоксальное сочетание! Обычно бегающие глаза представляются маленькими.) «...и этим глазам от природы было дано определённое назначение: смотреть за тем, что плохо лежит и может быть украдено. Все остальные части тела Лешего слепо подчинялись распорядительным приказам цыганских глаз; ноги несли Лешего в ту сторону, в которой находился плохо лежащий предмет, руки послушно протягивались к нему, спина послушно изгибалась возле какой-нибудь естественной защиты, уши напряжённо

прислушивались к разным шорохам и другим опасным звукам». А то, что бегающие-то чёрные глаза оказались огромными, вовсе не случайно. Дальнейшая судьба Лешего покажет, как уместен этот штрих, как оправдано неожиданное сочетание внешне и внутренне противоречивых элементов в описании.

Кто из читателей не запомнил «голубые очи Пана» на лице Калины Ивановича! Ведь здесь примечательно не только возникновение образа Пана, а и то, что у человека, который говорит «теорехтически» и «прахтически», не просто глаза, а о ч и. Это они по-новому освещают своим ясным и глубоким светом потешное, хотя и удивительно точное по близости к оригиналу описание лица Калины Ивановича: «Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк». Сколько гоголевской смелости и своей, макаренковской ласки к человеку, какая мягкость в юморе этого рисунка! А с лица облысевшего и подстриженного, да ещё по-архиерейски, Пана смотрят ведь голубые очи мудрого в своей наивной простоте, глубоко чувствующего и чистого душою человека. Он бывает очень смешон. Но во многом он и критик, и судья колонистов, их совесть и помощник в самых светлых начинаниях.

Здесь вспомнился Гоголь. А не видны ли благотворные связи с творчеством этого гения русской литературы и в таком портрете: «Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле: и на нём ничего путного не растёт, и тоже кажется, будто каждый куст грязновато-чёрной бородёнки растёт по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И по лицу его были проложены многочисленные тропинки морщин, складок, канавок». Сопоставим этот портрет с портретом Собакевича. Разница лишь в том, что у Собакевича и все вещи Собакевича, а тут, наоборот,– поле Кузьмы Петровича Могорыча послужило средством для создания его портрета. Внутреннее же единство подмечено так же. Не во внешнем сходстве с убогим полем, на котором росла «всякая дрянь», не в этом сходстве дело. Нелепо и горько было хозяйство Могорыча, нелепа и горька была его жизнь, наложившая свою беспощадную печать на его лицо.

В самом широком и свободном сочетании объединяются в творчестве Макаренко эпичность и лирика, драматичность и юмор, теплота и холодная едкость, резкость и мягкость изображения, любовь и гнев, страдание и бодрость – всё, чем богата душа человека и палитра художника.

Он очень много работал над совершенствованием своего писательского мастерства. Долгие годы ежедневно садился за письменный стол, приобретая и закрепляя навыки, которые сторицей вознаграждали кропотливый труд. В том, что было столь слабо в его первом рассказе, раскритикованном Горьким, впоследствии он оказался наиболее силён. Так, например, он стал блестящим мастером диалога. Макаренко овладел искусством отчётливо индивидуализированной речевой характеристики персонажей. Читатель сразу отличит речь Карабанова от речи Задорова, речь Антона Братченко от речи Олега Огнева, речь Калины Ивановича или Силантия Отченаша от речи любого другого героя книги. И всегда это не случайное, не внешнее отличие, а именно характеристика, связанная со всем внутренним содержанием образа.

Вспомните, как наглядно показано превосходство умных, сдержанных, честных колонистов над вредными болтунами и демагогами педологами, как это выражено в лапидарных, но разящих репликах, ошеломляющих точностью и кажущейся внезапностью.

Вот речь невежды-шарлатана Шарина, которая служит острейшим средством его разоблачения перед читателем. «Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребёнка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребёнка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры – биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем...» – в таком духе «беспощадно крыл» представитель наробраза доклад Макаренко о дисциплине.

Один из шедевров макаренковского стиля – описание прихода в колонию Аркадия Ужикова и рассказ о его предшествующей истории. Здесь собрались воедино очень многие и разнообразные элементы, характерные для творческой манеры писателя. Здесь что ни фраза, то художественная находка.

Начать с «пенатов» по сути бездомного мальчишки и с того, что пенаты Аркадия «украсились новым отцом, что-то изображавшим в балагане деникинского правительства». Затем портрет «настоящего папаши», Ужикова-старшего, «удовлетворительно постигшего тайны новой экономической политики и поэтому сделавшегося членом какого-то комбината». Читателю виден воочию этот субъект, «европейски вылощенный, синдикат – но солидный... не очень ещё и поношенный». Затем сынок, в котором «удачно соединились российский размах и арабская фантазия,– во всяком случае, старый Ужиков был ограблен начисто». Вот портрет достойного отпрыска семейства Ужиковых:

«Он был высокого роста, худ и нескладен. По бокам его яркорыжей головы торчат огромные прозрачно-розовые уши, безбровое, усыпанное крупными веснушками лицо всё стремится куда-то вниз – тяжёлый, отёкший нос слишком перевешивает все другие части яйца. Аркадий всегда смотрит исподлобья. Его тусклые глаза, вечно испачканные слизью жёлтого цвета, вызывают крепкое отвращение. Прибавьте к этому слюнявый, никогда не закрывающийся рот и вечно угрюмую, неподвижную мину.

Я знал, что колонисты будут его бить в тёмных углах, толкать при встречах, что они не захотят спать с ним в одной спальне, есть за одним столом, что они возненавидят его той здоровой человеческой ненавистью, которую я в себе самом подавлял только при помощи педагогического усилия».

Острая игра слов выразительно передаёт состояние педагога. После того как папаша, желавший сбыть сынка с рук, обстоятельно изложил биографию Аркадия и чуть-чуть дрогнувшим голосом лицемерно обратился к руководителю колонии с призывом взять мальчика в колонию, якобы для того, чтобы возвратить отцу сына, то есть сделать его человеком, следует такая фраза: «Я посмотрел на сына, сидящего на диване, и он мне так сильно не понравился, что мне захотелось возвратить его расстроенному отцу немедленно».

Характерно для писательской манеры Макаренко то, что в творческий распорядок художника-портретиста, художника-социолога, художника-психолога вдруг врывается личность автора со своими думами, заботами,

трудностями и недоумениями. Человеку-Макаренко хочется послать Ужикова «к чёрту». Макаренко говорит о том, что, если на любое другое производство подсунут такое негодное сырьё, работник этого производства составит десятки комиссий, напишет десятки актов, привлечёт к этому делу и НКВД, и всякий контроль, в крайнем случае обратится в «Правду», а всё-таки найдёт виновника. «Никто не заставляет делать паровозы из старых вёдер или консервы из картофельной шелухи. А я должен сделать не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека. Из чего? Из Аркадия Ужикова?»

Читатель книги видит, как Макаренко растил настоящих советских людей, как мужественно и самозабвенно трудился он, создавая самую ценную «продукцию» из самого разнообразного «сырья», в частности и из такого, каким был Ужиков.

В «Педагогической поэме» есть образ, который проведён от начала до конца книги. Это образ руководителя колонии – самого Антона Семёновича Макаренко. Но можно ли назвать главным героем его или какой-либо другой образ в книге из всего их огромного множества? В том-то и сила и новаторство этого произведения, что впервые в литературе здесь был дан в качестве основного, главного героя коллектив. В развитии коллектива – основа сюжетного напряжения, эта тема приковывает к себе внимание читателя, держит его в неослабевающем волнении. Ей посвящена книга.

Этот коллектив состоит, как мы видели, из выразительно очерченных индивидуальностей, богатых жизненными красками. Но лишь вместе с ростом коллектива индивидуальности раскрываются наиболее полно.

Один из коренных принципов в литературном творчестве Макаренко – стремление верно решить проблему художественного изображения коллектива, судьбы личности в коллективе – прямо отвечает его высказываниям, выражающим основу, на которой зиждились его научно-педагогические, теоретические построения, которая определяла плодотворный опыт его практической деятельности :

«Социалистическое общество основано на принципе коллективности. В нём не должно быть уединённой личности, то выпяченной в виде прыща, то размельчённой в

придорожную пыль, а есть член социалистического коллектива.

В Советском Союзе не может быть личности вне коллектива, и поэтому не может быть обособленной личной судьбы и личного пути и счастья, противопоставленных судьбе и счастью коллектива».

Писатель умело находит наиболее действенную форму для выражения идей, которые составляют содержание его произведения. Возьмём для примера идею о воспитательной силе коллектива. Остановим мысленно – всегда движущуюся, кипучую, деятельную – жизнь героев «Педагогической поэмы» и вглядимся в детали писательского рассказа о том, что так волнует читателей этой книги в изображении событий и явлений действительности.

В первых частях, в полном соответствии с творческим замыслом произведения, показан педагог Макаренко, трудно, иногда в мучительных раздумьях решающий вопросы взаимоотношений со своими воспитанниками. Педагогу приходится встречаться со сложнейшими проблемами. Постепенно, в борьбе возникает, формируется, растёт коллектив колонистов. И вот – встреча с куряжцами. Когда Антон Семёнович приезжает в Куряж с небольшой группой колонистов, как бы на разведку, кажется, что снова встают прежние затруднения во всём их объёме. Но педагог уже спокоен. Почему? Вскоре колония вторгается в Куряж. И воспитателем оказывается уже не один Макаренко, а весь коллектив колонистов. Проблема решается совсем иначе, на качественно ином этапе воспитательной работы, и решается гораздо легче, хотя в условиях отнюдь не менее лёгких. Стоит вспомнить также, как изображено воздействие коллектива на «новичков» в повести «Флаги на башнях», чтобы увидеть кульминацию в развитии одной из основных тем творчества Макаренко.

На первый взгляд произведения Макаренко хроникальны: ведётся последовательная летопись событий. А на самом деле повествование писателя вовсе не так пассивно следует за движением изображаемого. В повествовании обнаруживаются чёткое развитие идейного содержания, глубоко продуманные и искусно проведённые линии сюжета. Обратимся к тому же примеру теперь под этим углом зрения. Стремительно движется действие вначале, где изображены бурные конфликты, искания, первоначальные

трудности, преодоление враждебных влияний, столкновения с чуждой средой. Постепенно повествование теряет свой напряжённый ритм, движение сюжета замедляется. Потому ли, что книга написана неровно? Нет, потому, что сама форма изложения отвечает здесь задачам изображения периода некоего замедления в развитии коллектива, когда педагогу необходимо было отыскать новые пути для движения вперёд, расширить плацдарм борьбы.

Так вступает тема Куряжа – насыщенные картины, вобравшие в себя множество элементов предшествующего повествования, возникшие как кульминационное развитие мотивов, составляющих сюжетное движение в произведении. И возвращение к старым как будто темам дано здесь совершенно по-новому, вовсе не как тематическое повторение, топтание на месте, а, наоборот,– в искусном композиционном построении художественного произведения, служащем наилучшему выявлению его идеи. То, что кропотливо накапливалось точно распределёнными художественными деталями, звучит здесь в полную силу.

Драматические положения, напряжённость борьбы сочетаются в книге Макаренко с яркой жизнерадостностью. Он замечательно умеет раскрыть всё прекрасное в человеке.

Писатель выделяет не только внешне привлекательные черты своих героев. Он с задушевным вниманием рассказывает об их талантливости, чистоте их души, о жадном стремлении к совершенствованию, об их качествах волевых, принципиальных людей. Его привлекают сильные характеры, богатство их внутреннего мира.

Обаятелен тонкий и острый макаренковский юмор. Порою он становится удивительно тёплым и мягким, искрящимся улыбкой очень и очень много знающего, чуткого человека, когда писатель ведёт речь о своих любимых героях, о потешных мелочах их жизни. Читатели могут вспомнить для примера некоторые эпизоды из главы о театре...

«Мы старались выбирать пьесы с большим числом действующих лиц, так как многие колонисты хотели играть, и нам было выгодно увеличить число умеющих держаться на сцене. Я придавал большое значение театру, так как благодаря ему сильно улучшался язык колонистов и вообще сильно расширялся горизонт. Но иногда

нам не хватало актёров, и в данном случае мы приглашали и сотрудников. Один раз даже Силантия выпустили на сцену. На репетициях он показал себя малоспособным актёром, но так как ему нужно было сказать только одну фразу: «Поезд опаздывает на три часа», то особенного риска не было. Действительность превзошла наши ожидания.

Силантий вышел вовремя и в порядке, но сказал так:

– Поезд, здесь это, опаздывает на три часа, видишь, какая история.

Реплика произвела сильнейшее впечатление на публику, но это ещё не беда; ещё более сильное впечатление она произвела на толпу беженцев, ожидавших поезда на вокзале. Беженцы закружили по сцене в полном изнеможении, никакого внимания не обращая на мои призывы из суфлёрской будки, тем более что и я оказался человеком впечатлительным. Силантий с минуту наблюдал всё это безобразие, потом рассердился:

– Вам говорят, олухи, как говорится! На три часа, здесь это, поезд опоздал... чего обрадовались?

Беженцы с восторгом прислушивались к речи Силантия и в панике бросились со сцены. Я пришёл в себя и зашептал:

– Убирайся к чёртовой матери! Силантий, уходи к дьяволу!

– Да видишь, какая история...

Я поставил книжку на ребро – знак закрыть занавес...

Однажды нам удалось сагитировать случайную зрительницу, знакомую каких-то мельничных, приехавшую из города погостить. Она оказалась настоящей жемчужиной: красивая, голос бархатный, глаза, походка – все данные для того, чтобы играть развращённую барыню в какой-то революционной пьесе. На репетициях мы таяли от наслаждения и ожидания поразительной премьеры. Спектакль начался с большим подъёмом, но в первом же антракте за кулисы пришёл муж жемчужины, железнодорожный телеграфист, и сказал жене в присутствии всего ансамбля:

– Я не могу позволить тебе играть в этой пьесе. Идём домой.

Жемчужина перепугалась и прошептала:

– Как же я пойду? А пьеса?

– Мне никакого дела нет до пьесы. Идём! Я не могу позволить, чтобы тебя всякий обнимал и таскал по сцене.

– Но... как же это можно?

– Тебя раз десять поцеловали только за одно действие. Что это такое?

Мы сначала даже опешили. Потом пробовали убедить ревнивца.

– Товарищ, так на сцене поцелуй ничего не значит,– говорил Карабанов.

– Я вижу, значит или не значит,– что я, слепой, что ли? Я в первом ряду сидел...

Я сказал Лаптю:

– Ты человек разбитной, уговори его как-нибудь. Лапоть приступил честно к делу. Он взял ревнивца за пуговицу, посадил на скамью и зажурчал ласково:

– Какой вы чудак, такое полезное, культурное дело! Если ваша жена для такого дела с кем-нибудь и поцелуется, так от этого только польза.

– Для кого польза, а для меня отнюдь не польза,– настаивал телеграфист.

Так для всех польза.

– По-вашему, выходит: пускай все целуют мою жену?

– Чудак, так это же лучше, чем если один какой-нибудь пижон найдётся?

– Какой пижон?

– Да бывает... А потом смотрите: здесь же перед всеми, и вы видите. Гораздо хуже ведь, если где-нибудь под кустиком, а вы и знать не будете.

– Ничего подобного!

– Как «ничего подобного»? Ваша жена так умеет хорошо целоваться,– что же вы думаете, с таким талантом она будет пропадать? Пускай лучше на сцене...

Муж с трудом согласился с доводами Лаптя и с зубовным скрежетом разрешил жене окончить спектакль, при одном условии, чтобы поцелуи были «ненастоящие». Он ушёл обиженный. Жемчужина была расстроена. Мы боялись, что спектакль будет испорчен. В первом ряду сидел муж и всех гипнотизировал, как удав. Второй акт прошёл, как панихида, но, к общей радости, на третьем акте мужа в первом ряду не оказалось. Я никак не мог догадаться, куда он делся. Только после спектакля дело выяснилось. Карабанов скромно сказал:

– Я ему посоветовал уйти. Он сначала не хотел, но потом послушался.

– Как же ты сделал?

Карабанов зажёг глаза, устроил чертячью морду и зашипел:

– Слухайте! Краще давайте по чести. Сегодня всё будет добре, но если вы зараз не пидэтэ, честное колонийское слово, мы вам роги наставимо. У нас таки хлопцы, що не встоить ваша жинка.

– Ну и что? – радостно заинтересовались актёры.

– Ничего. Он только сказал: «Смотрите же, вы дали слово»,– и перешёл в последний ряд».

«Ставили мы «Азефа». Сазонов бросает бомбу в Плеве. Бомба должна разорваться. Командир шестого «Ш» Осадчий говорил:

– Взрыв мы этот сделаем настоящий.

Так как я играл Плеве, то был больше всех заинтересован в этом вопросе.

– Как это понимать – настоящий?

– А такой, что и театр может в гору пойти.

– Это уже и лишнее,– сказал я осторожно.

– Нет, ничего,– успокоил меня Осадчий,– всё хорошо кончится.

Перед сценой взрыва Осадчий показал мне приготовления: за кулисами поставлено несколько пустых бочек, возле каждой бочки стоит колонист с двустволкой, заряжённой приблизительно на мамонта. С другой стороны сцены на полу разложены куски стекла, а над каждым куском колонист с кирпичом. С третьей стороны против выходов на сцену сидит полдесятка ребят, перед ними горят свечи, а в руках у них бутылки с какой-то жидкостью.

– Это что за похороны?

– А это самое главное: у них керосин. Когда нужно будет, они наберут в рот керосину и дунут керосином на свечки. Очень хорошо получается.

– Ну вас к... И пожар может быть.

– Вы не бойтесь, смотрите только, чтобы керосином глаза не выжгло, а пожар мы потушим.

Он показал мне ещё на один ряд колонистов, у ног которых стояли вёдра, полные воды.

Окружённый с трёх сторон такими приготовлениями, я начал переживать действительно обречённость несчастного

министра и серьёзно подумывал о том, что поскольку я лично не должен отвечать за все преступления Плеве, то в крайнем случае я имею право удрать через зрительный зал. Я пытался ещё раз умерить добросовестность Осадчего:

– Но разве керосин можно тушить водой?

Осадчий был неуязвим, он знал это дело со всеми признаками высшей эрудиции:

– Керосин, когда его дунут на свечку, обращается в газ, и его тушить не нужно. Может быть, придётся тушить другие предметы...

– Например, меня?

– Вас мы в первую очередь потушим.

Я покорился своей участи: если я не сгорю, то во всяком случае меня обольют холодной водой, и это в двадцатиградусный мороз! Но как же я мог обнаружить своё малодушие перед лицом всего шестого «Ш» сводного, который столько энергии и изобретательности истратил на оформление взрыва!

Когда Сазонов бросил бомбу, я ещё раз имел возможность войти в шкуру Плеве и не позавидовал ему: охотничьи ружья выстрелили в бочки, и бочки ахнули, раздирая обручи и мои барабанные перепонки, кирпичи обрушились на стекло, и полдесятка ртов со всей силой молодых лёгких дунули на горящие свечи керосином, и вся сцена моментально обратилась в удушливый огненный вихрь. Я потерял возможность плохо сыграть собственную смерть и почти без памяти свалился на пол, под оглушительный гром аплодисментов и крики восторга шестого «Ш» сводного. Сверху на меня сыпался чёрный жирный керосиновый пепел. Закрылся занавес, меня под руки поднимал Осадчий и заботливо спрашивал:

– У вас нигде не горит?»

Можно было бы также вспомнить, в какой манере описано «покорение» главаря куряжан, и многое другое в этой столь богатой красками книге. Восстановим в памяти хотя бы рассказ о печнике:

«Как-то в спальне у девочек ставил печник печку. Заказали ему круглую утермарковскую. Печник забрёл к нам мимоходом, протолкался в колонии день, у кого-то починил плиту, поправил стенку в конюшне. У него была занятная наружность: весь кругленький, облезший и в то же время весь сияющий и сахарный. Он сыпал прибаутками и словечками,

и по его словам выходило, что печника, равного ему, на свете нет.

Колонисты ходили за ним толпой, очень недоверчиво относились к его рассказам и встречали его повествования часто не теми реакциями, на которые он рассчитывал.

– Тамочки, детки, были, конечно, печники и постарше меня, но граф никого не хотел признавать. «Позовите,– говорит,– братцы, Артемия. Этот если уж складёт печку, так будет печка». Оно, конечно, что я молодой был печник, а печка в графском доме, сами понимаете... Бывало, посмотришь на печку, значит, а граф и говорит: «Ты, Артемий, уж постарайся...»

– Ну, и выходило что-нибудь? – спрашивают колонисты.

– Ну а как же: граф всегда посмотрит...

Артемий важно задирает облезшую голову и изображает графа, осматривающего печку, которую построил Артемий. Ребята не выдерживают и заливаются смехом: очень уж Артемий мало похож на графа.

Утермарковку Артемий начал с торжественными и специальными разговорами, вспомнил по этому поводу все утермарковские печки, и хорошие, сложенные им, и никуда не годные, сложенные другими печниками. При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего искусства и перечислял все трудности работы утермарковской печки:

– Самое главное здесь – радиус провести правильно. Другой не может с радиусом работать.

Ребята совершали в спальню девочек целые паломничества и, притихнув, наблюдали, как Артемий «проводит радиусы».

Артемий много тараторил, пока складывал фундамент. Когда же перешёл к самой печке, в его движениях появилась некоторая неуверенность и язык остановился.

Я зашёл посмотреть на работу Артемия. Колонисты расступились и заинтересованно на меня поглядывали. Я покачал головой:

– Что же это она такая пузатая?

– Пузатая? – спросил Артемий.– Нет, не пузатая, это она кажет, потому что не закончено, а потом будет как следует.

Задоров прищурил глаз и посмотрел на печку: – А у графа тоже так «казало»?

Артемий не понял иронии:

– Ну а как же, это уже всякая печка, пока не кончена. Вот и ты, например...

Через три дня Артемий позвал меня принимать печку. В спальне собралась вся колония. Артемий топтался вокруг печки и задирал голову. Печка стояла посреди комнаты, выпирая во все стороны кривыми боками, и... вдруг рухнула, загремела, завалила комнату прыгающим кирпичом, скрыла нас друг от друга, но не могла скрыть в ту же секунду взорвавшегося хохота, стонов и визга. Многие были ушиблены кирпичами, но никто уже не был в состоянии заметить свою боль. Хохотали и в спальне, и, выбежав из спальни, в коридорах, и на дворе, буквально корчились в судорогах смеха. Я выбрался из разрушения и в соседней комнате наткнулся на Буруна, который держал Артемия за ворот и уже прицеливался кулаком по его засоренной лысине. Артемия прогнали, но его имя надолго сделалось синонимом ничего не знающего хвастуна и «портача». Говорили:

– Да что это за человек?

– Артемий, разве не видно!»

«Дайте свободу Вашему юмору»,– писал автору «Педагогической поэмы» Горький, и Макаренко последовал этому совету.

В самом строе авторской речи слова нередко получают совершенно неожиданное, юмористическое звучание, будучи мастерски введены в контекст фразы. Умело пользуется писатель парадоксом, внезапно опрокидывающим привычные представления. Это не только особенности стиля. Здесь выражается стремление всё время пробуждать, развивать в человеке острое, свежее чувство нового.

Огромное значение для понимания творчества Макаренко имеет оценка того, как мудро и поэтично говорит его писательское слово о труде, облагораживающем воздействии труда, о воспитании нового человека.

«Педагогическая поэма» стала одной из любимых книг советских читателей. В ней всё – правда жизни, всё проникнуто пафосом борьбы за новое, передовое, рождённое советской действительностью, устремлённое в будущее. Это произведение выдающегося педагога, большого писателя. Оно занимает почётное место среди художественных ценностей, которые создала и создаёт советская литература.

ПОСЛЕ «ПОЭМЫ»

После окончания «Педагогической поэмы» литературная деятельность Макаренко всё более расширяется. Он пишет книгу «Методика организации воспитательного процесса», «Книгу для родителей», повести «Честь» и «Флаги на башнях», начинает новый роман «Пути поколения».

В последние годы жизни Антон Семёнович уделял огромное внимание вопросам воспитания в школе и семье. Он рассказывал о своей мечте взять самую запущенную школу и сделать её образцовой, используя свой богатый опыт работы в воспитательных коллективах и разрабатывая методику педагогической деятельности в школе. Основной проблемой, решение которой, по его убеждению, обеспечивало успех, Макаренко считал создание воспитательного коллектива. С этих позиций он рассматривал и постановку работы в школе, и роль семьи.

Задумав «Книгу для родителей», писатель-педагог поставил в центр произведения именно проблему советской семьи как воспитательного коллектива. Произведение это не закончено. Автор предполагал написать четыре тома, связанные между собою единой идеей, но разрабатывающие различные стороны воспитания в семье. Он хотел последовательно осветить те необходимые условия в семейном коллективе, которые помогают формированию в характере человека черт борца-коммуниста, способствуют выбору молодым человеком верного пути в жизни, и, наконец, завершить свою концепцию разработкой важнейшего вопроса, «до сих пор не поднятого в педагогике, вопроса о том, как воспитать человека, чтобы он был не только прекрасным работником, не только хорошим гражданином, но чтобы он был ещё счастливым человеком».

Из задуманных четырёх томов Антон Семёнович написал только первый (1937).

Эта книга, созданная писателем в содружестве с женой, Галиной Стахиевной Макаренко, состоит из нескольких рассказов, перемежающихся с педагогической публицистикой, с теоретическими рассуждениями, которые связывают книгу воедино. Это произведение нельзя причислить целиком ни к какому-либо из жанров художественной литературы, ни к литературе научно-педагогической.

Оба рода литературы здесь оказались своеобразно спаяны смелым творческим замыслом.

Рассказы в основном выполняют роль художественных иллюстраций к ряду положений, выдвинутых автором. В этих рассказах описаны и такие семьи, которые могут служить образцом, и такие, где по разным причинам нормального воспитательного коллектива не возникает, а следовательно, и воспитание детей идёт по неверному пути. Читатель как бы входит в дома, где живут семьи Веткиных, Пыжовых, Назаровых, Головиных, Кетовых и других рядовых советских людей, видит успехи и неудачи их в таком жизненно важном деле, как воспитание молодого поколения.

Как и в «Педагогической поэме», здесь очень трудно определить, где автор выступает в качестве педагога, где в качестве художника. Эти устремления автора слиты воедино. Художественная сила слова помогает лучше выразить педагогическую идею, а опыт и мысли педагога наполняют весомым содержанием повествование. Автор, по сути дела, даёт уроки родителям, делясь с ними огромным богатством своих наблюдений и размышлений. Но эти уроки облечены в форму не лекций и поучений, а ведутся в живой форме реалистического, высокохудожественного рассказа.

Писатель порою в коротких сценах вскрывает конфликты, зародившиеся в семьях, где рос единственный ребёнок, где родителям не удалось воспитать детей, где люди жили не как семейный коллектив, а как соседи, где отец или мать не стали авторитетом для детей.

Присущая Макаренко меткость в обрисовке характеров наглядно сказалась и в этой книге.

В рабочих семьях, в среде рядовых тружеников, находит писатель примеры, достойные самого пристального внимания и изучения.

С какой любовью говорит Макаренко о маленьких детях, о только ещё начинающей формироваться душе будущего человека!

Один из основных педагогических тезисов Макаренко, разработанных в этой книге,– утверждение: в первые годы жизни ребёнка на родителях лежит ответственность за формирование в нём качеств труженика-творца, а не психологии, привычек и навыков иждивенца, носителя потребительского отношения ко всему окружающему,

эгоизма, эгоцентризма, свойственных буржуазной семье. Автор книги требует от родителей, чтобы они растили в своей семье «не потребителя общественных благ, а деятеля социалистического общества, создателя этих благ».

Сопоставляя «Книгу для родителей» с «Педагогической поэмой» и другими произведениями Макаренко, можно видеть, как, при всём различии условий жизни колонии, коммуны, завода и семьи, автор всегда на первый план выдвигает основные положения своей «педагогической веры» – вопросы о единстве коллектива, его тоне и стиле, о дисциплине, трудовом воспитании, доверии и требовательности, авторитете воспитателей, их мастерстве.

Педагогическая установка Макаренко, полемическая направленность его «Книги для родителей» отлично раскрываются самим автором:

«В наше время было сказано, что дети – «цветы жизни». Это хорошо. Но скоропалительные в суждениях, сентиментальные люди не дали себе труда задуматься над этими прекрасными словами. Если сказано «цветы», значит нужно цветами любоваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать. Нужно, пожалуй, самим цветам внушить, что они составляют неприкосновенный «роскошный» букет».

Он говорит о вреде такого представления о «роскошном» букете в китайской вазе на вашем столе. Он напоминает: сколько бы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают, они уже обречены и они бесплодны. Завтра вы их просто выбросите...

«Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот сад – наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно. Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но ещё труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки...

Не только аромат, не только «гаммы красок»,– плоды, вот что должно вас интересовать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда в вашем саду появится

гусеница, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немножко, пусть даже цветам будет чуточку неприятно. Между прочим, у хорошего садовника гусеница никогда не появится.

Да, давайте будем садовниками...»

Как всегда в своём творчестве, Макаренко ставит проблемы воспитания отнюдь не изолированно, не как задачи выращивания «уединённой личности», а как дело государственное, неразрывно связанное с жизнью всей страны, с её настоящим и будущим. Он пишет в «Книге для родителей»:

«Да, у нас есть Герои Советского Союза, но, посылая их на подвиг, наше правительство не устраивало им особого экзамена. Оно выбирало их из общей массы граждан. Завтра оно пошлёт на подвиг миллионы людей и не будет сомневаться в том, что эти миллионы обнаружат такую же нравственную высоту».

Роднят «Книгу для родителей» с другими произведениями Макаренко и наполняющая всю её горячая любовь к советской молодёжи, и вера в силы этой молодёжи, в её будущее, страстная заинтересованность в её судьбе, чувство ответственности советского человека за воспитание юных граждан социалистической Родины, достойных её народа.

•

Почти одновременно с «Книгой для родителей», в том же 1937 году, писатель начал публиковать в журнале «Октябрь» повесть «Честь». Эта повесть по своим художественным качествам слабее произведений, которые составляют основной фонд в творческом наследии Макаренко. Она может привлечь внимание читателя новой для своего времени постановкой проблемы чести, освещением среды, в которой проходили детские годы писателя.

В повести «Честь» автор отошёл от той тематики, которую настоятельно разрабатывал в своём творчестве. Здесь он стремился показать, как воспитывает человека, формирует его характер, его взгляды, мировоззрение сама жизнь, и обратился к периоду первой мировой войны. Писатель не помышлял о создании широкой картины русской жизни того времени, а взял ограниченную по материалу и по средствам её осуществления задачу. Он полемически

ставил вопрос о чести, о том, что это понятие должно быть очищено от наслоений, которые получило в дворянско-буржуазной среде, о том, что существует понятие чести рабочего человека.

Как писал впоследствии Макаренко, он взял участок рабочей жизни, наиболее ему известный,– провинциальный, запущенный уездный городок, в котором хотя и есть реальное училище, но нет промышленности, за исключением слабых, кустарного типа заводиков. «В такие места большевистская литература совершенно не доходила, но большевистские идеи просачивались через сотые руки и создавали не столько изменения в мыслях, сколько изменения в чувствах». Автор описывает рабочую семью, которая была вполне «иммунна» от шовинизма, но в которой жили настроения оборончества. В дальнейшем развитии действия повести её основные герои – старый рабочий Семён Максимович Теплов, его сын Алексей, рабочий Павел Богатырчук, солдат Степан Колдунов, кочегар Иван Груздев – приходят к пониманию коммунистических идей. Писатель показал, как разные люди различными путями шли к партии.

Если в «Книге для родителей» Макаренко призывал к воспитанию чувства достоинства гражданина великой свободной страны, если в «Педагогической поэме» он показывал, как труд и участие в общественной жизни страны рождают в человеке чувство чести, то в повести «Честь» он утверждал, что ложному представлению о чести, господствовавшему в среде царского офицерства, противостоит настоящая честь трудового человека. Это противопоставление дано особенно резко в ответе Алексея Теплова председателю военно-полевого суда, напомнившему ему об офицерской «чести». Алексей Теплов говорит: «Честь – это как здоровье, её нельзя придумать и притянуть к себе на канате, как это вы делаете. Кто с народом, кто любит людей, кто борется за народное счастье, у того всегда будет и честь».

Для образов Семёна Максимовича Теплова и его жены прототипами послужили Семён Григорьевич и Татьяна Михайловна Макаренко – родители писателя. Описание уклада этой семьи, обстановки, в которой она жила, сами образы стариков Тепловых в сопоставлении с прямыми высказываниями и воспоминаниями писателя о своих детских годах, приведёнными в «Книге для роди-

телей», дают много ценного исследователю ранних лет биографии Антона Семёновича Макаренко.

В период работы над «Книгой для родителей», над повестью «Честь» и в последующие годы автор публикует рассказы, очерки, пробует свои силы в сценариях для кино, задумывает новое большое произведение – роман «Пути поколения». В рассказах «Случай в походе», «Симфония Шуберта», «Доктор», «Домой хочу» Макаренко возвращается к описанию характеров и судеб колонистов и людей, вышедших из колонии в большую жизнь.

Начатый писателем роман «Пути поколения» носил в одном из первых вариантов название «Ньютоновы кольца». В нём изображены люди завода, который был показан в пьесе того же названия, но здесь автор задался мыслью дать значительно более широкую картину жизни поколения советских людей, строящего социализм. В центре будущего произведения должны были стать образы коммунистов: руководителя завода и секретаря партийной организации. Содержание романа – основное содержание творчества Макаренко: воспитание, рост нового, советского человека в борьбе за новое общество, в преодолении жизненных конфликтов, в плодотворном труде на благо народа.

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

1935–1939 годы для Макаренко – время огромной литературно-общественной деятельности. Он читает доклады и лекции по вопросам советской педагогики, беседует с читателями на многочисленных конференциях, активно выступает как публицист и литературный критик.

Публицистика Макаренко и его литературно-критические статьи дают обильный материал для уяснения его педагогических идей и воззрений на художественное творчество.

Проблема воспитания нового человека неразрывно связана для него со всей жизнью нашего социалистического общества, в борьбе, в развитии которого он видел главный фактор формирования личности. Этим же определялись для него и цели воспитания.

Несправедлива позиция тех педагогов, которые утверждали (да некоторые полагают и теперь), будто

Макаренко оставил нам лишь свои практический опыт, да и то в особых условиях работы с беспризорными детьми.

Неизмеримо шире значение наследства Макаренко.

Значение его педагогических идей выходит далеко за пределы работы с трудновоспитуемыми детьми – это, по существу, основы коллективистического воспитания человека.

Педагогика Макаренко – педагогика преодоления трудностей, воспитание закалённого характера, бодрости, оптимизма, отвращения к штампам, чувства общественной перспективы – «постоянного знания о больших всеобщих целях». Коренная её черта – выработка коллективистического мировоззрения, характера труженика и борца.

Сам Макаренко, рассказывая об опыте своей педагогической деятельности, так выделял наиболее существенное в разработанных им принципах:

«Моим основным принципом (а я считал, что это принцип не только мой, но и всех советских педагогов) всегда было: как можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему...

...второе положение моей теории: никакой метод не может быть выведен из представления о паре – учитель плюс ученик, а может быть выведен только из общего представления об организации школы и коллектива».

«Коллектив учителей и коллектив детей – это не два коллектива, а один коллектив, и, кроме того, коллектив педагогический. Причём я не считаю, что нужно воспитывать отдельного человека, я считаю, что нужно воспитывать целый коллектив».

Потому придавал Макаренко огромное значение общему тону, стилю коллектива. Он говорил: «...если у вас в школе будет правильный стиль, правильный тон, правильный коллектив, то никакой риск не делается страшным».

Исключительное место в своих теоретических построениях отводил Макаренко дисциплине и созданию авторитета педагога.

Одним из решающих факторов в этом вопросе для него являлось мастерство педагога, то, что он называл педагогической техникой. Он отрицал установку на талантливого педагога: «...разве мы можем положиться на случайное

распределение талантов?» Он видел секрет успеха в умении, в квалификации, которыми может овладеть всякий.

Коллектив и мастерство – вот на чём он строил свою педагогику.

Большое внимание ряда педагогов привлекают в его творческом наследии раскрытие диалектики педагогического процесса, определение подлинного существа педагогических закономерностей, теоретические положения о трудовом воспитании, учение о детском коллективе как мощном факторе воспитания в коллективистическом духе, мысли о физическом и эстетическом воспитании, о семье, о тоне и стиле коллектива, о педагогическом такте и многое, многое другое, что делает таким живым это богатейшее творческо-педагогическое наследство.

Макаренко создавал научно-педагогическую теорию, основываясь на марксистском учении о воспитании. Он писал, что педагогические идеи марксизма-ленинизма дают в области воспитания совершенно ясную установку и открывают большой простор педагогическому творчеству. Труды Макаренко содержат мысли, способные и сейчас помогать педагогической науке двигаться вперёд.

Научно-педагогические взгляды Макаренко получили яркое выражение во всех его произведениях. Весьма значительна ценность его статей по вопросам коммунистического воспитания.

В них ставятся важные проблемы советской этики и морали, разоблачается лживость буржуазных теорий в этой области. Очень существенно в теоретических работах Макаренко то, что он всё время опирается на факты и явления, характеризующие развитие нашего общества.

В этих работах читатель находит интереснейшие высказывания о личности и коллективе, о природе коллектива. Подробно разработаны в них задачи воспитания, средства воспитания.

Самые различные этические воззрения и системы воззрений, которые выдвигались представителями буржуазной философской и педагогической мысли, имели в основном одну общую черту – они исходили из абстрактных, внеисторических принципов нравственности, идеалистически рассматривая этические, моральные нормы вне действительных общественных отношений.

Советская этика строится на основе марксистского понимания законов общественного развития.

В. И. Ленин в речи на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического союза молодёжи говорил: «Надо, чтобы всё дело воспитания, образования и учения современной молодёжи было воспитанием в ней коммунистической морали»,– и разъяснял: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чём состоит и основа коммунистического воспитания, образования и учения». В 1922 году В. И. Ленин писал съезду работников просвещения: «...желаю вам справиться с большой и ответственной задачей, лежащей на вас,– подготовить молодое поколение к строительству новой жизни».

В теоретических работах Макаренко изложил свои взгляды на многие проблемы коммунистической этики. Задачи педагогические Макаренко связывал непосредственно с этими проблемами. Нельзя воспитывать человека, не ставя перед собою определённой политической цели, утверждал он, работа по воспитанию не может быть аполитичной. Политическая цель воспитания определяется нашими общественными потребностями, стремлениями советского народа, целями и задачами нашей революции, нашей борьбы на каждом этапе.

Он писал в газете «Правда» (1937) о том, что воспитание нового гражданина происходит у нас везде. Трудно назвать такое место, такой общественный процесс, такое общественное явление, где не происходило бы становление нового человека. Коллективизация нашего села есть, может быть, самый яркий в истории случай активного и целеустремлённого перевоспитания масс, одно из самых глубоких и смелых по замыслу педагогических явлений человечества. Перед нами раскрываются широкие политические перспективы...

Он напоминал, что впереди у нас не только победы, но и борьба. Для этих побед и для этой борьбы воспитываются люди, которые сейчас растут в нашей семье и в нашей школе.

В ряде его статей, лекций, докладов по педагогическим вопросам много теоретически и практически важного для деятелей советской педагогики, многое могут почерпнуть отцы и матери, воспитывающие юных советских граждан.

Характерна, например, постановка вопроса о дисциплине.

Выработке только факторов торможения педагог-новатор противопоставляет иное содержание понятия дисциплины: советская дисциплина – это дисциплина преодоления препятствий и трудностей, дисциплина борьбы и движения вперёд; наши цели могут быть выражены только в качествах характера, определяющих коммунистическую личность.

Макаренко в своих публицистических выступлениях многократно формулирует мысль, столь последовательно выражаемую в его художественном творчестве,– мысль о том, что воспитателем личности советского человека является коллектив, что для успешной воспитательной работы необходимо создание правильного коллектива и правильное влияние коллектива на личность. Законы воспитания, постоянно подчёркивает он, «вытекают из общей жизни Советского Союза», и любой воспитательный коллектив в нашей стране представляет собою часть советского общества.

Всегда, подчёркивает Макаренко, буквально на каждом шагу, должны стоять перед коллективом «образцы нашей борьбы, он всегда должен чувствовать впереди себя Коммунистическую партию, ведущую его к подлинному счастью».

Вдохновенна публицистика Макаренко, говорящая о счастье, завоёванном в ожесточённой борьбе и принадлежащем только тем, кто отдаёт себя служению народному делу, строительству коммунистического общества: «...оно приходит не к каждому, кому захочется поселиться на нашей территории. Тому, кто умеет плавать только в мутной воде эксплуатации, счастья у нас не положено...»

Хочется найти, писал Макаренко, какие-то особенно выразительные слова, чтобы правильно оценить наши дни. Мы больше думаем о счастье, чем когда бы то ни было в истории. Эта тема реально придвинулась к нам, она стала нашей деловой темой, тема о счастье всех людей, тема о человеке, о личности, об обществе. Теперь вдруг стало ясно видно, что такое счастье. В нашем государственном законе оно разрешается «в простом сочетании двух величин: личность и общество».

Макаренко утверждал, что, в отличие от всякого другого мира, наш закон общий, закон государственный, есть, собственно говоря, закон о счастье. Он заявлял, что завидует будущим людям, завидует даже тому школьнику, который

в каком-нибудь 2436 году будет читать страницы учебника истории, посвящённые нынешним дням.

«Я завидую этому школьнику потому, что его детские глаза лучше моих увидят настоящее величие наших дней: для этого школьника десятки поколений учёных, сотни светлых умов освобождённого человечества раскроют и назовут самые глубокие правды...»

Макаренко сам был подлинно счастливым человеком и страстным борцом за счастье. Он воспитывал людей, способных отстоять своё право, право народа на мир, на мирный труд. Напоминал всегда, что жизнь наша, наше счастье в наших руках. И призывал быть готовыми к тому, что из наших рук его захотят вырвать. Он требовал, чтобы советские люди были бдительны к врагу. За несколько лет до начала Великой Отечественной войны он писал:

«Величественные пространства СССР окружены мраком фашистской злобы и первыми вспышками войны.

Новое истребление человечества среди бела дня открыто готовится вокруг нас.

Невиданное в истории мира совершилось: после многих десятилетий классовой борьбы... вырос на равнинах некогда нищей и отсталой России сияющий великий социализм. Он создан героической борьбой замечательного поколения людей...

...Знамя гуманизма – это знамя не благостной мечты, это – знамя непобедимой силы...

...И если вспыхнет война, наш гражданин... под знаменем гуманизма спокойно свернёт шею любой фашистской гадине, под каким бы национальным флагом она ни бросилась на СССР. И эта победа будет самой гуманистической победой в истории».

Он видел свет грядущей нашей победы и видел трудности борьбы. Он готовил смелых, разумных, терпеливых борцов. Сугубо подчёркивая природу нашего общества и обязанности каждого гражданина по отношению к этому обществу, он утверждал: «Дисциплина – это глубоко политическое явление, это то, что можно назвать самочувствием гражданина Советского Союза».

Забегая вперёд, подчеркнём близость этих высказываний по своему содержанию публицистическим выступлениям другого писателя-гражданина, о котором пойдёт речь в этой книге,– Михаила Шолохова.

Понимание гуманизма как гуманизма социалистического,

революционного, включающего в себя не одну любовь, а и ненависть, сильного не всепрощением и всеядностью, а проникнутого духом непримиримой борьбы за Человека против всего нечеловеческого, античеловеческого,– такая позиция присуща обоим большим художникам, обоим столь ярким представителям подлинного гуманизма, действенного, активного.

Совпадение мотивов будет особенно заметно в статьях, речах, сближаемых и хронологией, обращением к одним и тем же событиям и явлениям в истории родной страны, в мировой истории. Важно, значительно и другое – более глубокое единство, которым характеризуется публицистика обоих писателей самых разных лет, выявляющая философскую основу их взглядов на труд литератора, на его призвание, на его место в современном мире.

•

Всё ли бесспорно в творческом наследии выдающегося советского педагога?

В отдельных работах, высказываниях есть ряд полемических преувеличений, противоречащих основным и последовательно развиваемым самим педагогом положениям, его практическому опыту. Обостряя постановку вопроса, к которому он хотел в данный момент привлечь внимание, Макаренко иной раз допускал подобные неточности и нечёткость формулировок.

Сам Антон Семёнович всегда критически, творчески подходил к накопленному им опыту, проверял его и совершенствовал свои положения. А главное, он всегда был против догм, против застывших канонов, всегда ратовал за диалектический подход к вопросам воспитания.

Примечательно высказывание Семёна Афанасьевича Калабалина, следовавшего в педагогической работе принципам своего учителя. Калабалин утверждал, что только когда начинаешь понимать самую суть идей Антона Семёновича, а не отдельные приёмы, только тогда начинаешь чувствовать себя по-настоящему сильным в детском коллективе. «В его драгоценном наследстве предусмотрены почти все конкретные, рабочие случаи, и нам, советским педагогам, прямым наследникам этого богатства, следует научиться не механически, а грамотно и разумно пользоваться им».

Любое литературное дело, за которое брался Антон Семёнович Макаренко, он выполнял с большой убеждённостью и творческой страстностью. И в художественных произведениях, и в публицистических трудах, и в работах литературно-критических он искал прежде всего трибуны для общения с самыми широкими кругами читателей, для пропаганды идей марксистско-ленинской науки о воспитании, борьбе за которые он отдал всю жизнь. Этому основному заданию он подчинял своё творчество.

Значительный интерес представляют статьи и высказывания о писательском труде, о природе художественного творчества, творческого процесса, а также по общим проблемам развития советской литературы, работы, специально посвящённые литературе для детей, рецензии на произведения советских писателей, полемические заметки о собственных книгах, переписка.

Писатель призывал своих коллег «создавать новые слова, краски и звуки, изображая то многообразное новое, чем так богата наша жизнь и наша борьба». Он говорил, что художник слова, дерзающий и ищущий, не должен бояться разумного риска: даже ошибки не будут носить трагического характера, если этот художник живёт интересами народа, социалистического общества, если его мысли и дела «искренне и чисто идут за Коммунистической партией».

Истинную радость творчества он и видел в том, чтобы идти путём борьбы, постоянно «находиться в фарватере великого строительства нового человеческого мира», чтобы писатели выступали как бойцы «единого фронта человеческого освобождения».

Макаренко говорил о грандиозной работе, которая ожидает писателей на поприще коммунистического воспитания людей, и об их коллективной ответственности перед всей страной.

В его высказываниях о литературе подчёркивается необходимость обличать и вытравлять всякого рода пережитки в сознании людей. Среди подобных явлений писатель перечислял такие, как шкурничество, подхалимство, угодничество, формальное благочестие, пошлость и «припадки глупости». Макаренко всегда связывал писательский труд с общей государственной задачей, которую называл

социалистической: «воспитывать коллективиста, воспитывать человека новой эпохи».

В своей педагогической деятельности, в своих произведениях Макаренко, как мы уже отметили, был подлинным гуманистом, прославлявшим Человека и ненавидевшим всё враждебное Человеку. Он считал одной из величайших и прекрасных особенностей советской литературы «постоянное неиссякаемое звучание гуманизма», «пленительную красоту лучших человеческих стремлений, о которых на протяжении всей истории мечтали самые совершенные люди». Он гордился тем, что жизнь нашей страны, каждое её деяние есть дело всего человечества и это дело в самых корнях насыщено уверенностью в правоте, ибо оно является делом освобождения, делом гуманизма.

Снова и снова напрашиваются сопоставления с взглядами и суждениями автора «Науки ненависти», «Слова о Родине», «Света и мрака», а также – и прежде всего! – романов-эпопей, посвящённых историческим судьбам нашего народа. Эти воззрения, воплощённые в слова и отлитые в формулы, составили основное содержание речи автора «Тихого Дона» в Стокгольме на нобелевских торжествах 1965 года.

Анализируя природу советского общественного строя, Макаренко приходил к выводам о том, что литературе, рождённой этим строем, борющейся за нового человека, нужны новые принципы этики и эстетики: новые связи между людьми, возникшие в социалистическом обществе, «новый характер должного», новый характер борьбы и преодоления, новые условия для счастья человека, по его убеждению, требуют и новой эстетики.

Новаторские задачи искусства социалистической страны писатель определял исходя из самой структуры советского общества, которое называл обществом на великом походе, подчёркивая этим динамичность развития, устремлённость в будущее. В статье «Литература и общество» говорилось о том, что мы живём в замечательное время, когда человечество закончило «какой-то тысячелетний период предварительной жизни» и ныне впервые в истории поднято знамя «человеческой организации». В этом обществе народ, вооружённый, по слову писателя, стратегией марксизма-ленинизма, ведёт бой за новое счастье, новый разум, новую жизнь, и в жизни этого общества нет никакой статики.

«Каждую минуту,– писал он,– мы живём в среде сильнейшего, целеустремлённого, боевого движения. И если в некоторых областях наша победа звенит уже по всему свету, вызывая ужас и предсмертные судороги у наших врагов, то в других областях победа ещё прячется в процессе борьбы... а бой идёт на последних напряжениях перед концом, перед победой». Макаренко называл советскую литературу органом художественного народного зрения, умеющим видеть дальше и проникать глубже – в самую сущность событий, отношений и поступков. Он утверждал, что литература советского народа обязана уметь не только отразить происходящее, но «в каждом её слове должна заключаться проекция завтрашнего дня, призыв к нему, доказательство его рождения. На боевом пути советского общества литература вовсе не играет роли фронтового информатора, она – разведчик будущего». В полном соответствии со своей концепцией Макаренко заявлял, что место деятельности художника слова – весь фронт социалистического наступления, а литературу он называл боевым участком, который поручен писателям советским народом.

В историю советской литературы Макаренко вошёл как один из активных борцов за основополагающие принципы её развития. Это получило яркое отражение и в его литературно-критической деятельности.

Публицистические выступления Макаренко по вопросам литературы и искусства, раздумья его о природе творческого труда, облике советского писателя, оценки отдельных произведений, беседы о том, как задумывались и писались собственные книги, полемика со своими критиками интересны, может быть, прежде всего тем, что писатель-педагог формулирует в них мысли о существенных процессах литературного развития в нашей стране, выдвигает и отстаивает свои творческие концепции, высказывает яркие и определённые суждения. Писатель осуждал лакировщиков, схематиков, людей, мыслящих и пишущих по шаблону, разного рода вульгаризаторов, упростителей. Он никогда не мирился с односторонним, обеднённым изображением жизни, с её искажениями в произведениях искусства.

Так, например, в полемической схватке с критиком О. Войтинской не столь примечательна сама по себе защита повести «Честь» (притом автор отнюдь не вдаётся в спор по поводу художественных

достоинств книги), сколь то, что, защищаясь и контратакуя оппонента, писатель раскрывает свои взгляды на задачи творчества, свою методику работы над материалом, над выбранной темой, говорит о предметах, имеющих гораздо более широкое значение, нежели характеристика написанной им повести. Эта сторона его полемики получает дальнейшее и особенно наглядное развитие в статье «Против шаблона», которая возникла в прямой связи с предыдущей. (Статья «Против шаблона» была напечатана в «Литературной газете» 30 июня 1938 года в порядке обсуждения.)

Здесь Макаренко горячо выступает против того, что представлялось ему одной из главных опасностей для современной литературы,– против тяготения к стандартизации художественного изображения, против стандарта в литературно-критических мерках, требованиях и оценках. Шаблонному подходу к пониманию литературных явлений он противопоставляет реальную сложность, напряжённость, многообразие советской действительности, обилие её красок. Он говорит о здоровье, оптимизме нашего общества, богатых и новых перспективах движения вперёд, о том, что всё это как бы просится на художественное полотно, ожидает отображения в произведениях литературы. Писатель, который всю свою творческую жизнь посвятил борьбе за глубокую правду искусства, рождённого самой жизнью нового, советского общества, деяниями народа, язвительно упоминает о тех, кого он называет мёртвыми душами, мелкими окололитературными жителями, протестует против их самозваного права выносить приговор писателям и произведениям художественного слова. Он хочет оградить литературу от притязаний людей, для которых невыносимы принципиально, а ещё более практически неприемлемы живые краски.

Из особенностей советской жизни он выводит требования, которым должно отвечать творчество литератора – будь то прозаик, поэт или критик. Он утверждает, что эта жизнь целиком новая и по-новому богаты в ней единство людей, строительство, которое осуществляется и планируется. И радости здесь новые, и трудности новые. «Каждый день приносит нам самые новые и самые неожиданные открытия в самой природе человека, в его красоте, в его радости, любви и даже в его слабости, страдании, ошибке». Поэтому литератору необходимо обладать способностью анализировать, иметь развитый художественный вкус, и прежде всего

надо «положительно относиться» к новому в нашей действительности. Тогда литератор сможет воспринять её живое движение, в сложных узлах и тонких оттенках увидеть проявления единых законов и идей, которыми живёт эпоха построения коммунистического общества.

Говоря о роли советской литературной критики, Макаренко уподобляет её здесь отделу контроля на правильно организованном промышленном предприятии. Контрольное хозяйство заводов, напоминает он, это сложнейшее дело, «научно организованная система точности», в которой применяются вовсе не только шаблоны, но микрометры, которая невозможна без знания материала, совершенных инструментов. Это не механическое сопоставление. Писатель, лишь отталкиваясь от образного определения, сразу подчёркивает, что жизнь советского общества несравненно сложнее работы даже самого совершенного завода. Он говорит, что население Советского Союза состоит из десятков миллионов индивидуальностей и каждая из них неповторимо самобытна. Особо выделяет писатель то, что всем этим миллионам индивидуальностей открыты все жизненные пути, возможности всестороннего развития. Обязанность советских писателей и состоит в том, заявляет Макаренко, чтобы достойно запечатлеть богатство колорита этой величественной жизненной картины. Но если писатели обязаны с уважением подходить к изображению мира советских людей, то они в свою очередь вправе требовать от критики такого же уважения к этому миру. Он гневно отвергает кустарные критические шаблоны, стандартизацию в литературном деле как явления оскорбительные и для писателей, и для самой жизни советского общества.

Откуда же проистекала у некоторых литераторов, по мысли Макаренко, тенденция к стандартному изображению явлений жизни, характеров людей? Причину этого он усматривал в упрощённых представлениях, складывавшихся у таких писателей или критиков, о том, что представляет собою советский человек и жизнь советского народа. Он говорил, что критики упростили до последней степени своего современника, снабдили его стандартными добродетелями, от которых, как писал Макаренко, за сто километров несёт христианством. Писатель протестовал против героев, которых научили, по его словам, кротко

умирать от чахотки, произносить непогрешимо-прописные речи, отучили раздумывать, мучительно решать что бы то ни было, лишили его лирики, юмора, сарказма. Он называл такого героя облегчённым существом, у которого всё решено, всё известно и которому неведом лишь грех. «Этого самого нашего героя освободили от всех конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо!» Макаренко страстно отрицал возможность счастья в подобном безоблачном существовании, райском житье, полном святости и бездеятельности. Он называл такое существование скучным и однообразным и напоминал, что вовсе не похожа на это наша жизнь, которой свойственны характерные для неё противоречия.

Любопытны его высказывания о том, что именно свобода нашей жизни приводит прежде всего к обнажению конфликта, к возможности атаки на конфликт. Одно из важных качеств в характере советского человека, одну из существенных особенностей всего строя советской жизни он видел именно в готовности идти навстречу любому конфликту и в способности преодолеть его. Он призывал писателей искать цельность характеров своих героев не в натуре, данной от бога, а в «социальном самочувствии гражданина СССР, большевика, участника великой нашей борьбы», не бояться конфликтных положений, ибо «секрет и прелесть нашей жизни не в отсутствии конфликта, а в нашей готовности и в умении их разрешать».

Обращался ли Макаренко в своём творчестве к историческому прошлому, описывал ли жизнь колонии и коммуны, которыми руководил, изображал ли заводской коллектив – всюду главными для него были проблемы воспитания нового человека. Глубинное содержание творчества сближает его произведения со многими книгами советских писателей того времени. Эту связь с передовой литературой тех лет помогают раскрыть статьи Макаренко по вопросам литературы, где он обращается к произведениям, в наибольшей степени привлекавшим его внимание.

Отзывы Макаренко о книгах своих коллег помогают уяснить его творческие позиции, критерии, с которыми он подходил к оценке литературных явлений.

Любимой своей книгой в советской литературе Макаренко называл «Тихий Дон». Оценивая это произведение, он выделял необыкновенную глубину и яркость, с какими Шолохов анализирует переживания героев романа.

Позволительно ли построить тут некую гипотезу? Только ли эти качества сделали такое произведение, как «Тихий Дон», любимой книгой в советской литературе для Макаренко? Необычайная глубина и яркость анализа переживаний героев романа – это, конечно, чрезвычайно, исключительно много. Но не похоже ли, что предельная, присущая Макаренко скромность не позволила ему сказать о другом – о внутреннем родстве, об огромной внутренней близости?

Речь идёт о равно характерной и для создателя «Педагогической поэмы», и для автора «Тихого Дона», завещанной Горьким, воплощённой в его творчестве, до того в литературе, видимо, небывалой по силе и красоте, великой вере в человека, в его возможности, в его прекрасное предназначение на земле. Не она ли прежде всего, эта вера, заставляет нас, читателей, с таким волнением, с таким сопереживанием всматриваться в образы столь многих героев книг Макаренко и Шолохова, в повороты жизненного пути этих героев, в их судьбу?

Речь идёт о мужестве, о смелости обоих художников в их подходе к изображению жизни. О том, что оба они живописуют картины жизни во всей их реальной сложности, зачастую в переплетении противоречий. И чем глубже проникает в явления действительности взор художника, чем бескомпромисснее анализ и изображение увиденного и прочувствованного, тем большую победную силу обретает присущий обоим писателям пафос жизнеутверждения, могучий оптимизм, который для них обоих, в их восприятии, представляет то, что Макаренко назвал не «мечтою», а «реалистической уверенностью». Это значит, что путь борьбы остаётся путём борьбы, требует преодоления самых трудных и разнообразных препятствий, сложностей, но в конце концов уверенность в победе торжествует.

Речь идёт о том, что такие гуманисты современности, такие художники-реалисты нового типа, проникая в самые глубинные процессы, формирующие историю, в потаённые уголки человеческого сердца, в этот микромир, порою оказывающийся макрокосмом искусства,– эти художники, которые создают картину действительности, поражающую своей сложностью и глубиной, всегда, непременно ведут взор читателя к горизонтам истории, распахивают перед ним перспективы развития жизни народа, человечества.

К «самому первому ряду» советской литературы относил Макаренко и роман А. Н. Толстого о Петре Первом. Он отмечал широту и красочность картины эпохи, полнокровность и волнующую художественную силу в изображении событий, мастерство писателя, яркость и выразительность его языка.

Обильную пищу для раздумий о судьбах и путях литературы даёт статья, посвящённая «Чапаеву» Д. Фурманова. Важным достоинством этой книги Макаренко считал то, что она является драгоценным памятником героизму масс и отдельных бойцов, славному подвигу советских людей в годы гражданской войны. Масштабы реальных свершений народа, писал он, не могли удовлетворяться рамками бытового реализма, они требовали искусства большого исторического синтеза, социалистического реализма в его «самых высоких формах», и Д. Фурманов оказался в русле этого социалистического реализма. Высоко ценил Макаренко достижения тех писателей, которым удавалось создать живой образ положительного героя, и в фурмановском Чапаеве его привлекало именно то, что Чапаев не «идеальный» герой, а человек «живой и страстный».

Статья представляет значительную ценность, хотя очевиден и её недостаток: Макаренко объяснял рост сознания Чапаева и развитие его характера исключительно воздействием всей советской действительности в целом, при этом недооценивал воспитывающую силу влияния, которое оказывал на Чапаева комиссар Клычков.

Всматриваясь в литературу двадцатых и тридцатых годов, Макаренко откликался на приметные явления, умел оценить творчество мастера, поддержать молодой талант, избравший верный путь, показать, в чём значение для нашего искусства нового произведения, вступающего в строй книг, которые несут читателю правду жизни.

Естественно, что его внимание привлекла книга Ю. Крымова «Танкер «Дербент». Макаренко увидел, что молодой писатель глубоко знает материал, почерпнутый из самой жизни. Разбирая произведение, с которым автор, по сути дела, дебютировал в литературе, Антон Семёнович поднимал принципиальный вопрос о необходимости для писателя достоверного знания какой-либо реальной жизненной среды, какого-либо труда, быта. Он подчёркивал, что изображение советского человека не даст истинного представления о личности, характере этого человека, если

не будут показаны те черты его характера, которые определялись и развивались в трудовой деятельности, воспитаны в нём коллективом тружеников.

В другом произведении, также написанном молодым в ту пору писателем, в «Кочубее» А. Первенцева, Макаренко с радостью отметил следование благородным традициям Горького, Гоголя. Он говорил в этой связи о понимании подлинного героизма, сочетающего в себе величие и красоту, о воспевании борьбы за освобождение, возвышающей человека, красоты подвига. С удовлетворением улавливал он в слоге советского писателя то, что определял как «восстановление страстной гоголевской эпической приподнятости».

Непримирим был Макаренко ко всему, что воспринимал как серьёзные просчёты в произведениях и мастеров, и начинающих писателей. Особенно ратовал он против аполитичности, любого разлада художника с жизненной правдой, неверного изображения действительности, против погони за дешёвой экзотикой, против всего, что оскорбляет художественный вкус. С какой резкостью выступал он, если кто-либо из писателей, по его убеждению, относился к своей работе без чувства ответственности перед народом, не уважал советского читателя, давал ему «скороспелый лубок», легкомысленно, поверхностно подходил к темам большого общественного значения!

Надо сказать, что иной раз в пылу полемики писатель, может быть, чрезмерно увлекался в похвалах или в недовольстве тем или другим произведением. Но, во всяком случае, всегда это было слово страстное, убеждённое, продиктованное горячим стремлением в меру своих сил содействовать движению нашей литературы вперёд. Потому его оценки отдельных произведений имеют значение для современного читателя не только в конкретно-рецензентской части, но ещё более – в обобщениях, в высказываниях, которые позволяют судить о взглядах Макаренко на художественное творчество.

Одними из самых ответственных и увлекательных тем для наших писателей он называл такие, как советский патриотизм, социалистическое строительство, движение передовиков труда, дружба народов, счастье трудящихся, защита Родины, советская демократия.

Исходя из огромных задач, выдвигаемых жизнью перед советской литературой, Макаренко вдумчиво исследовал те

художественные средства, которые должны обеспечить ей максимальное воздействие на читателя, дать ей силу могучего реалистического искусства. Он очень заботливо изучал «писательскую технику», проблемы мастерства. Резкую отповедь с его стороны вызывали произведения недоработанные, в которых видны пробелы, он осуждал и грубость мазка в изображении, и манерность, он не прощал писателю неумение использовать богатый материал, который предоставляет художнику слова жизнь современного советского человека. Он много труда посвятил «лабораторному» анализу произведений искусства, проблемам композиции, детали, диалога, пейзажа, портретной живописи, стиля, то есть проблемам взаимоотношения формы и содержания в искусстве.

Говоря о важности кропотливого, «лабораторного» анализа, он резко осуждал привычку некоторых писателей и литературных критиков «всё решать в общем и целом», «реагировать» на то или иное произведение «либо при помощи кадила, либо при помощи дубины». Он язвительно высмеивал такого рода диспуты в Союзе писателей, с которых автор произведения уходил с единственным результатом – с растрёпанными нервами, а все остальные ничего иного с собой не уносили, кроме «тех же кадил и дубин».

Большой интерес представляют высказывания писателя о ценности углублённого изображения психологии героев, которое часто подменяют описанием преимущественно фактов, событий, не раскрывая во всей полноте переживаний человека.

Нельзя без захватывающего интереса читать статью «Максим Горький в моей жизни». Идеи Горького были очень близки Макаренко. Огромное уважение питал он к деятельности основоположника литературы социалистического реализма. Трепетно-живую мысль, задушевные признания найдёт читатель в этой статье.

Несомненно, привлекут внимание читателя суждения о творчестве Горького, трактовка горьковских образов. Известно, какое место в литературном наследии Горького отводил Макаренко пьесе «На дне». Его вдохновлял в этом произведении протест против общества, уродовавшего людей, протест, который, по словам Макаренко, прежде всего вызывает мысль о революции. Тем, кто хотел посвятить себя труду педагога, он советовал обращаться к книгам Горького – не для разрешения отдельных «текущих» вопросов, а для того,

чтобы эти книги дали «большое знание о человеке в огромном диапазоне возможностей» и показали человека не в натуралистическом изображении, а в «великолепном обобщении и, что особенно важно, в обобщении марксистском». Макаренко принадлежит определение творчества Горького как «исследования о человеке». При этом он особенно восхищался реалистическим мастерством Горького, раскрывающим социальную сущность образа, горьковским оптимизмом, верой в человека. Образы, данные Горьким в «Матери», поражали Макаренко страстностью, с какой великий писатель искал и умел находить в людях героическое, с какой он показывал героев нового типа, любуясь «скромностью человеческого героизма».

Тонкий анализ ряда горьковских образов привёл Макаренко к интересным наблюдениям и выводам:

«Видеть хорошее в человеке всегда трудно... Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог обязан это делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться. И вот этому уменью проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького. Особенно важно, что у Горького это умение далеко не так просто реализуется. Горький умеет видеть в человеке положительные силы, но он никогда не умиляется перед ними, никогда не понижает своего требования к человеку и никогда не остановится перед самым суровым осуждением.

Такое отношение к человеку есть отношение марксистское».

•

Естественно, что писатель-педагог уделял особое внимание книгам, предназначенным для детского чтения.

Тут он прежде всего полагал обязательным чётко определять возраст читателей, которым адресовано произведение. Так, говоря о выборе книг для малышей, он особенно рекомендовал такие, которые способны возбуждать энергию, уверенность в своих силах, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. В данном случае не годятся, по его мнению, мрачные сюжеты, описание гибели хороших людей. Симпатия к угнетённым не должна, настаивал он, сопровождаться представлением об их обречённости, постоянном отчаянии, лишь детям старшего возраста

можно показывать картины, где отражены кошмарные формы эксплуатации и насилия человека над человеком.

Каждую книгу рассматривал Макаренко как средство воспитания, он хотел, чтобы в нашей стране литература помогала созданию цельной коммунистической личности. Потому он требовал, чтобы произведение советского писателя всегда было «политическим», и осуждал воззрения, согласно которым задачи литературы для детей ограничиваются стремлением развивать воображение и дать юному читателю познавательный материал.

В статье «Воспитательное значение детской литературы» Макаренко говорит о том, что книга для детей должна быть яркожизнерадостной, нести в себе много энергии, смеха, проказливости, развивая тем самым в детях черты характера, которые дают ему силу, «мажорность», устойчивость и коллективистическую природу. Он высмеивал и считал вредной проповедь в детских книгах «скучной, серенькой, бездеятельной, прибранной христианской добродетели, «доблести» воздержания, «героизма» умеренности и непротивленчества». Ему были ненавистны любые проявления вульгаризаторства, фальши, ханжества.

Весьма определённо высказывался писатель относительно стилевых особенностей литературы, предназначенной детям. Ему казались необходимыми здесь следующие качества: повествование должно быть простым, развиваться в строгой логической последовательности, отличаться художественной изобразительностью, но при этом должны быть отвергнуты любые формы словесной изощрённости. Он хотел видеть в этих книгах яркие, полнокровные чувства и такую же живопись словом, полагал обязательным то, что именовал «совершенно точным реализмом»,– точное разделение светлого и тёмного в картине; отвергал, как неуместные, любой импрессионизм и даже эстетические оттенки, психологическую «игру», чрезмерную детализацию в анализе и уж тем более – пассивносозерцательную лирику, «грустные размышления над природой», тона элегические. По его представлениям, в любой книге для детей следует показывать такую же «прямую борьбу светлого и тёмного, какая есть в сказке». Проблемам стиля детской художественной литературы Макаренко придавал исключительное значение, поскольку она отличается, по его убеждению, от книг для взрослых именно этим, а отнюдь не тематикой или «номенклатурой идей».

Любопытно обоснование этой концепции. Ему служило утверждение, что вряд ли можно найти тему, не пригодную для детского чтения, как нельзя назвать и «ультрадетскую» тему, которая не могла бы быть разработана и для взрослого читателя. Сомнение в возможности предложить ту или иную тему детям свидетельствует, по мнению Макаренко, только о том, что писателям надлежит основательно поработать над художественным решением такой темы. Всё дело, настаивал он, в том, как разрабатывать любую тему советской литературы применительно к детскому восприятию, уровню знаний и возрастным особенностям каждой группы читателей. Именно так и рассматривал Макаренко вопрос о специфике детского чтения: важно для уяснения этой специфики не то, о чём говорит книга, а как она об этом говорит. Руководствуясь критерием педагогическим, пониманием природы ребёнка, того, как воспринимает ребёнок явления жизни и искусства, Макаренко сформулировал «свод стилистических ограничений и правил».

При этом он подчёркивал условность того, что можно назвать возрастными представлениями, «возрастным комплексом психики», предостерегал от примитивного следования требованиям этого комплекса и от чрезмерного ограничения возможностей художественной литературы применительно к данному возрасту читателя-ребёнка; советовал обгонять возраст, вести этого читателя «к тем пунктам, где он ещё не был». Исходя из этих соображений, Макаренко предпочитал рассматривать не канонические стилевые категории, не канонические рамки стиля, а его тенденции, не законы в области формы, а то, что определял как «законы движения» в стилевых признаках. В качестве одного из аргументов он приводил тот факт, что хорошие книги читаются и в отрочестве, и в юности, и в зрелом возрасте. Если же книга вызывает к себе интерес лишь у читателей какого-нибудь одного возраста, значит, она страдает ограниченностью идей и представлений, значит, это книга слабая.

В таком аспекте и пытался писатель обрисовать некоторые тенденции стиля литературы для детей. Так возникали в его раздумьях проблемы сюжета, который он обозначал как схему развития идей и отношений, духовной борьбы; фабулы – то есть схемы событий, внешних столкновений и борьбы. Разделяя, таким образом, понятия о сюжете и фабуле,

он полагал, что сюжет детской книги должен быть как можно более прост, ибо читателю ещё почти неведомы синтез и обобщение, исключения и искажения, его опыт в области человеческих отношений, да и опыт познания самой жизни человека пока очень невелик. В противовес этому чем сложнее и изощрённее будет фабула, тем скорее и надёжнее книга завоюет читателя, увлечёт его, ибо дети любят стремительное движение, смену событий, мест, происшествия, перемены в жизни. Критические замечания писателя вызывали книги для детей, не способные приковать к себе внимание напряжённым и многообразным действием, развитой фабулой.

С этой концепцией неразрывно связано и макаренковское истолкование стилевых тенденций в обрисовке характеров. Книге для детей нужны ясно определившиеся и прямые характеры, герои – цельные, борьба между ними – такая же цельная и напряжённая, носитель положительного начала призван привлекать симпатии читателя без каких бы то ни было колебаний: психологический анализ всегда усложняет сюжетную ткань, замедляет движение повествования. Поскольку фабула, наоборот, должна быть развитая, усложнённая, важно, чтобы персонажи были многочисленны и резко отличались друг от друга, представляли собою многие индивидуальности. Чтобы эта пестрота образов не мешала воспринимать движение событий, основные действия, надо брать для изображения ясно очерченные характеры.

Если персонаж книги обязан быть либо симпатичным, либо антипатичным, привлекать или отталкивать читателя, то и для портретной живописи потребны штрихи, способные сразу передать облик этого персонажа и вызвать определённое и постоянное отношение к нему. Помимо определённости эти штрихи, конечно, должны обладать большой выразительностью, лишь тогда они будут достигать цели. Нюансировку Макаренко не считал целесообразной в детской книге. Таковы были его взгляды на всю живописную сторону литературного произведения – не только на портрет, но и на пейзаж, натюрморт, интерьер.

Вряд ли можно согласиться со всеми суждениями автора по вопросам стиля детской литературы, принять их целиком. Есть здесь моменты спорные, кое-что, видимо, объясняется преувеличениями, возникшими в пылу полемики. Возьмём для примера данное без каких бы то ни было оговорок

в статье «Стиль детской литературы» утверждение о том, что описывать какое-либо становление образа, его постепенное формирование довольно безнадёжно в книге для детей. По всей вероятности, здесь подразумевались книги для самых маленьких читателей. Но указания на это в тексте статьи нет, а без такого ограничительного определения подобную формулу принять, думается, нельзя. Широко известно, что уже в очень юном возрасте читатели проявляют живое внимание к тому, как шло развитие характера героя, который им полюбился, как постепенно вырастал этот герой, как складывался и закалялся его характер. Это, надо сказать, имеет и большое воспитывающее значение, углубляет внимание к тому, каким путём надо идти, чтобы стать похожим на героя, который сумел вызвать стремление подражать ему.

Трудно согласиться также с высказанным в той же статье предположением, будто лишь очень квалифицированный читатель способен наслаждаться редкими индивидуальными особенностями, усложняющими картину личности и делающими её неповторимой, а дети ещё не способны на такое эстетическое наслаждение, и потому в книгах для детей «характерные извилины чувства... должны быть только типичными извилинами и никогда не индивидуалистическими».

Но, во всяком случае, нельзя без живого интереса читать и перечитывать все эти работы, в которых так много светлого ума, смелых поисков нового, беззаветной любви к советскому человеку, заботы о судьбах нашей литературы.

ЧТО ТАКОЕ ОПТИМИЗМ ЗАХАРОВА

Последние годы жизни Антона Семёновича были наполнены кипучей литературной работой. Пробуя свои силы в самых различных жанрах творчества, создавая одно за другим новые и новые произведения, он продолжал разработку самой заветной темы своего творчества, «поэмы всей своей жизни». Содержание первой его книги «Марш 30-го года», повести «ФД-1» получило новое, гораздо более углублённое и широкое развитие в повести «Флаги на башнях». Этой книгой закончился его яркий творческий путь, прерванный внезапной смертью.

Обращение к этой повести заставляет нас мысленно

вернуться к тем годам биографии Антона Семёновича Макаренко, когда он переходил из колонии имени М. Горького в коммуну имени Ф. Э. Дзержинского. Чтобы уяснить особенности книги «Флаги на башнях», надо сопоставить различные этапы деятельности педагога и совершенно различные условия, в которых протекала его работа в двух воспитательных коллективах.

Коммуна дзержинцев названа в книге коммуной имени Первого мая. В отличие от «Педагогической поэмы», повесть написана не от первого лица, и автобиографическая фигура руководителя коммуны выведена под фамилией Захарова (как это было, к примеру, и в пьесе «Мажор»). Думается, объяснение этому можно искать не столько в том, что автор выбирал иной угол зрения на изображаемое, сколько в следующих особенностях книги: повесть описывала уже не процесс мучительных исканий, не первые и зачастую неверные шаги молодого педагога, не трудное рождение нового воспитательного коллектива, как в «Педагогической поэме», а блестящий результат долголетних усилий, многообразного ценнейшего педагогического опыта, совершенную педагогическую технику, мощный коллектив, давно освободившийся от острейших противоречий внутри себя, великолепные традиции и организацию этого коллектива.

Изображая всю меру достигнутого коллективом и педагогом, руководившим коммуной, автор, естественно, чувствовал бы себя стеснённым, если бы вёл повествование от первого лица. Так, между прочим, и получилось в «Марше 30-го года», в «ФД-1», где фигура педагога-руководителя в значительной мере отступала на второй план, отдавая предпочтительное место персонажам второстепенным, что отрицательно сказалось и на глубине изображения, и на художественных пропорциях.

«Флаги на башнях» – это повесть о красоте свободной человеческой личности, развившейся в коллективе, о счастье, подлинном счастье, возможном только в социалистической стране, в трудовом коллективе строителей коммунизма. Это повесть о советской действительности как о воспитующем факторе небывалой силы, о том, как богата перспективами юность будущего гражданина нашей родины в единой семье советских людей.

Но ни один из героев повести никогда не сказал бы: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Вся их жизнь

опять-таки показана в непрерывном движении, в постоянном стремлении к новому, к преодолению новых и новых трудностей роста, к достижению новых и новых ступеней развития. Макаренко с большой художественной силой передал значение труда в воспитании коллектива и каждой личности.

В анализе идейно-художественных особенностей повести «Флаги на башнях», как и «Педагогической поэмы», главное внимание должно быть отдано, на мой взгляд, исследованию мастерства автора именно в изображении коллектива.

И здесь писатель показал коллектив воспитанников в постоянном движении вперёд, в процессе активного развития. Но, в отличие от «Педагогической поэмы», повесть «Флаги на башнях» посвящена уже не периоду возникновения, становления и укрепления воспитательного коллектива, а тому времени, когда коллектив сложился, окреп, приобрёл огромный опыт, устойчивые традиции, стал могучей силой, единой в своей целеустремлённости. Повесть раскрывает властное воздействие такого коллектива на формирование самых разнообразных индивидуальностей.

Различны пути к коллективу и пути в коллективе Игоря Чернявина, Ванды Стадницкой, Вани Гальченко, Воленко, Васи Клюшнева, Оксаны Литовченко и других юных героев повести, но все их судьбы объединены в общей судьбе коллектива.

Одни из героев просто и радостно входят в жизнь коммуны. Это прежде всего чистый в своей ребячьей наивности Ваня Гальченко, скромный Вася Клюшнев. Их тяготило прежнее беспризорное существование. Вся их натура тянулась к организованной, трудовой жизни. Они готовно подчиняются строгому, слаженному распорядку, всему укладу коммуны. И очень скоро познают счастье полного слияния с коллективом.

Путь других, таких, как Игорь Чернявин, сложнее и противоречивее. Некоторые подростки были отравлены скептическим отношением к человеческим идеалам. Обладатели иной раз недюжинных способностей, они привыкли ставить себя над многими, любоваться своим превосходством, полагаться в трудную минуту только на себя. Их даже увлекала своеобразная «романтика» индивидуализма, высокомерного пренебрежения к окружающим. Такие юноши, попадая в коммуну, долго сопротивлялись её порядкам,

высмеивали всё, что «низводило» их в один ряд с другими, самолюбиво охраняли своё мнимое превосходство. В их перевоспитании решающее влияние имело то, что постепенно эти «заядлые» индивидуалисты убеждались в ложности своих иллюзий: оказывалось, что коллектив превосходит их во всех отношениях – он и умнее каждого из них в отдельности, и талантливее, и тоньше, а главное – неизмеримо сильнее. Они вначале с удивлением, а потом с восхищением учились уважать коллектив. Тогда они находили прочное и почётное место в нём, тогда раскрывались лучшие их качества, скрытые до тех пор защитной маской, предохраняющей от уколов уязвлённого самолюбия.

Третьих – это в особенной степени относится к девушкам, пришедшим с улицы,– побеждала необычайная чуткость коммунарского коллектива, умевшего не касаться самого больного у человека, умевшего заставить его забыть своё прошлое и тщательно оберегавшего травмированную душу, сурово расправлявшегося с теми, кто пытался разбередить тяжёлые воспоминания, сбить с верного пути. История Ванды Стадницкой свидетельствует, как коммунары находили самые верные решения очень тонких психологических проблем, надёжно поддерживали товарища, помогали ему почувствовать себя полноправным членом коллектива.

Четвёртых, неисправимых, вроде Рыжикова, коллектив неизменно и неизбежно разоблачал и отметал, если все попытки направить их духовное развитие оканчивались неудачей. Тех, кто упорно противопоставлял себя коллективу, почитал превыше всего свои мелкие грязные личные интересы, кто нередко оказывался орудием в руках людей, враждебных советскому строю, ожидало в конце концов сокрушительное поражение.

Так или иначе, во всех случаях, в самых различных биографиях подростков, приходивших в коммуну, на решающем этапе победителем всегда оказывался коммунарский коллектив.

Чтобы в художественном повествовании убедительно выявить все эти взаимоотношения, необходимо было большое искусство писателя в передаче не только внешнего, но и внутреннего облика главного героя произведения – коллектива воспитателей и коммунаров, единого педагогического коллектива.

Это удалось Макаренко. В книге дан цельный, яркий образ коммунарского коллектива, при всей своей внешней мозаичности воспринимаемый читателем как художественное единство – как единый, многосторонне раскрытый образ литературного героя.

Как всякий герой литературного произведения, коллектив в книге живёт полной жизнью – борется, страдает, радуется, любит, ненавидит. Картины, изображающие повседневную, даже будничную деятельность коммунаров, полны эмоциональности. В них пёстрыми красками играет написанный кистью жизнерадостного художника необычайно выразительный портрет многоликого главного героя книги.

Все чувства и их проявления свойственны этому герою, всем разнообразием оттенков переливается его изображение. Мы видим его упорство, стойкость, мужество, видим его хитрость, лукавство, юный задор; видим, как он воспринимает жизнь, как он верит в человека, как требовательны его мечты о счастье, как он умеет воплотить свои мечты в жизнь.

Перед нами коллектив коммунаров – воспитанников коммуны имени Ф. Э. Дзержинского – во всей конкретности «индивидуальных» черт данного коллектива. И в то же время глубокое проникновение писателя в правду действительности раскрыло обобщённые черты этого коллектива как коллектива советского, одного из многих коллективов советских людей того времени. Это делает изображение типическим. Большое мастерство писателя-реалиста, писателя-новатора проявилось прежде всего именно в создании типического образа социалистического коллектива, образа, где обобщённое содержание выражено, как это присуще подлинному типическому образу, в отчётливых индивидуально характерных чертах.

Советская литература, достигшая к концу 30-х годов огромных успехов в своём развитии, ставила перед собою такую художественную задачу и сказала тем самым новое слово в мировом искусстве.

Важно и то, что в портретах коммунаров – опять-таки при всём индивидуальном своеобразии каждого – находят выражение также обобщённые черты, присущие всему коллективу в целом, делающие столь различные персонажи едиными как членов единого коллектива.

Типичен для Советской страны тех лет не только облик

коллектива, типичны и процессы его развития, преодолеваемые им трудности, его победы, его продолжающаяся борьба. В главном, определяющем коллектив коммунаров-дзержинцев живёт одною жизнью со всей Советской страной, со всем нашим народом.

Вторая часть «Флагов на башнях» открывается полемической главой, написанной уже после опубликования повести в журнале. Глава примечательна тем, что в ней Макаренко со страстью поведал читателю многие заветные свои мысли и дал принципиальный бой идейным противникам. Он вернулся здесь к описанию убожества тех соцвосовцев, которые, приезжая в колонию или коммуну, не желали верить собственным глазам и ушам и, вопреки очевидности, повторяли одно: «Не может быть!» Острота изображения в том, что автор, клеймя давних врагов в борьбе на поприще педагогики, по сути, обличал здесь и литературных недругов, которые годы спустя после потерпевших крах предшественников отрицали уже художественную правду повествования Макаренко, не верили в реалистичность, строгую точность нарисованной им картины, обвиняли его в лакировке действительности. Теперь уже они в своей слепоте восклицали: «Не может быть!» Не было, дескать, ни такой коммуны, ни такого коллектива, ни таких воспитателей, какими обрисовал их автор «Флагов на башнях». Макаренко так и назвал эту главу: «Не может быть!»

Очень интересны рассуждения автора об оптимизме. Кратко напомнив о трудном начале полтавской колонии, писатель говорит о жизненном пути Захарова, о тех «тысячах дней и ночей – без передышки, без успокоения, без радости», которые ему пришлось пережить в борьбе за осуществление поставленной им перед собою задачи: воспитать нового человека. «К счастью,– замечает писатель,– Захаров обладал талантом, довольно распространённым на восточной равнине Европы,– талантом оптимизма...»

Макаренко рассматривает оптимизм как великолепную черту народного характера, называет его прекрасным порывом в будущее, особым, чисто интеллектуальным богатством русского человека, «человека со здоровой башкой и зорким глазом, умеющего различать ценности».

С гневом ведёт речь писатель о дореволюционных «хозяевах» жизни, которые пытались силу народного оптимизма

обратить в бессилие, веру – в доверчивость, сам оптимизм – в беззаботность и оставить для оптимизма «прилично нищенское место, над которым можно было и посмеяться с европейским высокомерием, и поплакать с русской тоской». Он напоминает, что в 1917 году обнаружилось: народный оптимизм есть нечто гораздо более сильное и гораздо менее безобидное.

Поэтичны его слова о радости свершения, о радости воплощения мечты:

«После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и срывов, отчаяния и слабости – наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки, пролёты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На таком празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что иначе и быть не могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на ощущении действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая уверенность, а оптимизмом она называлась из застенчивости».

Совершенно очевидно, что здесь дано не только рассуждение вообще, а и рассказ о собственном опыте. Это раскрывается со всей отчётливостью следующей фразой:

«И Захаров прошёл такой тяжёлый путь – путь оптимиста».

Верное понимание диалектики общественного развития, постижение законов искусства социалистического реализма наглядно проявляются в словах автора повести о том, что «новое рождалось в густом экстракте старого: старых бедствий, голода, зависти, озлобления – толкотни и тесноты человеческой, и ещё более опасных вещей: старой воли, старых привычек и старых образцов счастья».

Он настойчиво напоминает, что старого обнаружилось очень много, что оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под руки и под ноги, говорило речи и сочиняло законы воспитания. Старое умело даже писать статьи, в которых становилось на защиту «советской педагогики».

«Старое – страшно живучая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его

заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться».

Старое побеждалось новым, которое выдвигало перед колонией свои идеи, требования, нормы и измерители. Они приходили «со всех сторон, от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста».

Крайне важно для понимания жизненного и творческого пути Антона Семёновича Макаренко утверждение, что новая педагогика вырабатывалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины.

«Эта педагогика,– замечает автор,– рождалась на всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать её первые плоды».

Осуществление реалистической уверенности Захарова в торжестве своего дела пришло после долголетней суровой и упорной борьбы нового со старым. И вот созрели плоды.

«Наступили годы, когда Захарову уже не нужно было нервничать и с тревогой просыпаться по утрам. Коллектив жил напряжённой трудовой жизнью, но в его жилах пульсировала новая, социалистическая кровь, имеющая способность убивать вредоносные бактерии старого в первые моменты их зарождения.

В колонии перестали бояться новеньких, и Захаров потушил в себе последние остатки уважения к эволюционной постепенности. Однажды летом он произвёл опыт, в успехе которого не сомневался. В два дня он принял в колонию пятьдесят новых ребят. Собрали их прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали между товарными составами. Сначала они протестовали и «выражались», но специально выделенный «штаб» из старых колонистов привёл их в порядок и заставил спокойно ожидать событий. Это были классические фигуры в клифтах, все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами «социальной запущенности». Ближайшее будущее представлялось им в тонах пессимистических, дело было летом, а летом они привыкли путешествовать – единственное качество, которое сближало их с английскими лордами. То, что произошло дальше, Захаров называл «методом взрыва», а колонисты определяли проще: «пой с нами, крошка!»

Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окружённая тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развёрнутого строя, шелестом знамён и громом салюта «новым товарищам». Польщённые и застенчивые, придерживая руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между третьим и четвёртым взводами.

Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя, и на других произвели сильное впечатление.

На тротуарах роняли слёзы женщины и корреспонденты газет.

Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущённые до глубин своей юной души и общим вниманием, и увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись ещё одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников, были сложены в большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из бутылки керосином, «барахло» это горело буйным, дымным костром, а потом пришёл Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смёл жирный, мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому: – Вся твоя автобиография сгорела!

Старые колонисты хохотали над Мишиным неповоротливым остроумием, а новенькие оглядывались виновато: было уже неловко.

После этой огневой церемонии начались будни, в которых было всё, что угодно, но почти не было пресловутой перековки: новенькие не затрудняли ни коллектив, ни Захарова».

Эта здоровая жизнь воспитательного коллектива опять-таки законно и необходимо, свидетельствует автор, вытекала из всей советской действительности.

Едко высмеивая «обследователей» – педологов, горе-педагогов, не понимавших успехов коммунарского коллектива и не веривших в них, писатель заключал: «У этих людей никогда не было оптимизма».

«Захаров понимал, что здоровая жизнь детского коллектива законно и необходимо вытекает из всей советской действительности. Но другим это не казалось таким же законным явлением. Захаров теперь мог утверждать, что воспитание нового человека – дело счастливое и посильное для педагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорченный

ребёнок» – фетиш педагогов-неудачников. Вообще он теперь многое мог утверждать, и это больше всего раздражало любителей старого...

...– Это беспризорные?

– Нет, это колонисты.

Володя Бегунок на диване неслышно хихикнул.

– А... вот этот мальчик! Был беспризорный? Володя встал, бросил на Захарова секретный, дружеский взгляд:

– Я колонист четвёртой бригады.

– Но... раньше, раньше ты был беспризорным? Почему-то Володе стало неудержимо смешно, он быстро посмеялся в угол дивана. Отвечать всё же нужно:

– Я... забыл.

– Как это забыл? Забыл, что ты был беспризорным?

– Угу...

– Не может быть!

– Честное слово!

Володя сказал это с искренней убедительностью, но им показалось, что мальчик над ними издевается, и это было вполне возможно, если принять во внимание, что здесь все в чём-то сговорились. Приятели уехали расстроенные. Редко им приходилось встречать такой единодушный заговор. А разве в таком случае можно установить, где правда, а где очковтирательство. Во всяком случае, у Захарова чересчур уже благополучно.

– Не может быть!

– И если даже так, где же борьба? Где же самая педагогика? И где, наконец, беспризорные? Откуда он набрал этих детей?

У этих людей никогда не было оптимизма».

Развитие коллектива и биографии действующих лиц повести отнюдь не бесконфликтны. Взять хотя бы, к примеру, конфликт между коллективом и коммунаром Рыжиковым, в котором сильны были отвратительные пережитки прошлого. Но высокоорганизованный коллектив без катастрофы, без мучительного труда преодолевает этот конфликт. Остро конфликтно столкновение коммунаров с преступниками, орудовавшими на коммунарском заводе.

В книге нашло отражение событие, потрясшее всю страну,– в коммуну пришло трагическое известие об убийстве Сергея Мироновича Кирова.

На общем собрании Захаров сообщает коммунарам о

страшном преступлении. С волнением говорит секретарь совета командиров Игорь Чернявин перед товарищами о новой, завоёванной советскими людьми жизни, о долге каждого коммунара перед Родиной, о том, что они пронесут сквозь всю свою жизнь святую верность красному знамени.

Такова последняя страница повести «Флаги на башнях», последняя страница последней книги, которую автор завершил. Траурный мотив сменяется пафосным, бодрым звучанием основной темы творчества Макаренко. Над коммуной развеваются «с новой страстью, с новой настойчивостью» красные флаги. Коммунары идут вперёд и вперёд вместе со всем великим фронтом социалистического наступления, готовые к победам и к трудной борьбе, их бригады идут в несокрушимом строю других бригад трудящихся СССР – «исторических бригад тридцатых годов».

Уверенно, строго и радостно звучит лейтмотив всех произведений писателя: «Пусть продолжается и продолжается борьба». Так, словно звуками боевой трубы, словно мажорным сигналом горниста, завершается величественная, многоголосая педагогическая симфония жизни и творчества Антона Макаренко.

*

Макаренко прославлял красоту нашей жизни, созданного этой действительностью нового человека, его высокую идейность и моральный облик. Как художник он правдив и страстен.

Передовая советская литературная критика высоко оценила книги Макаренко, и в частности – «Флаги на башнях». Верно усматривал, например, критик В. Ермилов в этих книгах поэзию нашей жизни. К своей статье, посвящённой оценке творческого наследия Макаренко, критик, подчёркивая идейную связь, единство направленности творчества Макаренко и Маяковского, вполне закономерно поставил эпиграфом вдохновенные слова:

Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.

В эстетических концепциях Макаренко критик видит «предвосхищение красоты коммунизма». Он пишет, что

опыт нашей страны, её закономерности продиктовали Макаренко представление о красоте как о функции свободного труда и дисциплины, общественного, человеческого роста личности, включающейся в мировую борьбу; романтика у Макаренко всегда шла вместе с педагогикой и вместе с реальной советской жизнью.

Верны эти мысли исследователя, как и его обобщающее замечание относительно педагогической деятельности Макаренко и идей, выраженных в его художественном творчестве: критик утверждает, что могут устареть отдельные приёмы педагогической техники Макаренко, но не могут устареть идеи, вдохновляющие его филигранную, артистическую технику, его мастерство.

Были и другого рода «критические» выступления. Способен вызвать изумление, например, такой подход к творчеству Макаренко, к его книгам, как в статье критика Ф. Левина, появившейся после опубликования в журнале повести «Флаги на башнях».

Какого справедливого гнева, достоинства, возмущения полно письмо-протест, подписанное по поручению бывших колонистов-горьковцев и коммунаров-дзержинцев С. Калабалиным, В. Клюшником, Л. Салько и другими, адресованное Ф. Левину. Бывшие колонисты и коммунары, воспитанники Антона Семёновича Макаренко, обвиняли автора критической статьи в «клевете не только на А. С. Макаренко, но и на советскую жизнь», в том, что он выступил как человек, который «не верит в могущество нашего воспитания».

Они разоблачают, опровергают одно за другим утверждения критика. «Интересно, что Вы понимаете под словом «беспризорник»? Этакий «Джек-потрошитель», преисполненный всяческих пороков, «уродств» и «вывихов», вызывающий у Вас барскую брезгливость и нездоровый интерес, которые Вы даже не трудитесь скрывать... Для Макаренко беспризорный – это прежде всего советский ребёнок или подросток, именно советский, временно попавший в тяжёлое положение. Но эти мальчики и девочки до несчастья, вытолкнувшего их из семьи, учились в советской школе, многие закончили семь классов, они хорошо сознают и понимают своё тяжёлое положение, всегда ищут из него выход... Ваша ирония о рае с архангелами без крылышек, когда описана правда нашей жизни, выдаёт Вас с головой! Вам подавай «уродство» и «вывихи»...

Коммунистический коллектив, описанный в книге «Флаги на башнях», существовал... Макаренко не только описал этот коллектив, он, вдохновлённый партией... создал этот коллектив. Мы – счастливые воспитанники этого коллектива. Ваших же возможностей хватило только на то, чтобы оклеветать и коллектив, и его создателей... Радостные, величественные будни братского единства советских людей в труде кажутся Вам слишком пресными...»

После смерти Антона Семёновича было напечатано его открытое письмо критику.

Ф. Левин попытался противопоставить «Флаги на башнях» «Педагогической поэме», тем самым «уничтожая» «Флаги на башнях». Он ссылался, на то, что будто бы он в своё время «приветствовал» «Педагогическую поэму». Макаренко напомнил ему, что его «приветствие» появилось через два-три года после выхода книги и она оценивалась как «материал, столь несовершенный по своему художественному мастерству...»

Ф. Левин заявлял, что Макаренко не писатель, что его книга «Флаги на башнях» неправдива.

«Одним словом, Вы продолжаете,– отвечал ему Макаренко,– свою линию, намеченную ещё в 1936 г,– линию исключения меня из литературы».

Он с полным основанием подчёркивал, что речь идёт о «ликвидации» его «как писателя», что критик писал «с некоторым расчётом на смертельный удар».

Не хочется повторять всех оскорбительных слов, которыми изобиловала статья Ф. Левина.

Напомним лишь, что критик полагал, будто повесть «Флаги на башнях» «не украшает её автора», говорил о ней как о «неудаче», основывая это утверждение на том, что в повести нет «трудных» характеров, что в её героях не было «каких-либо уродств или вывихов». Его раздражение вызывали образ «цельной, неиспорченной натуры», повесть, где нет «срывов и потрясений». Он договаривался до сопоставления повести Макаренко с «Парижскими тайнами» Эжена Сю. Он заявлял, что автор «Флагов на башнях» «слаб как художник», что это «сказка, рассказываемая добрым дядей...».

Но довольно! Достаточно привести возражения самого Макаренко: «Флаги на башнях» – это не сказка и не мечта,– это наша действительность. В повести я описал коммуну имени Дзержинского, которой руководил восемь лет.

В повести нет ни одной выдуманной ситуации, очень мало сведённых образов, нот... искусственно созданного колорита... И жили мои колонисты, представьте себе, во дворце, в специальном здании, нарочно для них выстроенном хорошим архитектором, светлом, красивом, удобном... Если Вы изображённый мною, хотя бы и фактографически, кусок нашей жизни обливаете презрительным сомнением и посылаете меня с таким изображением к классным дамам, то во что же Вы сами верите?»

Макаренко решительно отвергает концепцию критика, пишет, что тот навязывает ему такую тему: колония, в которой живут дети, «изуродованные и искалеченные» беспризорностью, с трудом поддающиеся «исправлению» (в кавычках слова Ф. Левина.– *Ю. Л.*), и педагоги, с опасностью для жизни, с нечеловеческим напряжением совершающие свой педагогический подвиг. Колония растёт мучительно, от катастрофы к катастрофе, от провала к провалу. Педагогика здесь ещё не уверена в себе и технически несовершенна.

Этому противопоставлена совершенно иная, макаренковская, тема: образцовый воспитательный советский коллектив, давно сложившийся, растущий материально и духовно, на основе больших, концентрированных коллективных сил, обладающий традицией и совершенной формой, вооружённый тончайшей педагогической техникой,– социалистический детский коллектив, в котором катастрофы невозможны. И они нежелательны, хотя бы это и нравилось некоторым литературным критикам, добавляет Макаренко.

«Тема нашего времени,– пишет он,– вполне назревшая, оправданная жизнью, а для меня и моим опытом,– счастливый детский коллектив, свободный от антагонизмов и настолько могучий, что любой ребёнок, в том числе и правонарушитель, легко и быстро занимает правильную позицию в коллективе. Тема «Флагов на башнях» ничего общего не имеет с темой «Педагогической поэмы»... Если Вы так слабо разобрались в теме, то ещё слабее разобрались в идейной нагрузке повести... Почему бы мне не говорить о счастье, если тема всей книги – счастье и поэзия детской жизни?.. Я не принимаю Вашего упрёка в том, что в моей повести много красивых. Я такими вижу детей – это моё право. Почему Вы не упрекаете Льва Толстого за то, что у него так много красивых в «Войне и мире»? Он

любил свой класс,– я люблю моё общество,– многие люди кажутся мне красивыми. Докажите, что я ошибаюсь... Вы рассматриваете меня в эстетическую лупу... Вам было бы приятнее, если бы я изображал «исковерканных» детей с той экзотической терпкостью, которая для меня является признаком дурного вкуса...»

Макаренко, страстно отстаивавший важнейшее положение о том, что советская литература должна правдиво отображать жизненные конфликты, драматизм борьбы, быть литературой конфликта и его преодоления, и показавший в повести «Флаги на башнях» острые конфликты реальной действительности; Макаренко, уделявший огромное внимание отражению типических явлений нашей жизни, изображению ярких характеров, оказался вынужден разъяснять критику, что при пользовании понятиями «синтетический образ», «характер», «типизация», «конфликт», «коллизия» нельзя подходить к ним с абстрактной, вневременной меркой, не учитывать существенных изменений в самой природе конфликта, обусловленных развитием общества, социальной среды, коллектива. Он вынужден был напомнить о «категорических изменениях, которые произошли в нашем обществе. Советское общество по характеру человеческих взаимоотношений не только выше, но и сложнее и тоньше старого общества. Впервые в истории родился настоящий человеческий коллектив, свободный от неравенства и эксплуатации».

Такова страстная и гневная отповедь писателя-педагога, писателя-гуманиста.

В своих нападках на творчество Макаренко критик Ф. Левин не был одинок.

Путь Макаренко в литературе был путём суровой борьбы с теми, кто отрицал его педагогические идеи, кто отрицал его художественное творчество.

ПРОЩАНИЕ

Отдельное издание повести «Флаги на башнях» вышло в 1939 году, уже после смерти писателя. Антон Семёнович Макаренко закончил редактирование текста повести и написал вступительную главу ко второй части в самом конце марта 1939 года. 1 апреля он умер.

Тяжёлые дни похорон этого изумительного человека дали мне возможность увидеть и узнать многих людей, которые описаны в повести. Хочу восстановить эти впечатления и передать их читателям.

Во время гражданской панихиды зал Союза советских писателей был полон. Было очень много цветов и венков. Стоял большой портрет, один из хороших его портретов, где удалось схватить особенное, макаренковское, немного грустное и такое ласковое и в то же время строгое выражение его умных глаз. Был почётный караул его коммунаров, его воспитанников, съехавшихся со всех концов Союза и ревниво оттеснивших всех окружающих от несения последних обязанностей по отношению к нему. Инженеры, журналисты, аспиранты научных институтов, командиры Советской Армии, курсанты военных училищ – они стояли подобранные, не позволяющие горю нарушить торжественность последнего прощания с тем, кто был для них идеалом человека. И вы не различали в них в этот момент военных или штатских, курсантов военной школы или литераторов,– стояли макаренковские колонисты, особая, прекрасная порода людей, воспитанная талантливейшим педагогом-большевиком, сумевшим ввести в самую плоть их и кровь высокие принципы коммунистической этики и морали. Они были прекрасны. То душевное благородство, которое он в них воспитал, та особая подтянутость, которой они выделялись в массе окружающих людей, не давали вам возможности останавливать своё внимание на неправильностях лица или фигуры; вас поражало то, что они все красивы. Он был бесконечно прав, утверждая это и описывая их такими.

Очень мягко, вежливо, но более чем решительно они сумели поставить дело так, что по любым вопросам, касающимся распорядка, все обращались к ним. Они не встречались друг с другом по многу лет, но, съехавшись сюда, они первым делом собрали свой совет командиров и вновь жили дисциплиной дзержинцев, славными традициями, сплотившими их в одну огромную дружную семью.

Было видно, как ценили они то, что Макаренко сумел создать своим коммунарам такую юность, которой могли бы позавидовать многие дети, воспитывающиеся в семье, и которая решительным образом определила всю их дальнейшую жизнь.

На похоронах произносились самые разные речи. И после

всех этих речей оставалось, как часто бывает в подобных случаях, то тяжёлое чувство, которое возникает от трагического несоответствия между тем, что совершилось, и тем, что говорится по этому поводу.

Потом объявили, что слово предоставляется воспитаннику Макаренко. Вышел человек в военной форме, с военной выправкой, но смятый страданием, о котором он сдержанно и честно говорил. Он начал так: совет командиров бывших воспитанников Антона Семёновича поручил ему – как старшему из собравшихся – сказать от их имени то, что они хотели бы сказать все. Привожу содержание его речи по памяти.

– Я потерял сегодня отца. Вы поймёте, почему мне так трудно говорить, если представите, как трудно терять отца ещё таким молодым. Ему был всего пятьдесят один год. Мой отец по крови бросил мою мать, когда мне было четыре года. Я его не помню, и я привык его ненавидеть. Моим настоящим отцом был Антон Семёнович. Антон Семёнович ни разу в жизни не похвалил меня, он всегда меня ругал, даже в своей книге – «Педагогической поэме» – он меня только ругает. Вы понимаете, как мне горько об этом говорить. Но именно потому, что он всегда меня ругал, я стал теперь инженером. Уже после выхода из коммуны, когда я перечитывал страницы «Педагогической поэмы», его слова продолжали корректировать мои поступки, мою жизнь. Вы же представляете себе, кем бы я был, если бы он меня не ругал. И он вообще никогда нас, коммунаров, не хвалил. Он требовал неукоснительного выполнения его распоряжений, но он и глубоко верил в каждого из нас. Он умел найти и раскрыть в человеке самое лучшее, что есть в нём. Он был великий гуманист. Он отстаивал свои идеи, не отступая ни на шаг, когда считал себя правым. К нам в колонию не один раз приезжали соцвосовские «работники» и всячески пытались восстановить нас против него, расколоть наш коллектив, его травили, нашего Антона травили!.. Макаренко воспитал тысячи граждан Советского Союза; его воспитанники работают на советских стройках, в научных институтах, дрались на Хасане с японскими самураями; среди них есть орденоносцы, лучшие люди нашей страны. Вы знаете, каким почётом окружено имя Коробова, вырастившего сыновей – героев труда. Что же сказать об Антоне Семёновиче Макаренко, давшем стране тысячи её достойных граждан, десятки героев...

Вы понимаете, товарищи, что я испытываю сегодня, что значит потерять такого отца...

Он говорил, стыдясь несдержанных выражений, пафоса и мужественно не стыдясь слёз, которые лились как-то сами собой, не меняя напряжённого выражения его лица, не мешая ему говорить. Только сильно покрасневшие руки и их беспомощные, детские движения выдавали его состояние. Он говорил с предельной честностью, ни одно слово в его речи не прозвучало сколько-нибудь фальшиво или натянуто. В зале не было ни одного человека, который не плакал бы во время его речи. Люди видели настоящее горе и в эти минуты до конца поняли, какой человек был Макаренко.

Впоследствии колонист, о котором идёт здесь речь, отдал свою жизнь за Родину на одном из фронтов Великой Отечественной войны. Значение этого факта и сила сказанного им в момент последнего прощания со своим учителем станут ещё разительнее, если добавить, что в «Педагогической поэме» он описан под фамилией Ужикова...

У гроба Макаренко можно было видеть воочию материальное выражение бессмертия. Человек умер, но в собравшихся у его гроба юношах – во всех есть какая-то неуловимая черта, которая делает их больше чем членами одной семьи. Выражение ли лица, макаренковский ли мягкий юмор, особая ли макаренковская душевная чистота,– но вы узнаёте его черты, его внутренний облик. Он, Макаренко, часть его существа безусловно осталась жить в этих людях. Нельзя было не обратить внимания на их поражающую чуткость, заботливость в отношении друг к другу. Нет более суровых и беспощадных критиков, чем они, когда они обсуждают поступок своего товарища, и в редкой семье братья так внимательны друг к другу, как они. Приёмный сын Антона Семёновича во всё время похорон ни одной минуты не был один. Постоянно около него, как будто случайно, оказывался кто-нибудь из коммунаров. Подойдут, тронут за плечо, что-нибудь спросят, просто стоят рядом...

Трогательно относились бывшие коммунары и колонисты к Галине Стахиевне Макаренко, вдове Антона Семёновича. Первые недели она ни часу не оставалась одна. Они даже распределили свои отпуска таким образом, чтобы кто-нибудь всегда находился около неё. Причём делалось это настолько просто, без какого бы то ни было подчеркивания – наоборот,

всячески затушёвывалось значение каждого жеста, каждого вовремя сказанного слова,– что невольно вспоминался один эпизод из жизни коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, о котором рассказывали коммунары. Было постановлено: уступать в трамвае места женщинам и старикам. И колонисты уступали неукоснительно. Но оглядывались, наблюдая, какое впечатление это производит. Тогда состоялось специальное заседание совета командиров, на котором уточнили: «Уступать место и не оглядываться!» Так и делали.

Один момент нельзя забыть. В карауле произошло какое-то движение. С подмостков спустился бывший коммунар, подошёл к приёмному сыну Антона Семёновича, стоявшему в карауле, шепнул ему что-то на ухо и стал на его место, а тот быстро пошёл к трибуне. И в эту минуту, раздвинув ряды столпившихся на подмостках людей, появился невысокий, не успевший побриться с дороги человек. Оглушившее его горе, почти фанатическая страсть переживания, скульптурная красота его лица, сжигающее его чувство – сразу заставили всех обернуться к нему, как бы прожектором выхватили его из толпы. Он шатнулся и слегка опёрся на стоявших рядом, когда увидел гроб. И, видя это лицо, я понял всю силу таланта Макаренко как художника. Я не сомневался, что это Семён Карабанов, герой «Педагогической поэмы». Так описать человека, чтобы вы, увидев его впервые, узнали его сразу, не колеблясь, может только большой мастер. Рядом я в ту же минуту услышал: «Это, наверно, Карабанов...» Мне потом довелось познакомиться с этим жарким, как его назвал в своей книге Макаренко, Семёном и ещё глубже оценить тонкий, обаятельный талант художника, ярко сказавшийся в книгах Макаренко.

Дух коммунарских традиций, впечатляющая их сила проявились ещё в одном значительном эпизоде. Уже на кладбище, по окончании последних речей, когда прозвучало судорожное: «Прощай, отец!..» – Карабанова, наступила минута, когда надо было, как того требовали правила, снять орден Трудового Красного Знамени, которым награждён был писатель. Коммунары стояли вокруг, момент мог быть страшно тяжёлым – последнее прикосновение к телу, к одежде, отвинчивание ордена,– и вдруг коммунар, говоривший от имени совета командиров в Союзе писателей, негромко скомандовал:

– Коммунары, смирно! Под знамя коммуны и ордена Советского Союза!

Коммунары машинально вытянулись. И очень трудно передать словами то чувство, которое охватило всех стоявших рядом. Никакого знамени коммуны здесь не было, знамя ордена Советского Союза присутствовало лишь в его изображении на ордене. Самой коммуны давно уже не существовало. Люди, собравшиеся здесь, разошлись из неё по самым разным дорогам. Но они стояли сейчас, вытянувшись, под одним знаменем, под красным знаменем коммуны; напряжение было таким, что казалось, будто едва не слышался шелест этого знамени. Тут было всё – и макаренковский культ красного знамени, и сознание того, что эти люди, воспитанные Макаренко, отдают всю свою жизнь служению этому знамени, знамени коммунизма. И это придало очищающую торжественность акту снятия ордена с одежды человека, перед которым преклонялись. Писатель Всеволод Вишневский, принимавший орден от Карабанова, видимо чутьём художника ощутил всю глубину происходящего и, бледный, так же негромко, чтобы не нарушить этого, по-военному сжато и так по-человечески просто, как над телом павшего в бою, ответил:

– По поручению Союза советских писателей принимаю орден Макаренко. Мы возбудим ходатайство, чтобы орден навсегда остался в Союзе советских писателей.

Последовала команда «вольно».

Я почувствовал себя так, будто на какую-то минуту перенёсся в будущее, увидел те совершенные человеческие отношения, которые даст оно.

•

Незадолго до смерти Антон Семёнович Макаренко подал заявление с просьбой принять его в партию. Он лишь формально не числился в рядах коммунистов.

«Ощущение моей связи с партией,– писал он в одной из статей,– ощущение моего гражданского и человеческого, политического и нравственного единства с ней давно затушевало и нивелировало звучание слова «беспартийный».

И поэтому решения партии, подчёркивал он, это «решения моей партии, моего коллектива, моей страны». Он гордился тем, что в подготовке этих решений «есть и моя

доля, есть участие и моей работы, и моей страсти, и моей мысли».

Вся прожитая им большая жизнь, вся его деятельность — это путь человека и писателя, чувствующего свою кровную связь с коммунизмом. Его творчество глубоко партийно. Его жизнь — это жизнь писателя и педагога-коммуниста.

Своей прекрасной жизнью, своим мастерством художника, умением почувствовать, выправить и описать тончайшие движения человеческой души педагог и писатель Макаренко завоевал уважение и любовь миллионов советских людей. Он получал огромное число писем, и писали ему не только о его книгах. Читатели спрашивали его совета в важнейших жизненных вопросах. Он был для них подлинным учителем жизни, подобно великим писателям прошлого. Ему писали как близкому человеку, как умному и взыскательному другу. Его облик стал виден далеко за пределами Советского Союза. Ему писали из Америки: мать, желавшая наилучшим образом воспитать своего ребёнка, обращалась к Макаренко как к величайшему педагогическому авторитету.

Он сделал за свою жизнь непонятно много. Он был подлинным рыцарем идеи коммунистического воспитания. В самые тяжёлые годы, годы хозяйственной разрухи, голодая и холодая вместе с колонистами, он создавал, борясь с голодом, с травившими его лжепедагогами, высочайшую этику и мораль коммунистического коллективного воспитания, непоколебимо веря в успех. Он верил, что в Советской стране ни один подросток не может «пропасть», и обладал талантом находить дорогу к самому хорошему, что есть в человеке. Он уже тогда, в годы лишений и голода, хотел и добивался, чтобы весь мир завидовал его стройным «пацанам» в тёмных рубашках с белыми воротничками, его прославленным колонистам. Он был страстно, пророчески убеждён, что это всё будут и уже есть прекрасные люди.

Те, кому хорошо знакомы книги Макаренко, не раз с любовью перечитывают их. А те молодые читатели, которые впервые раскроют страницы «Педагогической поэмы»,— что ж, позавидуем им, ибо им ещё предстоит со всей остротой пережить радость познания этой книги, овладевающей умом и сердцем, вошедшей в сокровищницу нашей социалистической культуры.

Методика воспитания, разработанная Макаренко, помогает решению коренных проблем советской педагогики. Его труды, его мысли, его опыт представляют собой богатый вклад в марксистскую науку о коммунистическом воспитании молодого поколения.

«Я пишу для того, чтобы в меру моих сил содействовать росту нашей социалистической культуры,— говорил Макаренко.— Как умею, я пропагандирую эту культуру в художественной форме». Вот его творческая установка.

Идеи Макаренко-педагога живут, борются, побеждают, подхваченные и развиваемые деятелями советской педагогики. Воплощённые в художественные образы его книг, сформулированные во многих его высказываниях, эти идеи воспитывают в людях, особенно в молодёжи, лучшие черты строителей коммунистического общества.

Среди воспитанных им людей есть рабочие, инженеры, артисты, военные, очень много лётчиков.

С волнением читаются строки очерка Макаренко «О человеческих чувствах», где он пишет:

«Как и все граждане СССР, я горжусь советской авиацией, этим героическим чудом, созданным моею революцией.

Но я имею ещё и особенные, так сказать, личные права испытывать эту гордость.

Я хотел бы сегодня пожать руки десяткам моих воспитанников, выбравшим для себя славную дорогу лётчика. Но это невозможно сделать: они разлетелись по всему Союзу, пространство для этого народа, как известно, не составляет препятствия.

Но в памяти своей я восстанавливаю лица, характер, повадку и историю каждого из них, вспоминаю их трудный, но бодрый и радостный путь от беспризорности до штурвала воздушного корабля, от дикого и голодного уличного одиночества до уверенного и прекрасного самочувствия советского гражданина».

В годы Великой Отечественной войны бывшие воспитанники колонии имени М. Горького и коммуны имени Ф. Э. Дзержинского вместе со всем народом с особой силой проявили заложенные в них коммунистическим воспитанием черты нового, советского человека. Многие из них удостоены правительственных наград: Семён Калабалин. Виктор Богданович, лётчик-гвардеец Пётр Мазуренко, гвардеец Алексей Явлинский, лётчик Александр Чевелий,

офицер гвардейских танковых войск Григорий Супрун...

Пошли воспитанники Макаренко и по стопам своего учителя. Некоторые стали преподавать в высших училищах, другие посвятили себя воспитательной работе с детьми. Так, одним из воспитательных учреждений в нашей стране до последних своих дней заведовал столь хорошо памятный нам по «Педагогической поэме» Семён Карабанов, а после его кончины на пост мужа встала Галина Константиновна Калабалина. Читатели помнят выведенную в «Педагогической поэме» Черниговку...

Примечательно сопоставить теперь характеристику, которую дал одному из своих питомцев вдумчивый и чуткий педагог, выпуская его в жизнь, с тем, как проявил себя впоследствии этот человек.

Василий Клюшник – «один из самых культурных и упорядоченных коммунаров, очень много поработавший в коммуне, между прочим, неизменный командир первого взвода. Оказывает очень хорошее влияние на коммунаров благодаря своему спокойному характеру и рассудительности. Политически и морально вне сомнений».

Много лет спустя Василий Илларионович Клюшник вёл преподавательскую работу в танковом училище. В 1939 году он успешно окончил военную академию. Во время Великой Отечественной войны на имя начальника политотдела танкового училища, где работал преподавателем товарищ Клюшник, пришло с фронта письмо воспитанника училища гвардии капитана С., получившего шесть правительственных наград. В письме говорилось: «Бой – это большое испытание. Помимо храбрости, нужно знать хорошо технику. Здесь я полностью применяю те знания, которые мне дал отличный инженер Клюшник. Он не только инженер по машинам, но он и инженер человеческой души. Я ему благодарен за моё воспитание, за его труды. Он сделал из меня высокодисциплинированного человека, чего до училища я не имел. Мои боевые успехи – это его успехи».

Вот что писал вдове Антона Семёновича Макаренко младший лейтенант П.: «Антон Семёнович был великим педагогом, и его труды дают прекрасные результаты. У нас в танковом училище работает его непосредственный воспитанник инженер-майор Клюшник... Он для нас является не только преподавателем своей дисциплины, мы, курсанты,

в нём видим своего старшего товарища, к которому обращаемся по любому волнующему нас вопросу, постоянно находя в нём самое живое человеческое участие и полный ответ на волнующий вопрос. Знание души курсанта, личный жизненный опыт и высокий интеллект дают возможность инженер-майору понять состояние человека в любую минуту и направить его мысли в нужное русло. Все эти качества инженер-майора Клюшника как педагога и человека были приобретены им от его учителя А. С. Макаренко. Заслуги каждого человека определяются результатом его работы, и я, видя этот результат, преклоняюсь перед его творцом».

Вот ещё одно письмо военного времени Галине Стахиевне Макаренко:

«Пишу Вам письмо, прислонившись к своему самолёту. На листке из полевой сумки. Листок маленький, надо экономно писать. А мне так много хочется сказать Вам. На войне Вы стали особенно близким мне человеком. Но не сердитесь, сейчас я могу писать только правду, если бы жил Антон Семёнович, я писал бы ему. Хотя Вы знаете – во мне он не умер.

Я только что посадил машину в самых невероятных условиях, посадил почти благополучно, на свежий луг, среди цветов. Мои ребята возятся с мотором, но там, по-видимому, ничего страшного, всё будет в порядке.

А как красиво кругом: пиликают кузнечики, ползают букашки по стебелькам. Сколько неба и земли, воздуха, а значит – сколько возможности счастья, мирного труда! И меня охватывает неукротимая ярость: проклятие и смерть злодеям, которые залили кровью этот мирный край советской, моей земли. Какой драгоценной становится земля от этой крови товарищей! Это можно понять только здесь.

Поэтому ни одного часа, ни одной минуты промедления: месть, священная месть врагу!.. Будьте здоровы, я прокричу Вам сейчас же, но уже с воздуха. Если всё будет хорошо, напишу Вам скоро. Не забывайте меня.

До свидания.

Миша Гонтаренко. Июнь, 1943 год».

Больше писем не последовало.

•

...Мы с вами здесь отошли от книг Макаренко и перелистали несколько страниц самой жизни, чтобы яснее понять и почувствовать, каких людей он вырастил, каких людей описал в своих книгах, какая высокая правда в том, что говорил он о них в «Марше 30-го года», в «Педагогической поэме», во «Флагах на башнях», как прав он был, утверждая, что нет красоты выше, чем красота нового, советского человека.

Система воспитания, пульсом которой он был и в которой чудесным образом сочеталась строгая дисциплина с элементами увлекательной игры, создала тысячам Карабановых, Задоровых, Воленко, Бегунков, Торских, Зайченко юность, достойную граждан нашей великой Родины.

«Нам тяжело пришлось,– писал впоследствии Калабалин,– но из-под обломков исторических событий нас извлекла заботливая рука молодой советской Родины. Родина согрела нас своим горячим сердцем, дала нам друга и наставника Антона Семёновича Макаренко, научила правильно жить».

Мало кому из писателей удавалось так, как Антону Семёновичу Макаренко, рассказать о человеческой душе и так открыть свою собственную душу.

Памятно, с каким воодушевлением приветствовали читатели, собравшиеся обсудить новую его повесть, награждение писателя-героя орденом Трудового Красного Знамени. Читая книги Макаренко, понимаешь, какую большую жизнь прожил этот человек. Он прожил её с высокой страстью. Думая о нём, видишь его напряжённо вытянувшимся во дворе Куряжской колонии перед бандитом, из которого он сделает человека и от которого пока с высочайшим достоинством выносит тяжёлое оскорбление; видишь, как смотрит он из окна на своих питомцев, уезжающих в новую коммуну; как машет рукой и улыбается своей доброй и горькой улыбкой поезду, битком набитому «пацанами», с которыми он расставался на всю жизнь. Вот он стоит в тысячной толпе восторженных своих читателей на их слёте в Московском парке культуры и отдыха и, смущённо поправляя узкий кавказский ремешок и обдёргивая нескладную ярко-синюю рубашку, с колонистской подтянутостью выслушивает слова любви, безграничного уважения и благодарности. Вот комсомолка, так и не начав говорить,

задохнувшись от слёз, кидается к нему и обливает слезами эту синюю рубашку, а весь митинг, рукоплещет ей.

Живёт в памяти его лицо. «Я... был сильным человеком»,– писал он о себе. Годы мужества, годы повседневной тревоги за человеческую судьбу, заботы о своих питомцах сделали таким горьким его рот и такими ласковыми и чистыми его глаза. Весь его облик дорог нам.

Чуткий психолог, страстный проповедник, дерзновенный художник, борец за лучшие идеалы человечества, так остро ощущавший вкус жизни, он самим своим существованием обогатил нашу жизнь.

Размышляя о том, что оставили нам в наследие его мысль, его сердце, его борьба и страсть, вспоминаешь слова прощания его с одним из любимых воспитанников – Воленко. Они прощались навсегда, и педагог Макаренко ценил сдержанность коммунара:

«Прощайте, Антон Семёнович, спасибо вам за всё».

И так ясно видится подтянутая фигура Макаренко, его сухие губы и слышится хрипловатый его голос:

«Хорошо. Счастливо тебе, Воленко... Не забывай колонию».

ВЕРНОСТЬ

Эта, последняя, глава – о тех, кто «не забыли колонию».

Приятно заметить, что речь пойдёт не только о людях, которые видели Антона Семёновича, его дело, его воспитанников ещё в колонии или в коммуне. Иные из тех, о ком будет рассказано, в силу своего возраста могли узнать обо всём этом только из книг да по рассказам старших.

И, конечно, здесь, как и во всей работе автора, не будет попытки исчерпать материал или хотя бы осветить рассматриваемый предмет со всех сторон. Всего лишь несколько штрихов, ряд фактов и наблюдений.

Наследие Макаренко привлекает внимание многих учёных, практиков педагогики, писателей, литературных критиков и литературоведов. Публикуются научные труды, изданы и издаются сборники воспоминаний.

Очень многое узнаёт читатель об Антоне Семёновиче Макаренко, о колонии имени М. Горького, о коммуне имени Ф. Э. Дзержинского из книг писательницы Ф. Вигдоровой, где описаны жизнь и деятельность супружеской четы Калабалиных – Семёна Афанасьевича и Галины Константиновны.

Ряд интересных, содержательных исследований, популяризаторских работ опубликован Академией педагогических наук РСФСР, университетами и научными педагогическими обществами разных городов нашей страны. Систематически ведётся работа таким обществом в Таганроге: научные сессии, заседания, помогающие изучению обширного теоретического наследия выдающегося педагога, его практического опыта.

«Учительская газета» проводила дискуссию о деятельности и произведениях Макаренко ещё в 1940 году. Спустя тридцать два года на её страницах появились материалы новой дискуссии о наследии Макаренко. Привлекли к себе внимание статьи проф. Свадковского, Э. Кузнецовой. Выступления в этой дискуссии, да и ряд других данных ярко свидетельствуют о широком и углублённом интересе, внимательном изучении творчества и опыта Макаренко в ГДР, Польше, во многих других странах.

Радостно узнавать о живых родничках макаренковской мысли в ряде школ, училищ, где педагогические идеи Макаренко получают практическое применение, где не только окружено уважением его имя, но где он как бы участвует в конкретной, повседневной воспитательной работе.

Письмо, пришедшее из Ставропольского края, из города Нефтекумска, рассказывало, что новая средняя школа решила, как сообщали в этом письме ученики 5-го класса «Б», бороться «за имя Антона Семёновича Макаренко». А письмо директора, датированное 1974 годом, извещает уже о том, что школа № 3 носит имя А. С. Макаренко. В ней создан макаренковский зал. Школа стремится широко использовать педагогическое наследие Макаренко, ведёт переписку с его воспитанниками. Ежегодно теперь в день рождения Антона Семёновича проводится торжественный вечер «За честь школы», на котором лучшим учителям и учащимся присваивается звание «макаренковец».

Носит имя Макаренко 12-я Краснодарская школа.

Вот несколько данных, характеризующих состояние работы в одной из школ Москвы. Сведения взяты из рапорта школы и из справки, подготовленной тогдашним её директором. «Основное направление в работе пашей школы – макаренковское,– говорится в справке директора.– Оно определило и систему работы по созданию коллектива,

Таким был Антон Семёнович Макаренко, когда он принял на себя руководство полтавской колонией.

Читатели «Педагогической поэмы» хорошо помнят педагога Киргизова (Т. Д. Татаринов), сигналиста Ваню Шелапутина, одного из командиров – Перца. Это группа дежурных по колонии. В их числе санком Оля Ланова.

Была в колонии кузница.

Тяжело было совершившему какой-либо проступок держать ответ перед коллективом, выйдя «на середину»...

Вот одна из мастерских в колонии им. М. Горького.

Это фото надо смотреть, вернувшись к странице, где Макаренко пишет о Калине Ивановиче Сердюке, вспоминая врубелевского Пана.

А теперь надо восстановить в памяти строки «Педагогической поэмы», исполненные уважения и симпатии к агроному колонии Шере (Николай Эдуардович Фере).

Максим Горький писал о руководителе колонии:
«Он похож на полугражданского и полувоенного, но из идейных».

Коммуна им. Ф. Э. Дзержинского начинала свою жизнь
уже в совсем других условиях. Это её здание.

Один из атрибутов «завоевания Куряжа» – духовой оркестр.

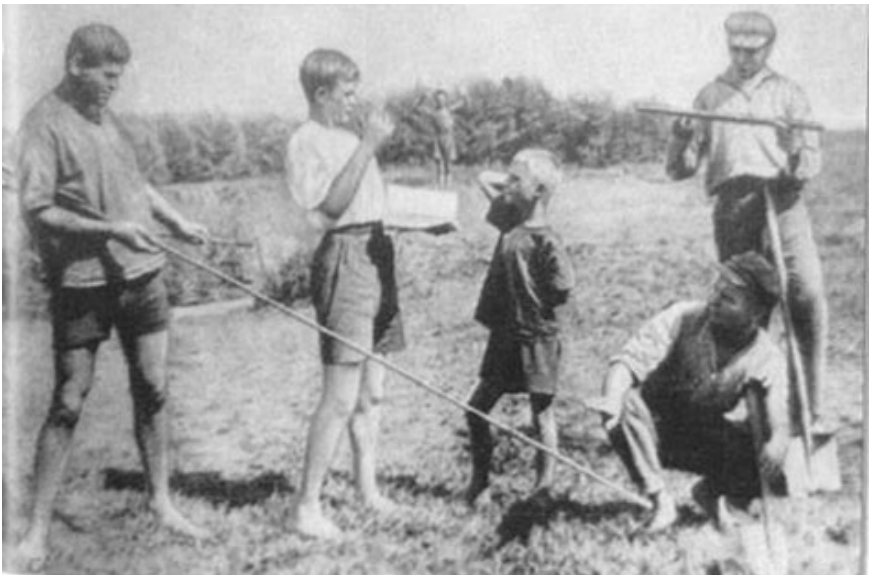
Шеф колонии среди колонистов
после косовицы – уборки хлеба.

Помните слова из книги – о том, как в особенные для колонистов праздники – день рождения Максима Горького и праздник Первого снопа – устраивали «торжественный» обед, стараясь обходиться без гостей?

Так было в Куряже.

1925 год. Куряж. Вот какими были
Карабанов (Калабалин), Лапоть (Лапотецкий), Чевелий (Жевелий),
Архангельский (Задоров). Крайний справа – Агнивцев.

Совсем не похоже это помещение на мастерские полтавской . колонии.
Так выглядел завод электроинструмента в коммуне.



Осуществилась мечта колонистов и их педагога: с ними Максим Горький.

Максим Горький и А. С. Макаренко среди колонистов-рабфаковцев.
(В шлеме– второй ряд – А. Тубин, выведенный в поэме под фамилией Ужикова.)

Ещё один момент из счастливых дней колонии

Такой видели горожане колонну коммунаров.
Так проходили они по улицам Харькова
в 1932 году.

Сильный коллектив педагогов работал в коммуне.

Некоторые воспитанники коммуны стали юристами.
А. С. Макаренко с группой коммунаров,
окончивших Харьковский юридический институт.

А. С. Макаренко в своём рабочем кабинете.
Снимок относится к 1937 году, сделан в Киеве.

С. А. Калабалин – руководитель детдома в Клемёнове.
Он продолжил дело своего духовного отца.

Есть немало фотографий, запечатлевших облик Антона Семёновича Макаренко в разные годы его жизни. Для этой книги хотелось собрать побольше уцелевших снимков, на которых были бы отражены дело Антона Семёновича, его забота и гордость, он сам, как говаривал он, «на марше» боевых лет своей биографии.

Все использованные здесь негативы присланы для книги А. С. Ледаком (г. Симферополь) из собранной им обширной коллекции. Часть снимков, как свидетельствуют комментарии к Собранию сочинений писателя, по-видимому, была сделана самим Антоном Семёновичем.

конечной целью которой является создание коллектива воспитательного в полном смысле этого слова».

Школа существует с 1963 года, она возникла в новом, к тому времени ещё не полностью застроенном микрорайоне. Состав учащихся был весьма разнообразным и далеко не «лёгким». Школа решала проблему общения учащихся в коллективной деятельности, используя силу влияния коллектива на личность ребёнка, рядового школьника. В школе хорошая успеваемость. В течение уже нескольких лет школа является центром воспитательной работы в микрорайоне, где создан молодёжный спортивный клуб, над которым шефствует звёздный городок космонавтов. Ей присвоено звание «школы образцового состояния». Организация клубной работы не подменяет роли детских школьных организаций, наоборот – даёт возможность школьникам более полно раскрыть свои способности в коллективе. А педагогический коллектив вместе с комитетом комсомола направляет и организует эту работу.

Если есть в школе некоторые успехи, то они обусловлены, на наш взгляд, заявляет директор, правильно выработанной перспективной целью в создании коллектива, изучением и использованием применительно к своим условиям наследия А. С. Макаренко. С 1966 года здесь существует музей Макаренко. Воспитательная работа в школе строится на принципах Макаренко, что помогает правильно решать, в частности, вопросы ученического самоуправления. Созданы интересные традиции, проводятся встречи с воспитанниками Макаренко и продолжателями его дела.

Хочу пригласить читателей сесть на поезд, идущий в края северные, чтобы отправиться в город Сокол Вологодской области.

Побываем вместе в Сокольском педагогическом училище, где ведёт интересную работу макаренковский музей-клуб, действуют органы самоуправления, учреждено звание «макаренковец»...

Пройдёмся по «макаренковскому залу» с экскурсией первокурсников. Нашими гидами будут председатель макаренковского клуба Нина Бараева и её заместитель по клубу Оля Беляева. Потом побеседуем с педагогами, выпускниками, учащимися.

В училище создан и плодотворно действует совет коллектива. Вот что рассказывает об этом секретарь комсомольской организации училища Валя Гермаш:

– Макаренковский принцип самоуправления прочно вошёл в жизнь коллектива. В системе самоуправления создано 27 органов, где занято более 360 человек. Делать всё своими руками, держать тесную связь с общественными организациями и педагогическим коллективом – это наша традиция. Она даёт хорошие плоды.

Доверие к высшему органу управления – совету коллектива растёт, потому что его членам, как правило, присущи справедливость и принципиальность в решении самых сложных вопросов. Они подают пример в учёбе, являются лучшими активистами, ведут за собой других.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый чувствовал себя ответственным за всё происходящее, ощущал себя полноправным хозяином училища.

Желание участвовать в соревновании за то, чтобы стать лучшим активистом, спортсменом, певцом, чтецом, математиком, лучшей комсомольской группой, у нас велико. Да и есть к чему стремиться: победители, справедливые и принципиальные товарищи, удостаиваются почётного звания «макаренковца», пользуются большими правами.

Лучшие группы имеют возможность побывать в городах-героях страны, совершить путешествие по Вологодской области.

Стало традицией отправлять отличившихся в спортивно-трудовой лагерь.

Для любителей музыки и пения у нас ежемесячно устраиваются концерты артистов областной филармонии.

Бойцы студенческого строительного отряда – сто человек – работали и в Краснодарском крае, и на полях совхозов Сокольского района, в период уборки урожая девушки создают в совхозах Вологодской области детские площадки.

Увлекательно и интересно живут в нашем училище: читательские конференции по произведениям Чингиза Айтматова и В. Титова сменяют традиционные диспуты «Стать человеком», «Какая ты, современная девушка?», педагогический конкурс в форме «А ну-ка, девушки!» и многие другие мероприятия...

...Сможем мы побеседовать и с её предшественницей, бывшим секретарём комсомольского комитета в училище, ныне инструктором обкома ВЛКСМ Татьяной Табуновой.

– Я уже семь лет не являюсь ученицей Сокольского педучилища, но училище мне очень дорого, потому что

всем хорошим, что я получила для подготовки к жизни, я обязана своему училищу.

Особенно дорого сознавать, что там давно господствует макаренковский дух, есть в коллективе люди, которые являются убеждёнными продолжателями педагогических идей Макаренко.

Я училась как раз в те годы, когда настойчиво пробивали себе дорогу макаренковские принципы самоуправления, организации коллектива.

Это было очень нелегко, не все поддерживали это в коллективе. (Ведь всё новое всегда требует особых усилий.) А теперь я даже представить не могу, как мы могли обходиться без самоуправления.

По роду своей теперешней работы я в последние годы тесно связана со многими школами и должна отметить, что ещё не все школы отстаивают жизненные принципы Макаренко в воспитании. Это горько. Но я верю, что в недалёком будущем Макаренко войдёт в каждую школу, потому что с его именем всегда связан успех.

...Много интересного, по-настоящему волнующего узнаём мы от членов макаренковского клуба.

– Уже много лет в училище действует клуб макаренковцев, который уделяет большое внимание изучению, использованию произведений Макаренко, установлению связей с его воспитанниками, – рассказывает председатель клуба Нина Бараева.

Эта работа ведётся с 1955 года, с того времени, как было получено первое письмо от Семёна Афанасьевича Калабалина – героя «Педагогической поэмы» Макаренко и «Дороги в жизнь» Вигдоровой.

Учащиеся и преподаватели встречались с заслуженным учителем школы РСФСР, директором подмосковного детского дома С. А. Калабалиным, журналистом П. А. Дроздюком, с артистом Ленинградского театра им. Комиссаржевской А. И. Янкевским, который руководил театром в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, с пенсионером из Севастополя А. С. Ледаком, с бывшим агрономом колонии им. М. Горького Н. Э. Фере, с учительницей Н. Т. Поповиченко, которая сотрудничала с А. С. Макаренко в колонии им. М. Горького.

Во время поездки в Кременчугский мемориально-педагогический музей А. С. Макаренко учащиеся и преподаватели встречались с воспитанниками Макаренко по колонии

им. Ф. Э. Дзержинского инженером Р. С. Красниковой, рабочими-мастерами А. Землянским и Ф. Шатаевым, ныне работающими на заводе в Харькове. Их воспоминания об А. С. Макаренко девушки записали на магнитофонную ленту.

Эти встречи останутся в памяти наших учащихся на всю жизнь. Вот хотя бы встреча и многолетняя переписка с С. А. Калабалиным, который свыше сорока лет отдал делу воспитания детей.

Разные есть воспитатели, разные учителя. Семён Афанасьевич «воспитывал не уговором, не объяснением, а собою, самой жизнью своей, не скупясь и не оглядываясь. Это хорошо, это и плохо. Надолго ли хватит человека, если он вот так, без оглядки, отдаёт себя? Да, но ведь он и берёт – у жизни, у книги, у людей, у ребят». Эти слова Ф. Вигдоровой становятся очень понятны тому, кто хоть один раз в жизни имел счастье видеть С. Калабалина, беседовать с ним.

...А что выносят с собою в жизнь воспитанники училища, каков их духовный багаж? Об этом говорит Тамара Сергачёва:

– Я окончила училище и работаю в одном из дальних районов нашей области. Работаю инспектором детской комнаты милиции в городе Тотьме. Это не мешает мне оставаться воспитателем, сохранять свою профессию, которую получила в нашем училище.

Почему я всё-таки согласилась работать инспектором? Дело в том, что три года жизни в училище были наполнены не только учёбой, но и общественной работой. Меня всё время избирали членом комитета комсомола, а в прошлом году поручили возглавить группу содействия милиции. Я так сроднилась с этой работой, что и решила быть инспектором детской комнаты. Вообще-то, это не первый случай. Вот Галя Корнилова, например, которая возглавляла наш макаренковский клуб ещё в 1966 году, тоже стала инспектором детской комнаты милиции.

Звание «макаренковца», которое присваивается в нашем училище, обязывает нас ко многому. Хочется не подвести училище, хочется чувствовать, что ты нужна людям, что ты не даром живёшь на свете.

Нам всегда помогает Антон Семёнович Макаренко.

Я как-то прочитала его разговор о счастье. Он говорил, что есть спокойное счастье человека, который всем доволен

и ничего не хочет. И есть счастье трудное, беспокойное, оно ходит, как правило, в синяках и шишках, но именно на нём и свет стоит!

...Зайдём теперь в кабинет к директору училища Зинаиде Алексеевне Лощиловой. Послушаем её:

– Нередко в беседах с родителями и даже учителями обнаруживаешь разное отношение к использованию педагогического наследия Антона Семёновича Макаренко,– говорит Зинаида Алексеевна.– Одни считают, что время споров и расхождений в оценке педагогики Макаренко давно прошло, что им разработана сверхэффективная неустаревающая методика воспитания. Другие полагают, что учение Макаренко утратило свою силу, что оно может быть использовано лишь школами с особым режимом.

Жизнь, однако, показывает, что основные макаренковские принципы не только не устарели, но и приобрели в наши дни ещё большее значение. Да и как они могут устареть, если в их основу Антон Семёнович положил учение В. И. Ленина о коммунистическом воспитании! И если мы, учителя и родители, имеем детей, с трудом поддающихся или даже не поддающихся воспитанию, то это лишь потому, что мало изучаем труды Макаренко, лишь потому, что его опыт работы, к сожалению, не получил ещё широкого применения.

«Многие считают меня специалистом по работе с беспризорниками,– говорил Макаренко.– Это неправда. Мои практические выводы могут быть отнесены не только к беспризорным, трудным детям, а и ко всякому детскому коллективу и, следовательно, ко всякому работнику на фронте воспитания».

В Сокольском педагогическом училище имя Макаренко окружено большим почётом и вниманием, педагогический подвит Антона Семёновича глубоко оценивается учителями и учащимися.

И если есть у нас некоторые достижения в воспитании гражданственности, патриотизма, то этим мы обязаны в первую очередь ему, Антону Семёновичу Макаренко.

Неслучайно училище издавна ведёт переписку с воспитанниками и сотрудниками А. С. Макаренко, организует встречи с ними, поездки по макаренковским местам. Этой работой занимаются макаренковский клуб, наиболее активные учащиеся.

Лучшим из них в соответствии с уставом, утверждённым педагогическим советом, присваивается звание «макаренковца».

Какие положения педагогической теории Макаренко особенно ценятся в училище? В первую очередь, конечно, его идеи о «воспитании в коллективе, для коллектива и через коллектив». Они особенно созвучны нашему времени и могут быть творчески применены в воспитательной работе всех педагогов.

Мы стремимся к тому, чтобы отношение учителей к воспитанникам было преисполнено уважением, как к себе равным, стремимся предоставить учащимся возможность строить жизнь в коллективе с помощью органов самоуправления.

Вот почему большая роль отводится общественному мнению коллектива, которое является средством развития активности и самостоятельности.

Очень нравится коллективу и идея Антона Семёновича Макаренко о том, что воспитание есть не простое воздействие на человека, а организация разносторонних, интересных дел.

Макаренко был далёк от той установки, в соответствии с которой основным видом деятельности в школе является только учение, а труд учителя сводится только к урокам. Основная заслуга Макаренко в том и состоит, что он сумел функцию учения органично дополнить и усилить другой основной функцией школы – воспитанием.

Этот главный совет и стараются выполнить лучшие преподаватели нашего училища, умеющие сочетать хорошие уроки с плодотворной воспитательной работой.

В том, что педагогика Макаренко изложена ярким, ясным и доступным каждому языком, нельзя сомневаться. В ней нет вопросов, на какие бы не нашли ответа работники школ, детских садов, детской комнаты милиции, комиссии по делам несовершеннолетних,– Словом, все, кто имеет дело с детьми.

...Звание «макаренковец» и «Устав макаренковцев» в Сокольском училище утверждены решением педагогического совета и комитета ВЛКСМ. В уставе содержится перечень обязанностей, налагаемых этим почётным званием, и прав, которые оно предоставляет.

«Макаренковцем» может быть наиболее авторитетный человек в училище, с честью несущий традиции коллектива,

лучший общественник. Удостоенный этого звания должен воплощать в себе благородные черты нашего современника – верность делу партии, духовную зрелость, воспитанность, гражданственное отношение к учебному труду, дисциплинированность, организованность. «Макаренковец» обязан уважать товарища по училищу, защищать его, помогать во всём, если тот нуждается в помощи, и поправлять его, если он ошибается и ведёт себя не как положено. «Макаренковец» знает труды Антона Семёновича Макаренко и борется за претворение педагогической системы Макаренко в жизнь, распространяет учение Макаренко среди товарищей. Он ведёт переписку с одним из воспитанников Макаренко или с одним из его сотрудников. Понятие «макаренковец» неотрывно от представления об активном строителе коммунизма.

Соответственно обязанностям определены и права учащегося-«макаренковца». Он пользуется полным доверием со стороны преподавателей и учащихся. Он может присутствовать на всех заседаниях совета коллектива с правом решающего голоса; вносить на рассмотрение педагогического совета предложения по улучшению работы училища; присутствовать на заседаниях стипендиальной комиссии, комиссии по распределению выпускников на работу и голосовать вместе с членами этих комиссий. «Макаренковцу» даётся право выбрать место будущей работы, пользуясь списком вакантных мест. Звание «макаренковец» может быть снято лишь решением совета коллектива, комитета ВЛКСМ и педагогического совета. Присваивается звание «макаренковец» в день рождения Антона Семёновича Макаренко.

...Чтобы познакомиться с ещё одной убеждённой, горячей пропагандисткой макаренковских идей, нам пришлось бы предпринять поездку в город Горький – к Манефе Ильиничне Яруничевой. Вместо этого, с разрешения Алексея Степановича Ледака, упоминавшегося нашими знакомыми в городе Соколе, приведём извлечения из письма М. И. Яруничевой к нему. Вот выдержки из этого человеческого, педагогического документа:

«Знакомиться с трудами А. С. Макаренко я начала в конце 40-х годов, работая завучем школы. В 1952 году была переведена на должность заведующей районным педагогическим кабинетом. В мои обязанности входило изучение, обобщение и распространение лучшего опыта учебно-воспитательной

работы в школах Автозаводского района гор. Горького...

Я видела: кто из педагогов по стилю был ближе к Макаренко, у того дело ладилось...

Трудно было сказать, строилась ли там работа по образцу Макаренко или учитель сам дошёл до тех или иных форм и находок, но в том и другом случае было очевидно, что Макаренко прав, потому что если учитель и сам пришёл к аналогичным выводам, то Макаренко дважды прав: тогда его положения, добытые в его практике, подтвердились и другим опытом.

Меня настолько увлекли идеи Макаренко, что я решила отказаться от наблюдения со стороны и испробовать свои силы в роли руководителя школы, где я могла бы, разумеется в меру своего умения и способностей, не испытывая давления извне, применить на практике его учение.

В районе начали строить начальную школу, которая отличалась от всех других и как нельзя больше подходила для этой цели. Я обратилась в ГорОНО с просьбой назначить меня директором в эту школу и получила назначение...

Макаренко руководит мною повседневно...

Зная отношение Макаренко к труду, мы добились того, что каждый наш класс и, кроме того, каждый ученик получали трудовое задание, и труд этот имел общественно полезную направленность...

Мы постоянно заботились о том, чтобы ученикам было радостно под крышей школы. Вот почему за 15 лет её существования из неё не выбыл ни один ученик.

О школе стало известно Институту усовершенствования учителей, затем Городскому отделу народного образования. Через три года работы она была утверждена опорной, и сюда стали приезжать работники народного образования области (заведующие РОНО, школьные инспектора, районные методисты, директора средних школ и опорных школ, учителя, завучи). Здесь проводились для них семинары. За 5 лет побывало около 9000 человек. В книге отзывов оставлены такие, например, записи: «Я давно работаю завучем, а зажёгся только сегодня», «Я всё время затруднялся в работе, теперь я знаю, что мне делать...» Школа отмечена грамотой Академии педагогических наук, Министерством просвещения; о ней писала районная и областная печать.

Часть учителей постепенно переведена на преподавание предмета по специальности, соответственно своему образованию. На их место пришли другие. Но старое ядро осталось, традиции живут и по сей день. Школа продолжает оставаться в числе лучших.

Ей никогда не достигнуть бы такого уровня, если бы она не обращалась к опыту Антона Семёновича Макаренко».

Педагогическое училище, школы... А вот воспитательный коллектив иного рода. Завод! Завод «Чайка» в Москве, о котором уже не однажды писали газеты, опыт которого привлекает к себе внимание многих людей не только в нашей стране.

Позволю себе привести некоторые данные об этом заводе из статьи, опубликованной в «Правде». Статья с первых строк сообщает, что опытно-экспериментальный завод, о котором будет рассказано,– предприятие необычное: хозяйствуют здесь школьники. Обучением, производительным трудом и техническим творчеством занято на «Чайке» более 4000 учащихся из 23 общеобразовательных школ трёх районов Москвы. Как на любом государственном предприятии, на этом заводе есть свой план, нормы выработки, идёт социалистическое соревнование, поощряются творческие поиски, рационализация. Школьники работают в четырёх основных цехах: в цехе электротехнических изделий на потоке (микроэлектродвигатели), радиотехническом (детали малогабаритного приёмника), швейном, полиграфическом. Продукция полностью реализуется. Заводские изделия поставляются в 128 городов пятнадцати союзных республик, в социалистические страны. Среди заказчиков школьного завода – свыше 500 научно-исследовательских институтов, лабораторий и конструкторских бюро.

В отличие от обычного завода, говорится в статье, здесь параллельно с руководством предприятия – дирекцией, главным инженером, начальниками цехов и так далее – действует и ученическое управление. Школьники принимают участие в работах всех служб – главного конструктора, главного технолога, планово-производственного отдела. Они принимают участие в разработке новых видов продукции, сами выполняют многие лабораторные работы. Поэтому процесс практического применения знаний находит здесь выражение не только в чередовании трудовых операций, в решении конкретных технических задач, но и в уяснении общественной значимости труда.

Под одной крышей с заводом помещается Дом юных техников – структурное подразделение «Чайки». Создан он на средства предприятия и находится на его содержании. На заводе работает инженерная секция учащихся.

О том, что предприятие рентабельно, экономически выгодно и приносит немалый доход, подчёркивается в статье, свидетельствуют и расширение из года в год материальной базы, активная помощь школам, приобретение автомашин и речных теплоходов, организация для ребят экскурсий в города Советского Союза, туристских поездок в социалистические страны.

На «Чайку» тоже организуются экскурсии. Там побывали десятки зарубежных делегаций. Опытно-экспериментальный школьный завод всё чаще включается в программу осмотра достопримечательностей столицы.

Приятно отметить, что писали статью два молодых журналиста, увлечённых идеями Антона Семёновича Макаренко.

С разрешения Галины Константиновны Калабалиной хочу познакомить читателей с выдержками из присланных ей воспоминаний о Семёне Афанасьевиче Калабалине. Вот что пишет Пётр Алексеевич Дроздюк из посёлка Червоное Сумской области УССР. Он обращается к мысли о том, как важно для всей жизни человека влияние в детстве умного отца, наставника, друга. И начинает свой рассказ о приезде к С. А. Калабалину на станцию Мотовиловка под Киевом...

«Я шёл и думал о двух близких, дорогих мне людях с благородными пламенными сердцами, посвятивших свои жизни воспитанию неродных детей.

Один из них – Антон Семёнович Макаренко проделал поистине титаническую работу в трудовой колонии имени Максима Горького и в детской коммуне имени Феликса Дзержинского. Дал тысячам бывших малолетних «уркаганов» путёвку в жизнь, открыл перед ними светлый путь в прекрасные дали, полные вдохновенного труда и созидания. Сгорев раньше времени на трудной работе, он, как Данко, отдал нам своё сердце. Без душевного волнения, без слёз восторга я не могу вспомнить Антона Семёновича – моего отца, воспитателя, друга.

Что было бы со мной, сиротой-мальчишкой, беспризорником, не имевшим ни одной живой родной души на всём

белом свете? Что было бы со мной, если бы не Советская власть и не Антон Семёнович Макаренко, проводивший в жизнь заботу народной власти о детях? Мне страшно даже подумать о всех последствиях, вытекавших из моего сиротства, если бы я родился в капиталистической стране. Нищета, голод, бесправие – вот единственный путь, лежавший бы там передо мной.

Большая, законная гордость рождается в груди за мою горячо любимую Родину, самую гуманную страну на всём земном шаре.

Другой человек, о котором я думал в те минуты, был воспитанник и последователь Антона Семёновича Макаренко – Семён Афанасьевич Калабалин. Кто не симпатизировал Семёну Карабанову, читая «Педагогическую поэму» Макаренко? Этот горячий, умный, жизнерадостный парень, которому всё удаётся, оставляет определённый след в памяти читателя. Он – мой товарищ по Горьковской колонии. Давно разошлись наши пути. Но иногда они довольно неожиданно встречались вновь.

...В памяти встаёт 1931 год. Зима. Я приезжаю из Москвы в Ленинград. У меня в руках направление на работу в качестве воспитателя в одну из исправительно-трудовых колоний.

Внутренне подтянувшись, сделав серьёзное лицо, захожу в кабинет начальника колонии. И вдруг огромный, широкоплечий начальник быстро встаёт из-за стола, бросается навстречу, обнимает меня:

– Петро, дружище! Какими ветрами тебя занесло сюда?

– Гора с горой не сходятся, а горьковец с горьковцем всегда сойдутся,– смеясь и обнимая Семёна, отвечаю я.– На работу к тебе.– И подаю ему направление.

– Вот замечательно! Значит, вместе поработаем.– Калабалин сияет живыми чёрными глазами. Возбуждённый, энергичный, он быстро ходит по кабинету, рассказывая о себе, о работе, а я, слушая его, любуюсь этим ладным, остроумным человеком и в то же время таким простым, чудесным парнем, нашим Семёном.

Один из воспитанников колонии, психопат, совершил страшное дело: среди бела дня он зарезал трёхлетнего сына Семёна Афанасьевича. Непередаваемо тяжело было горе молодого отца и матери – Галины Константиновны.

Какой огромной волей нужно было обладать, какой неиссякаемый запас любви к людям надо было иметь, чтобы в тот трагический момент не отчаяться, не сойти с избранного пути, не оставить трудной работы по воспитанию детей-сирот.

Калабалин тогда сказал:

– Если Антон Семёнович немало потрудился в этом большом и сложном деле, значит, и мне можно.

И эти, идущие из глубины сердца слова стали девизом всей его жизни. Семён Афанасьевич не оставил детей.

Вспоминается 1935 год. Я приезжаю в Киев. Антон Семёнович Макаренко (он тогда работал заместителем начальника управления трудовыми колониями Украины) после долгой задушевной беседы говорит мне своим грудным, хрипловатым, навсегда дорогим голосом:

– Если хочешь, Петро, поезжай к Семёну. Он теперь заместитель директора детской колонии Винницкой области. Погостишь у него, а понравится – останешься, поработаешь.

Я даю согласие. Антон Семёнович своим ровным каллиграфическим почерком пишет письмо Семёну. И я еду.

Снова горячая встреча с Калабалиным и его семьёй. Снова работа вместе.

Но, к сожалению, педагог из меня не вышел. После шести месяцев работы в колонии я уехал в Киев, где поступил в редакцию республиканской газеты «Коммунист» в качестве литературного сотрудника.

С Семёном мы переписывались до самой войны. А затем я о нём ничего не знал. Но с какой же радостью в апреле 1952 года встретил я весточку о нём в украинской республиканской газете «Радянська освита» («Советское просвещение»)! В тот же день написал ему. В своём письме Калабалин рассказал о себе, пригласил в гости. Он проникновенно писал: «Я с большой радостью возобновлю наше братство...»

Почти двадцать лет прошло со времени последней нашей встречи с Семёном. Братство горьковцев – особое братство. Может быть, его трудно понять постороннему. Скажу только одно: это братство не хуже кровного.

...Я во дворе Мотовиловского детского дома имени С. М. Кирова. У белоголового шустрого паренька спрашиваю, где квартира директора.

– Семёна Афанасьевича? Идёмте, я проведу,– звенит колокольчиком голос мальчугана.

Стучу. Мне открывает дверь «черноглазая черниговка», Галина Константиновна. Узнала меня, улыбается:

– Петя, родной, здравствуй! Заходи, заходи, пожалуйста!

После первых приветствий и восклицаний она предлагает мне умыться с дороги, отдохнуть. Но я жадно смотрю на дверь, зная, что вот-вот она откроется...

И действительно, через несколько минут на пороге появляется Семён в белом летнем костюме и такой же фуражке. В первую минуту кажется, что он всё тот же. Только пережитые годы посеребрили виски сединой. Да глаза стали чуть спокойнее...

Мы вспоминаем Горьковскую трудовую колонию, наших учителей и наставников: Антона Семёновича Макаренко и Алексея Максимовича Горького, колонистов-горьковцев и коммунаров-дзержинцев... Страна наша велика, в разные концы её разлетелись питомцы Макаренко и Горького. А многих уже и нет среди нас. Они отдали свои жизни на полях сражений...

Вспоминаем далёкую юность, наши походы под звуки духового оркестра по улицам Харькова в дни народных торжеств, дружную работу, учёбу...

О, как всё это близко, дорого и никогда-никогда неповторимо! Кто из нас, взрослых людей, в минуты воспоминаний не пожалел об ушедшей юности, не захотел вернуть её хоть на один короткий миг?..

– Мы с тобой, Семён, уже отцветаем, стареем,– говорю я с грустью.

– Нет, Петро, я не согласен с тобой,– живо откликается Калабалин.– Было бы сердце молодо, а годы ни причём,– уверенно говорит он и подтверждает: – Да, да, мы ещё себя покажем, Петро!

Я вижу в его смелых глазах озорные огоньки прежнего Калабалина и, улыбаясь, забываю о грусти...

Когда началась Великая Отечественная война, Семён Калабалин добровольно ушёл на фронт. Он удостоен правительственных наград. В армии ему присвоено звание майора. После окончания войны и после демобилизации из армии Семён Афанасьевич вернулся к своему любимому делу – воспитанию детей-сирот. В Мотовиловском детском доме Калабалин проработал уже три года. Он и его коллеги-педагоги

обучают и воспитывают 120 детей, родители которых погибли в годы Великой Отечественной войны.

Семён Афанасьевич в своей практической деятельности применяет методы и педагогические принципы А. С. Макаренко. Вся жизнь, работа, распорядок дня в детдоме имени С. М. Кирова такие же, какие были в трудовой колонии имени Максима Горького. Все воспитанники распределены по отрядам. В каждом отряде свой командир. Совет командиров является высшим органом самоуправления детского дома...

...Летом 1972 года перестало биться пламенное сердце талантливого педагога и воспитателя, верного наставника подрастающего поколения и моего сердечного друга по Горьковской трудовой колонии Семёна Калабалина.

Его смерть потрясла меня до глубины души.

Хорошие люди, хотя и умершие, живут долго в памяти современников. Образ нашего Семёна всегда будет жить в моём сердце, в сердцах всех живущих горьковцев и дзержинцев, всех его воспитанников».

И ещё – строки воспоминаний. Они написаны учителем П. Бунеевым. Лишь несколько строк из большого письма-статьи. П. Бунеев переписывался с Калабалиным, и вот состоялась их встреча. Это произошло в подмосковном селе Клемёново, когда уже более четырёх десятков лет отделяли Семёна Афанасьевича Калабалина от Семёна Карабанова.

«Я увидел высокого широкоплечего мужчину, который сквозь очки пристально всматривался в меня. Голова совсем седая, но глаза чёрные, внимательные, а улыбка такая, что как-то сразу располагает к себе...

В комнатах всё напоминает о Макаренко: портрет Антона Семёновича, его книги, фотографии, альбомы... Одним альбомом здесь особенно дорожат. В нём хранятся подлинные снимки... На последней странице скорбная фотография: воспитанники провожают своего учителя в последний путь. На всех лицах невыразимая печаль. Один из них в форме лётчика. Но особенно бросается в глаза безмолвное отчаяние у небритого, с растрёпанной шевелюрой человека. Он, кажется, потерял самое дорогое на свете...

– Кто это? – спросил я с подступившим к горлу комом.

– Да це я... Я тогда чуть не умер от горя...– сдавленно сказал Калабалин, отворачивая от меня налитые слезами глаза...

Я очень много читал о нём. Да он и больше всех врезался мне в память и полюбился ещё при первом чтении «Педагогической поэмы» в 1936 году. Тогда же я решил стать учителем...

Трудно верится, что ему 64 года. Что же было в нём, когда ему не было и двадцати?!

Из печи выскочил раскалённый уголёк. Он стал перебрасывать его с ладони на ладонь... И сам он был похож на этот искрящийся и обжигающий уголёк, в котором ещё так много света, внутренней энергии и тепла!..

Заговорили о Макаренко.

– Меня при первой встрече буквально поразило его доверие ко мне,– начал он.– Из тюрьмы мы шли без всякой охраны. Он ни разу не спросил меня о прошлом, давая этим понять, что теперь у меня должна начаться совершенно новая жизнь. В тот же день дал мне первое поручение – получить продукты для колонистов. Я несколько «переусердствовал» и получил лишние. Он велел возвратить их на склад. Я тогда решил, что Антон Семёнович «ненормальный» человек. Это доверие вначале удивляло не только меня, но затем заставляло глубоко задумываться над своими действиями и помогало осознавать свою вину и исправляться... Никому не хотелось быть перед ним душевным уродцем, слизняком. Каждый хотел быть похожим на него. Вот почему к учителю и воспитателю предъявляются особые требования. Они должны быть своеобразными эталонами для молодёжи...

Я читал статьи, написанные Калабалиным и напечатанные в газетах, в которых он в разное время отбивал атаки горе-теоретиков на систему воспитания Макаренко, которая якобы пригодна только для колонии. В каждой строке питомца Макаренко чувствовалась горячая страстность, богатый практический педагогический опыт и проницательная мудрость воспитателя... Семён Афанасьевич дал мне прочитать два письма-подлинника, написанные Макаренко. С большим волнением я держал их в руках...

Читаю написанное чётким почерком, немного с наклоном влево:

«Милые мои Калабалины!

...Очень хочется знать, как началось воспитание моего

долгожданного тёзки, как идёт прибавление в весе и какие черты Калабалиных уже можно наблюдать в этом молодом гражданине СССР?» – писал Макаренко...

На стене висел большой портрет Макаренко.

– До сих пор чувствую, будто стоит Антон Семёнович за моей спиной и следит за всеми моими делами. Особенно чувствую его в трудные минуты, когда принимаю какие-либо сложные решения,– говорил мне Калабалин...

Дети как-то особенно смотрят на него. У них такая вера и уважение к нему, что вряд ли что могут утаить от его цепкого и проникновенного взгляда. Один английский педагог, побывавший в нашей стране, назвал его колдуном. Я бы назвал его ведуном, потому что он хорошо знает, ведает всё, что происходит в душе его питомцев.

Однажды Калабалин рассказал ребятам забавную историю с Химочкой, который украл со склада Калины Ивановича курицу. Макаренко заставил его съесть курицу при всех. После жена Химочки писала Галине Константиновне: «Мой Ваня – хороший работник, занимает ответственный пост. Только удивительное дело – почему-то курятину совсем не ест». После общего смеха Семён Афанасьевич добавил серьёзно:

– Антон мог подействовать на человека на всю жизнь. После мы разговорились.

– Как вы изучаете детей и затем воздействуете на них? – спросил я.

– Прежде всего я стараюсь понять каждого вновь прибывшего воспитанника. Мне это несколько легче, потому что я сам был и плохим и хорошим. Ведь однажды меня Антон Семёнович выгнал из колонии вместе с вором Митягой. Это было мне уроком на всю жизнь. К тому же прибавился опыт за сорок лет работы с детьми в колониях и детских домах. Через мои руки прошли многие тысячи ребят. Я теперь с первого взгляда на воспитанника могу наметить какие-то перспективные линии. Эту мгновенную оценку можно сделать по глазам, очертанию лба, губам, улыбке и ещё по ряду неуловимых черт, которые мы называем обаянием. Стараюсь внутренне вжиться в каждого нового человека, поставить себя на его место и его глазами посмотреть на всё окружающее. Если что-то не вяжется, не ладится, то я не могу заснуть, мучаюсь, ищу, прикидываю. Успокоюсь тогда, когда он мне станет понятен, а потом уже начинаю делать своё дело уверенно, сообразуясь с опытом. Если произошло

какое-то нарушение, то я почти безошибочно могу сказать, кто это сделал. Это даётся опытом, постоянным наблюдением за духовным и физическим развитием детей... Широко пользуюсь на мне проверенным методом – доверием. Но тут надо учесть одно обстоятельство, которое имеет первостепенное значение: надо, чтобы воспитанник верил тебе без всякого подозрения и сомнения. Только тогда можно проникнуть в его душу, да и он сам всё расскажет о себе самое сокровенное. Вот тогда только начинается процесс лепки будущего человека. Дело очень тонкое,– смеётся он, собрав морщины у глаз.– Можно сделать и зазубрины...

Он заметно прихрамывал. А мне всё о нём хотелось знать! И я всё же спросил:

– Это вас на фронте ранило?

– Во время войны был заброшен в тыл к гитлеровцам со специальным заданием под видом кулацкого сынка. Бандеровцы не поверили, пытали... но выжил...

Калабалин закурил. Солнце заглянуло в его глаза и до самого дна осветило их. И тут я впервые увидел, что у него глаза не чёрные, как мне казалось раньше (он обратил внимание на мой пристальный взгляд и улыбнулся), а добрые и мягкие карие глаза... В них когда-то смотрел Макаренко...»

Глаза человека, в которые когда-то смотрел Макаренко – смотрел живой, смотрел со страниц своих книг...

Люди, воспитанные Макаренко непосредственно – как руководителем педагогического коллектива – в колонии имени М. Горького или в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, люди, воспитываемые им как автором трудов по педагогике, как писателем-гуманистом, писателем-человековедом; люди, продолжающие его дело, воодушевлённые его мыслью и его страстью,– не есть ли всё это драгоценные штрихи, которыми само время оттеняет, выделяет новые и новые черты в облике, в запечатлённом годами портрете педагога, писателя, человека.

М. А. ШОЛОХОВ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА

С волнением следит мысленным взором автор этой книги за тем, как читатель раскрыл первую страницу его работы о произведениях и о художнике слова, которые не только любимы и высоко ценимы народом, но которые стали неотъемлемым достоянием духовной жизни современника.

Берясь за такую работу, испытываешь чувство неизбежной скованности. Так не хотелось бы, чтобы ты сам либо кто-то из читателей смог обнаружить, что какая-то малейшая, самая беглая нотка вдруг прозвучала хоть чуть фальшиво!

Попытка рассекать инструментами анализа шолоховскую прозу подобна хирургическим манипуляциям на живом теле, порою — на пульсирующем сердце.

Шолохов... При соприкосновении с его книгами неизменно поражает глубина проникновения в человеческую душу и глубина переживания самим художником всего, с чем он обращается к читателю.

Всей своей полнотой вошла жизнь в произведения Шолохова. Биеньем человеческого сердца, красотою и величием природы, грохотом боёв и тишиною мира, мраком и светом, бесчисленными своими голосами, красками и запахами, сменой времён, горем и счастьем, печалью и шуткой... Это произошло прежде всего потому, что сердце художника оказалось способным вместить в себе весь этот, казалось бы, необъятный мир.

Сколько нужно было пережить чужих человеческих жизней, чтобы так, как это сделано в «Тихом Доне» и в «Поднятой целине», рассказать людям о рождении новых характеров, о том, как вчера шла борьба за наше завтра, о поисках истины, о решении сложнейших жизненных

проблем, о преодолений препятствий на прокладываемой всему человечеству дороге. О любви и боевой дружбе, о ненависти и нежности, о боли расставаний и утрат, о счастье найденного пути в жизни. О том, каким содержанием наполняются в психологии нового человека эти вечные чувства. О буднях практической революционной работы, всегда проникнутых героической романтикой. О том, что в самых суровых битвах надо всегда видеть впереди великую цель, к которой движется наше общество. О том, что личность человека расцветает тогда, когда он идёт вместе с народом. О том, как всегда сложно и сугубо индивидуально отражается всё это в сознании, в психологии каждого человека.

Могут возразить: позвольте, о чём идёт речь? Без этого нет искусства. Любой настоящий писатель вживается в мир своих героев.

Нет, не всякий в такой степени. В романе «Тихий Дон» или в рассказе «Судьба человека» выстрадана, прожита с мукой и радостью художественного открытия, жизнь каждого из героев. Потому так близко творчество Шолохова высокой трагедии, истинной поэзии, выношенной, пронесённой сквозь века самим народом песне.

Пять десятков лет тому назад вошли в жизнь писателя Григорий и Аксинья. Расстался он с ними только через четырнадцать лет. Расстался ли?

Земляки Михаила Александровича рассказывают: однажды во время откровенной беседы Шолохова с ростовскими писателями один из них спросил, что испытывал автор «Тихого Дона», когда дописал последнюю страницу романа и распростился с героями, с которыми был неразлучен столько лет. Шолохов задумался. «Трудный ты задал вопрос,– ответил он спрашивавшему. — Помню: закончил рукопись ранним утром. Было четыре часа. Поднялся от стола, подошёл к раскрытому окну, долго смотрел на Дон. Тишина на всём свете... Оглянулся на стол, на лежащую там стопку исписанных листов, сказал сам себе: «Что же ты наделал, Миша?!»

Было это так или рождена легенда? Какая разница! Кто скажет, что герои «Тихого Дона» ушли из сердца их создателя?

То стремительно мчится, то плавно течёт эпическое повествование. В бурлящем кипении социальных противоречий

возникают острые конфликты, развиваются и в напряжённой борьбе разрешаются; величаво, неостановимо движется вперёд история. В сюжет вплетаются новые и новые персонажи, со своими характерами, неповторимо индивидуальными, со своими судьбами. Их такое множество, и они такие удивительно живые, что порою кажется, будто они вовсе неподвластны автору. Реалистическое мастерство писателя настолько велико, что им и создаётся драгоценная иллюзия, будто весь этот пёстрый сонм персонажей -действительно что-то вроде старинной самоуправляемой казачьей вольницы, подчиняющейся лишь законам собственного уклада, ,и художник не вправе распорядиться судьбой кого-либо из них без уполномочия на то их Войскового Круга. Да и сам автор очень ненавязчиво, редко заявляет о своём присутствии.

Однако пристальный взгляд читателя всегда встретит ответный, внимательный и вдумчивый взор, устремлённый в его душу, взор автора — художника-гуманиста, психолога и философа.

Известно, что если взять любую шолоховскую страницу, где даже не упомянуты имена персонажей и не обозначено место действия, всякий сразу определит, чьим пером она написана. Конечно, это объясняется ярким своеобразием художественной манеры Шолохова — щедростью красок, богатством языка, характерным строем речи, наконец, специфическим донским колоритом в стиле. Но, думается, не только этими, по сути внешними, приметами. Всегда вы различите то, что хочется назвать особенным, шолоховским, пульсом. Всегда вы почувствуете рядом с собою биенье сердца художника.

Недаром Алексей Николаевич Толстой на сессии Академии наук в 1942 году, давая оценку «Тихому Дону», говорил о писателе: «...он развернул эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества. Но это не ограничивает большую тему рома-па». И, характеризуя роман Шолохова как произведение «общерусское, национальное, народное», назвал в числе главных его особенностей «человечность», «сердечность».

Правда. Даже запахи родной земли как бы прошли сквозь сердце писателя. Иначе аромат ландыша, который вдыхала Аксинья, не оказался бы «томительным» и «грустным»...

Что же сказать о людях! Достаточно было бы вспомнить

хотя бы описание глаз Андрея Соколова, или на выбор строки из очерка «Слово о Родине», или раздумья Андрея Размётнова, или прощанье Макара Нагульнова с Лушкой, или мечты Давыдова, или речь старшины Поприщенко, или встречу деда Щукаря с Варюхой-горюхой на последних страницах романа, или потрясающий душу звонкий вскрик Ванюшки в «Судьбе человека»... Нужно ли множить столь очевидные и бесчисленные примеры?

И не в отдельных примерах тут дело. Они лишь кульминационные проявления целостной творческой концепции, воплощённой во всём, что создано писателем. Любовь к людям труда и ненависть ко всему античеловеческому лежат в основе творчества Шолохова.

Максим Горький учил нас писать слово «Человек» с большой буквы. Шолохов овладел этим благородным правилом в совершенстве.

Именно это дало ему возможность различить в сегодняшних людях черты будущего, достойно показать прекрасное в новом человеке. Изображая своих героев со всеми присущими им недостатками, трудностями, встреченными на пути, не возвышая их искусственно, он создал, однако, отражая правду жизни, характеры, которые служат светлым примером для миллионов. Это характеры борцов и строителей, рыцарей революции, истинных героев нашего времени.

Он сам всегда в гуще схватки двух миров. И его отношение к своим героям активно, очень эмоционально. Иногда эта эмоциональность глубоко скрыта за спокойным тоном повествования, за доброй или лукавой усмешкой, за стремлением создать наиболее интимный контакт между читателем и героями. Иногда же она вступает в симфонию гигантского оркестра звучащих красок как первая скрипка.

Так врывается она в рассказ о жизненном подвиге героев «Поднятой целины» в момент прощания с ними — словами о «дорогих моему сердцу Давыдове и Нагульнове».

Говоря о советских писателях, Шолохов сказал, что служат они партии и родному пароду «по указке своего сердца».

И вот развёрнутая творческая декларация:

«Не может быть художник холодным, когда он творит!

С рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не создашь и никогда не найдёшь путей к сердцу читателя. Я за то, чтобы у писателя клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о нём, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему дорог».

И в юморе, в чудесном шолоховском юморе, проявилось «общерусское, национальное», глубокая народность творчества писателя.

А когда писались главы романа «Они сражались за Родину», как много приняло в себя большое сердце писателя-человеколюбца — судьбу всего родного народа, его тяготы и беды, принесённые войной, его раны и утраты, его великое мужество и нравственную чистоту, с которыми он выстоял во всех испытаниях!

Нельзя не вспомнить о глубоко личном... Одной из жертв этой войны стала мать Михаила Александровича. Гитлеровцы стояли за Доном. Снаряд их батареи разорвался во дворе дома Шолохова. Так погибла Анастасия Даниловна Шолохова — простая женщина-труженица. Она была мужественной и строгой, скупой на выражение чувств, по-народному мудрой. Её жизнь достойна высокого уважения. Несомненно, что в создании образа Ильиничны, образа матери Бунчука, в самых задушевных штрихах этих психологических портретов отразилось личное, связанное с отношением её сына к ней. Она сумела внушить своему сыну святое преклонение перед материнством, перед матерями всех людей на земле...

Творчество Шолохова оказывает необычайно сильное и благотворное воздействие на деятелей литературы и искусства, велико его значение в развитии передовой культуры современности.

Встречи с самыми различными людьми во время заграничных поездок дают Михаилу Александровичу возможность воочию убедиться, сколько у него друзей во всём мире.

Разумеется, есть и не только друзья. Те «злобствующие враги за рубежом», о которых говорил Шолохов на Втором всесоюзном съезде писателей, враги советской культуры, советского строя,– конечно, и его непримиримые враги. Это противники политические.

Есть, разумеется, и такие деятели культуры, эстетические

позиции которых не совпадают с творческими концепциями Шолохова, писателя, чьи книги — бойцы за идеалы коммунизма, чьё художественное слово несёт людям правду жизни, понятую и осмысленную с позиций ленинской партийности. Немало существует приверженцев течений в литературе и искусстве, время от времени становящихся модными и связанных либо с уходом от жизни, от насущных проблем общественной борьбы, либо со стремлением к крайнему субъективизму, к искусству для «элиты», а не для народа.

Найдётся ли сейчас в мире писатель, чьё творчество было бы в такой мере наполнено любовью к человеку, как творчество Шолохова?

Конечно, это творчество, проникнутое сердечностью писателя, сердечностью его народа, не отвечает пристрастиям тех, кто увлечён вычерчиванием рационалистических схем, рафинированно-интеллектуальными экзерсисами, оригинальничаньем во что бы то ни стало, кто мудрость подменяет игрой ума, кто склонен был бы превратить искусство в своего рода мозговую эквилибристику, лишённую по возможности эмоций.

Писатель-реалист, да ещё апеллирующий к сердцу человека, как это несовременно! Это же XIX век...

Между тем именно эти качества Шолохова, умноженные его поразительным талантом и мастерством, несмотря на обилие модных извращений искусства, сделали его одним из «властителей дум» нынешнего человечества. Как свести одно с другим?

В той борьбе, которая идёт сейчас во всём мире между искусством реалистическим и антиреалистическим, оптимистическим и упадочным, человечным и античеловечным, творчество Шолохова — один из надёжнейших оплотов социалистического реализма и революционного гуманизма в искусстве.

О новаторстве. Что следует признать таковым: фокусы в области формы, попытки опровергнуть природу искусства, его сущность — его воздействие на сознание и чувства человека? Отказ от извечных его принципов? Или следует признать новаторством истинную философскую глубину, помогающую пробуждать в людях стремление ставить самые насущные вопросы, связанные с формированием передового мировоззрения, осмыслять своё место

в жизни, свой гражданский и человеческий долг, утверждать в самих себе морально-этические нормы, присущие строителю нового мира, борцу за этот новый мир?

Тем и велико творчество Шолохова, что оно, рождённое самой жизнью народа, могуче воздействует на людей, делая их лучше,– воспитывает в них прекрасное.

Все, кто раскрывает страницы шолоховских книг, кто задумывается о его творчестве и творческом подвиге,– заново и заново погружаются в светлый мир его образов, в мир суровой борьбы за высокие идеалы, проникаются силой утверждения прекрасного в жизни. Его произведения с такой удивительной силой пробуждают и воспитывают в людях «чувства добрые»!

Книги Шолохова — это открытое сердце народного художника, и они заставляют раскрываться в ответ миллионы сердец.

Друзья Шолохова во всём мире — это друзья нашего народа, друзья советского человека. Они видят в авторе «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека» не только чуткого знатока человеческой психологии, проникновенного художника, владеющего тайнами человеческой души,– они видят в нём учителя»,жизни.

Это гордое звание. Его удостаивались те, кто достиг вершин. Это великая честь и счастье.

СЛОВО ГУМАНИСТА

Можно ли отыскать на карте земного шара такую страну, где издаются книги, но где люди не знали бы творчества Шолохова?

Огромными по тамошним масштабам тиражами издавался и издаётся «Тихий Дон». В странах социализма «Поднятая целина» пользуется особой популярностью, она помогала там распознавать местных Островновых, Рваных, Половцевых, их тактику в борьбе, их психологию. Она помогала понять душу тех, кто, подобно Кондрату Майданникову, с болью, с сомнениями переходил на коллективную систему хозяйствования и кто впоследствии становился убеждённым борцом за новое, шёл впереди, ведя за собой массу.

Очень высоко оценили широкие круги читателей в самых разных странах рассказ «Судьба человека».

По книгам Шолохова, переводимым на иностранные языки, читатели составляют себе представление о советских людях, об их образе мыслей, их жизненных целях, об их деяниях и идеалах, о том, что такое советский человек, что такое советское общество. Эти произведения опрокидывают нагромождения лжи, возводимые реакционной прессой, открывают людям дотоле неведомый для них мир, в котором впервые на земле построена новая жизнь.

Где бы ни путешествовал Михаил Александрович, всюду его встречают с любовью — и в Чехословакии, и в Германской Демократической Республике, и во Франции, в Италии, в Англии, в Финляндии, в скандинавских странах... Широк круг людей, с которыми знакомится и беседует писатель. Это прозаики и поэты, журналисты и художники, учёные, общественные деятели и артисты, рабочие на заводах и фабриках, те, кто возделывает землю. Поездки эти становятся событиями, они широко освещаются в газетах и журналах, вызывают живое обсуждение, комментируются. Всё это радостные приметы культурного общения, укрепляющего взаимоотношения и взаимопонимание между народами.

Встречи находят своё продолжение на гостеприимной донской земле — в станице Вёшенской, дома у писателя, в Ростове-на-Дону, в поездках по области. То приедут с ответным визитом к Шолохову шведские писатели, то навестит своего друга финский писатель Мартти Ларни, то совершит путешествие из Англии на берега Дона Чарлз Сноу... Здесь прогрессивные писатели мира видят воочию то, о чём они узнавали из книг советских литераторов, видят земляков Григория Мелехова и Макара Нагульнова, видят нынешнее поколение советского казачества...

Как всё же допытаться до разгадки извечной тайны искусства? Как ответить на, может быть, очень наивный вопрос о мире, создаваемом художником, и мире, воспринимаемом зрителем, о посеве художественной истины и почве, в которую он падает?

Почему всё-таки до такой степени триумфально шествие шолоховских произведений по всему свету, почему так велики их тиражи повсюду, так высоки почести, отдаваемые их автору, так ощутимо сказывается влияние его книг на многих художников слова и на многие литературы, их

воздействие на духовный мир нашего современника? Почему столь характерны волнение, пробуждаемое в душах читателей героями этих книг и судьбами героев, глубокая, светлая любовь к писателю, создавшему эти образы?

Закономерность упомянутых здесь процессов и явлений, может быть, и не нуждается в анализе, обычно волей-неволей суховатом. Достаточно просто перечитать всенародно любимые «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Судьбу человека», вчитаться едва ли не в любую — на выбор — страницу, чтобы почувствовать это.

Однако есть же в произведении искусства нечто сокрытое, что ставит Григория и Аксинью, Андрея Соколова рядом с образами, созданными величайшими художниками всех времён и народов. И как знаменательно, что эти герои — люди из народа, труженики, с их многосложной судьбой и с их богатейшим внутренним миром, который завладевает вниманием читателя. А что касается Семёна Давыдова, Макара Нагульнова, того же Андрея Соколова, то это люди, выращенные Советской властью, воспитанные на идеях и идеалах нашего общества, скромные и героические строители этого общества, борцы за него, за будущее, достойное человека.

Известно, что наша культура является социалистической по содержанию, по главному направлению своего развития, многообразной по своим национальным формам и интернационалистской по своему духу и характеру. Творчеству Шолохова присущ именно эти благородные черты советской культуры, в содержании его творчества как бы сконцентрирована самая суть этой принципиально новой в художественном развитии человечества культуры.

Некоторые выступления писателя помогают осмыслить собственные наши читательские эмоции, привести в систему возникающие мысли о прочитанном, о значении, которое имеют полюбившиеся нам книги для путей передового искусства, для формирования духовного облика человека наших дней, для развития гуманистической культуры современности.

Среди шолоховской публицистики, среди его выступлений, где затрагиваются коренные проблемы искусства, есть одно не очень широко известное, между тем весьма важное для понимания природы его великого таланта, для уяснения взглядов писателя на содержание и смысл его

труда. Имеется в виду речь на нобелевских торжествах 1965 года.

Чрезвычайно весомо возвращение к высказанным тогда суждениям в речи писателя на XXIII съезде КПСС.

Пишущему эти строки посчастливилось присутствовать при произнесении речи в Стокгольмской ратуше, не только услышать её, прозвучавшую впервые, но и наблюдать впечатление, которое она произвела на аудиторию, на широкие круги передовой общественности за рубежом..

Приглашённым на торжество были розданы конверты с переводом речи лауреата по литературе. На конвертах значилась просьба — не вскрывать, пока оратор не начнёт свою речь. Поэтому восприятие речи сохраняло всю свежесть, и выслушали её с напряжённым вниманием.

Писатель говорил о том, что присуждение ему Нобелевской премии вызывает у него чувство удовлетворения не только как международное признание его профессиональных заслуг и особенностей, присущих ему как литератору; он гордится тем, что премия присуждена писателю русскому, советскому; он представляет здесь большой отряд писателей нашей родины.

Глубокий интерес — в первую очередь у литературной общественности — вызвал раздел речи, посвящённый судьбам романа в современной литературе, путям реализма в современном искусстве. Автор «Тихого Дона», «Поднятой целины» сказал, что премия, присуждённая ему, является ещё одним утверждением жанра романа. За последнее время ему нередко приходилось слышать и читать — удивлявшие его — выступления, в которых роман как форма объявлялся устаревшим, не отвечающим требованиям современности... Между тем именно роман, подчеркнул писатель, даёт возможность наиболее полно охватить мир действительности и спроецировать на художественном изображении своё отношение к ней, к её жгучим проблемам, отношение своих единомышленников.

Итак, в огромном зале Стокгольмской ратуши, к которому в тот момент было приковано внимание всего культурного мира, выступал перед широкой и весьма разноликой аудиторией новый лауреат Нобелевской премии по литературе. Всеобщий интерес усугублялся тем, что это писатель советский, автор -одного из крупнейших рома коп нашего времени, писатель-реалист, выдающийся представитель

литературы социалистического реализма. Он уже сказал о писателях своей родины, о дорогом для него жанре романа, который кое-кто готовился едва ли не хоронить. Естествен был переход к понятию и проблемам развития реализма.

Отметив, что роман, так сказать, наиболее предрасполагает к углублённому познанию окружающей нас огромной жизни, писатель саркастически отозвался о попытках некоторых литераторов представить собственное маленькое «я» центром мироздания. И ожидаемый переход последовал: писатель заключил своё рассуждение тем, что жанр романа — самый широкий плацдарм для художника-реалиста.

Шолохов решительно декларировал неприятие течений, которые отвергают реализм исходя из того, что он, реализм, будто бы отслужил своё. Сказал, что, не боясь упрёков в консерватизме, он придерживается противоположных взглядов, будучи убеждённым приверженцем реалистического искусства.

Столь же естественно возник разговор о движении, которое именовало себя литературным авангардом. Толкованию такого рода понятия, подразумевающему под ним моднейшие опыты преимущественно в области формы, Шолохов противопоставил убеждение! заслуживают быть названы подлинным литературным авангардом те художники, которые в своих произведениях раскрывают новое содержание, определяющие черты жизни нашего века.

И, возвращаясь к реализму как художественному направлению в целом и к реалистическому роману в частности, писатель напомнил, что они опираются на художественный опыт великих мастеров прошлого. Однако в своём развитии они приобрели существенно новые, глубоко современные черты. Писатель говорил о реализме, несущем в себе идею обновления жизни, переделки её на благо человеку,– о реализме социалистическом. Своеобразие социалистического реализма он видит в том, что это искусство выражает мировоззрение, которое не приемлет ни созерцательности, ни ухода от действительности, зовёт к борьбе за прогресс человечества, даёт возможность постигнуть цели борьбы, близкие миллионам людей, осветить им пути борьбы.

Уже на следующий день пресса цитировала такие места из этой речи, как, например: «Человечество не раздроблено

на сонм одиночек, индивидуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы земного притяжения. Мы живём на земле, подчиняемся земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения земли движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их, нежели разъединяющими». Некоторые газеты, любящие сенсационность, выражали не то изумление, не то восхищение: «Шолохов цитирует Евангелие!» Многие другие серьёзно задумывались над смыслом сказанного.

Действительно, как будто сегодня произнесено писателем его слово. Так же будет оно звучать и завтра.

Шолохов говорил о людях труда. Сказал, что принадлежит к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу. Отсюда, заметил он, следуют выводы, каким мыслится ему, советскому писателю, место художника в современном мире.

Человечество переживает сейчас неспокойные годы, продолжал Шолохов, но нет на земле народа, который хотел бы войны. Может ли не стучать в сердце писателя пепел необозримых пожарищ второй мировой войны? Может ли честный писатель не выступать против тех. кто хотел бы обречь человечество на самоуничтожение?

Писатель обращался к слушающим с вопросом: в чём же состоит призвание, каковы задачи художника, считающего себя не подобием безучастного к людским страданиям божества, вознесённого на Олимп над схваткой противоборствующих сил, а сыном своего народа, малой частицей человечества? И отвечал на этот вопрос: говорить с читателем честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную. Укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в собственную силу, способную построить это будущее. Быть борцом за мир во всём мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит. Объединять людей в их естественном и благородном стремлении к прогрессу.

Философскими размышлениями о путях современного искусства рождена краткая, ёмкая формула, содержащая

в себе точную эстетическую мысль, определяющую отношение к призванию художника. Это мысль о том, что искусство обладает могучей силой воздействия на ум и сердце человека и что художником имеет право называться тот, кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо человечеству.

С уважительным вниманием слушал зал слова автора «Тихого Дона» о его народе. И опять-таки за непосредственным, волнующим смыслом этих слов раскрывались страстные, близкие каждому открытому сердцу раздумья о судьбах современного мира, о прошлом, настоящем и будущем любого народа, всего человечества. Писатель вглядывался в исторические пути нашего народа, который шёл вперёд не по торной дороге, а путями первооткрывателей, пионеров жизни. Он говорил, что видел и видит свою задачу в том, чтобы всем, что написал и напишет, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять свою свободу и честь, право строить себе будущее по собственному выбору.

Аплодисментами была встречена речь выдающегося советского прозаика, содержащая в себе чёткое, энергичное изложение мыслей о судьбах мира и искусства, о высоком долге художника перед эпохой, перед человечеством и человеком. И опять-таки особо фиксировалось в отчётах газет и журналов заключение, подытоживающее её содержание и смысл:

«Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив».

Увиденное, услышанное, прочитанное в самых разных странах встаёт в памяти, когда мысленно восстанавливаешь положения, тональность этой речи. И на многие вопросы находишь в ней ответы. Но об этом рое впечатлений — чуть позже. А пока — ещё об одном выступлении писателя, непосредственно связанном с предшествующим.

«Наша страна, другие страны социализма стали в глазах миллионов людей труда различных наций, различных политических взглядов, различного цвета кожи оплотом надежды, оплотом веры в доброе и светлое будущее,– сказал М. А. Шолохов в своей речи на XXIII съезде КПСС.—

Всё, что мы строим, создаём, над чем работают наши рабочие, крестьяне, учёные, художники, на что вдохновляет нас наша партия,– всё это строится и создаётся для мира на земле, для торжества свободного труда, во имя идеалов демократии, социализма, братской дружбы и сотрудничества народов. Для человека. Для человечества.

И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима Горького: «С кем вы, «мастера культуры»?..» Подавляющее большинство советских писателей и прогрессивных писателей других стран ясно отвечает на этот вопрос своими произведениями.

О роли художника в общественной жизни мне приходилось беседовать с писателями, с корреспондентами газет и журналов на больших, представительных собраниях не раз. В частности, это заняло немалое место в моей речи в Стокгольмской ратуше во время нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там значительно отличалась от сегодняшней. И форма изложения моих мыслей была соответственно иной. Форма! Не содержание.

Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы говорим как коммунисты. Кому-то это может прийтись не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более того, именно это и уважают всюду. Где бы ни выступал советский человек, он должен выступать как советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы, советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья нашей великой родины, как граждане страны, строящей коммунистическое общество, как выразители революционно-гуманистических взглядов партии, народа, советского человека».

В письме, адресованном редакции журнала «Иностранная литература», Шолохов поднимал вопросы, которые он считает насущными: о международных культурных связях и широком обмене творческим опытом между советскими и зарубежными писателями; о том, что каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности и что из этих ценностей складывается духовное достояние человечества. Советский народ, говорилось в письме, стремится придать культурным связям с заграницей возможно больший размах, именно это желание руководило советскими людьми, когда Верховный Совет СССР принял известную декларацию, в которой подчёркивается необходимость укрепления международного

общения как важного фактора, содействующего нормализации международной обстановки. «Я был среди депутатов,– писал М. А. Шолохов,– и с радостью голосовал за эту декларацию».

Выделена в письме мысль — у писателей всего мира должен быть свой «круглый стол»: «У нас могут быть разные взгляды, но нас объединит одно: стремление быть полезным человеку».

МИРУ...

Слово гуманиста. Слово гуманизма. Слово революционного гуманизма. В соединении с могучим талантом такого художника, каков Шолохов, оно не может не волновать умы и сердца в самых разных концах света. Да об этом и написано уже очень много. Творчество Шолохова глубоко и тщательно изучается. Множество научных трудов посвящено исследованию его произведений.

Хочется в этой главке вести разговор лишь о том, чему сам был непосредственным свидетелем.

Прежде всего — о людях, с которыми довелось встретиться, о коллегах, литературоведах-славистах, в разное время обращавшихся к произведениям этого писателя.

Позволю себе лишь несколько беглых штрихов.

•

Вот международный симпозиум, проведённый в Лейпциге в 1965 году...

В мартовские дни того года жители Лейпцига, проходя по улицам Цёлльнерштрассе и Либигштрассе, видели на фронтонах зданий, в которых размещены институты Университета имени Карла Маркса, освещённые весенним солнцем флаги социалистических стран — ГДР, Болгарии, Польши, Советского Союза, Чехословакии, Югославии.

Флаги эти привело в один из древнейших центров немецкой культуры творчество Шолохова: в Лейпциге проходил международный симпозиум, посвящённый теме «Михаил Шолохов и мы».

Среди участников симпозиума советские литературоведы Лев Якименко, Александр Дементьев, немецкие учёные-слависты Вилли Байтц (Галле), Гарри Юнгер (Йена), Гюнтер Варм, Хельга Конрад, Роланд Опитц, Эрхард Хексельшнайдер (Лейпциг),

Надежда Людвиг, Эдель Мирова-Флорин (Берлин), болгарские шолоховеды Крыстё Генов, Христо Дудевски, Симеон Русакиев (София), чехословацкие филологи Ярослав Буриан (Брно), Мирослав Заградка (Оломоуц), югославские учёные Радован Лалич (Белград), Александр Флакер (Загреб), польский литературовед Збигнев Бараньски (Вроцлав) и многие другие.

Впервые была собрана столь представительная международная конференция учёных, занимающихся исследованием творчества Шолохова, конференция, работа которой послужила изучению вопроса о влиянии этого писателя на развитие передовой культуры современности.

В залах заседаний присутствовали деятели культуры, сотрудники издательств, работники библиотек, учителя.

Устроители конференции предполагали, что она поможет литературной науке и критике исследовать факторы могучего, плодотворного воздействия книг Шолохова на умы и сердца и содействовать ещё большему распространению и углублению этого воздействия. И действительно, в содержательных, интересных докладах, в живых дискуссиях рассматривались проблемы, связанные с проникновением в самую суть идейно-художественных принципов шолоховского творчества, в его философскую основу, в своеобразие мастерства писателя.

В большом докладе доктора филологии Л. Г. Якименко говорилось о Шолохове как о писателе-гуманисте, о некоторых характерных чертах его поэтики, был предложен опыт определения того нового, что вносит творчество Шолохова в развитие реализма на современном этапе. Профессор Гарри Юнгер выступил с докладом: «Шолохов и роман-эпопея в литературе социалистического реализма». Профессор Вилли Байтц разработал тему: «Михаил Шолохов и проблема «оригинальной» личности в социалистической литературе». Доктор Гюнтер Варм исследовал вопрос о продолжении и развитии в произведениях Шолохова горьковских традиций изображения человека. Профессор Радован Лалич сделал доклад о текстологическом изучении «Тихого Дона». Профессор Симеон Русакиев познакомил участников симпозиума со своими работами по разысканию прототипов некоторых персонажей «Тихого Дона», в частности рассказал о встречах и беседах с Павлом Кудиновым, бывшим руководителем Вёшенского

восстания, который под своим именем выведен в романе, и по исследованию способов художественной типизации характеров в этом романе.

Ряд докладов показал, каким огромным вкладом в культурное богатство народов социалистических стран является творчество выдающегося советского писателя, какой любовью и каким признанием пользуется оно повсюду.

Об интересных фактах сообщил доктор Крыстё Генов. Авторы мемуаров, повествующих о движении Сопротивления в Болгарии, пишут, что популярными именами из числа тех, которые избирали руководители групп Сопротивления в борьбе против фашизма, были имена шолоховских героев Бунчука и Штокмана. Доктор Христо Дудевски сделал сообщение о шолоховском юморе, о природе образа Щукаря в «Поднятой целине». Впоследствии Хр. Дудевски написал предисловие к изданию «Тихого Дона» на болгарском языке; книгу о творчестве Шолохова; работу, в которой на примере влияния шолоховских романов на развитие художественной культуры Болгарии исследуется вопрос о национальном и интернациональном в произведениях большого искусства...

Доктор Збигнев Бараньски рассказал об изданиях и восприятии романа «Тихий Дон» в Польше. Доктор Мирослав Заградка и доктор Ярослав Буриан поделились своими мыслями о концепции и стиле шолоховской прозы военных лет, об актуальности художественного мастерства автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины».

В работе симпозиума принял участие ряд молодых немецких учёных. С обстоятельными докладами выступили Хельга Конрад, Ганс Грюндлер и другие. Хельга Конрад сделала сообщение о характере изображения внутреннего мира героев в романе «Поднятая целина». Впоследствии она защитила диссертацию по творчеству Шолохова.

Симпозиум оказался превосходным средством обмена опытом, взаимной помощи в решении актуальных задач, стоящих перед литературоведением и литературной критикой. Научные его итоги оправдали все ожидания и превзошли их.

Однако этим не исчерпывается значение встречи такого числа видных деятелей литературной науки, съехавшихся из разных стран. Закрепились; а в ряде случаев установились, личные контакты. Наметились дальнейшие

пути сотрудничества, более тесные связи между университетами.

Творчество Шолохова всё время обращало мысли участников симпозиума к современной действительности, к задачам культурно-политическим. Оно живым примером говорит о служении народу, о месте мастеров культуры в общем строю борцов за лучшие идеалы человечества, за мир во всём мире.

В ряде выступлений давался отпор тенденциозным статьям некоторых реакционных критиков и журналистов, опубликованным в буржуазных изданиях.

Симпозиум перерос в нечто большее, нежели научная конференция. Здесь собрались учёные разных склонностей и индивидуальностей, представители различных областей науки, различных школ. Совместная работа выявила единство взглядов на актуальные задачи литературной науки, полное взаимопонимание при обсуждении коренных проблем современного развития социалистической культуры.

У читателя может возникнуть вопрос: чем объясняется, что местом проведения международной научной конференции такого масштаба и значения стала ГДР, и именно Лейпциг?

В Германской Демократической Республике хорошо знают и высоко ценят произведения Шолохова. У передовых людей Германии уже давно, ещё в начале тридцатых годов, широкой популярностью пользовались «Донские рассказы» и первые книги «Тихого Дона». После 1945 года произведения Шолохова стали в республике достоянием миллионов. «Поднятая целина» служила настольной книгой для тех, кто участвовал в социалистическом преобразовании крестьянской жизни. Рассказ «Судьба человека» прибавил автору множество новых друзей в ГДР. Немецких читателей, как и читателей в других странах, привлекает в книгах Шолохова бескомпромиссная правда, с которой изображены великий и трудный исторический путь советского народа, волнующие человеческие судьбы. В этой правде читатели видят выражение тесной связи художника с жизнью народа, глубокого знания действительности, проявление любви к людям труда, ради которых и для которых художник творит. Посещение Шолоховым Германской Демократической Республики ещё более сблизило его с широкими кругами немецких

читателей, с научной и художественной общественностью этой страны.

Сообщая об этом, газета «Нойес Дойчланд» в статье, опубликованной к открытию симпозиума, писала, что любовь к жизни, воплощённая во всестороннем мастерском изображении людей, природы, событий истории, сделала Шолохова подлинным учителем для ряда писателей. Высказывания Лиона Фейхтвангера, Вилли Бределя, Эрвина Штриттматтера, Бернхарда Зеегерса, Эрика Нойча характеризуют значение шолоховского творчества для социалистической литературы во всём мире. Жизнь Шолохова и его творчество, подчёркивает газета, раздвигают масштабы культурно-политических и литературных дискуссий нашего времени.

Лейпциг — один из городов, где многое говорит о великих традициях немецкой культуры. Памятники, мемориальные надписи, музейные реликвии рассказывают о днях, когда здесь жили Гёте и Шиллер, Бах и Вагнер, Лист и Шуман. Но не только с литературой и искусством связаны памятные места Лейпцига.

Здесь жива память о русском революционере Александре Радищеве. Удалось отыскать помещение, где в своё время работала подпольная типография большевистской «Искры». В эту типографию приходил В. И. Ленин, в ней были отпечатаны первые четыре номера «Искры». Теперь в домике оборудован музей. Музей имени Георгия Димитрова размещён в здании, где великий сын болгарского народа, будучи подсудимым на состряпанном гитлеровскими заправилами процессе против компартии Германии, выступил пламенным обвинителем фашизма.

К этим историческим и историко-культурным предпосылкам нельзя не присоединить упоминание о живых людях, о том энтузиазме и той энергии, которые вложил в сложную подготовку и организацию симпозиума коллектив отделения русской и советской литературы Славянского института Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Инициатива молодых учёных встретила поддержку у их старших коллег — руководителей института и университета.

Осуществилось полезное и благородное дело в строительстве социалистической культуры. О его значении, выходящем далеко за пределы литературы и науки о ней,

свидетельствовала та атмосфера дружбы и плодотворного сотрудничества, в которой проходили заседания.

Дух международного симпозиума, посвящённого Шолохову, удачно выразил в краткой и ёмкой формуле профессор Гарри Юнгер:

- Книги Шолохова — хорошие помощники тем, кто любит жизнь и мир.

•

...Прозрачный воздух ранней весны в «зелёном сердце Германии» — в горах Тюрингии. В Йену съехались студенты из всех наиболее крупных университетов ГДР — на студенческую конференцию, подводящую итоги большой работы, которая охватила высшие учебные заведения всей республики.

Конференция собралась, чтобы разработать и изучить тему: социалистический гуманизм в творчестве Шолохова.

Зал заполнен молодёжью. Председательствует студентка четвёртого курса. Обсуждаются тезисы, разработанные коллективно — тремя студентами, и вопросы, поставленные авторами тезисов. Тезисы были разосланы всем участникам. Разгораются споры, выступают студенты от первых до последних курсов. Ведут заседание, говорят на заседании только студенты. Они докладывают о работе, проделанной на семинарских занятиях, отвечают на вопросы, поставленные перед ними инициативной группой. Ораторы сменяют друг друга на трибуне, некоторые говорят прямо с места, дискуссия ведётся свободно, иные берут слово по нескольку раз, споры всё разгораются, всё больше вторгается в них сама жизнь.

Очень характерным было для этой конференции и очень волновало то, что ораторы прибегали к творчеству выдающегося советского писателя, к созданным им образам, к темам и сюжетам шолоховских произведений, к поднимаемым в них жизненным, философским проблемам для того, чтобы решать свои жизненные, философские проблемы, встающие перед ними как перед воспитанниками нового общества, будущими, уже завтрашними строителями социалистической культуры своей родины.

Эта конференция проводилась накануне лейпцигского симпозиума. Ей предшествовала подготовка на местах,

в семинарах. Наиболее активные участники конференции получили возможность присутствовать на симпозиуме в Лейпциге.

Хочется рассказать о конференции немецких студентов чуть подробнее. Она произвела глубокое впечатление. Её организаторы — преподаватели института проявили точное понимание задач образовательных и продуманный подход к проблемам педагогическим.

Авторы тезисов попытались изложить свою точку зрения на поставленные ими самими вопросы. Вопросы касаются широты охвата жизненного материала в произведениях Шолохова, актуальности выдвинутых в этих книгах проблем, их значения для современности, места Шолохова в мировой литературе наших дней, соотношения элементов исторического повествования и психологического анализа в романах и рассказах Шолохова, оценки вклада писателя в литературу, создающую образ положительного героя, воплощения принципов социалистического гуманизма в изображении действительности. Тезисы явились, как это и было задумано, лишь базой для развёртывания дискуссии.

Студенты не всегда стремились углубляться в проблемы художественно-эстетические, в сущность реализма Шолохова, в анализ его мастерства. В своих выступлениях некоторые ораторы отводили вопрос о конкретно-исторических обстоятельствах, в которых изображены герои, на второй план, а на первый — выступало обсуждение поступков и образа мыслей этих героев с точки зрения морально-этических требований наших дней.

Проводились параллели между шолоховскими образами и героями наиболее популярных сейчас немецких писателей. Дебатировались, к примеру, следующие вопросы: существует ли при социализме проблема трагического? Или: что делает героя положительным — его намерения и действия или же только действия? Последний вопрос возникал в связи с предлагаемыми трактовками образа Макара Нагульнова.

Как правило, от каждого из университетских семинаров выступал один докладчик. Но вот на трибуне оказались сразу две девушки. Они сообщили, что единство суждения в группе, которую они представляют, не выработано, мнения резко разделились и каждой из них поручено отстаивать точку зрения своих единомышленников.

Речь шла о таком сложном сюжетном узле, как взаимоотношения Григория Мелехова и Михаила Кошевого в финальных главах. А рассматривались эти взаимоотношения под углом зрения морально-этических требований, волнующих современную молодёжь, вступающую в самостоятельную жизнь: с одной стороны, возникал вопрос об ответственности коммуниста за судьбу человека, находящегося рядом с ним, с другой — об ответственности человека за выбор своего пути...

Радостно было наблюдать, как обращение к книгам Шолохова пробуждает в этих молодых людях стремление обсудить, не отрываясь от материала литературного, самые насущные для них вопросы, связанные с формированием мировоззрения, осмыслить своё место в жизни, свой гражданский долг, утвердить передовые морально-этические нормы, присущие строителю нового мира.

Многие из этих студентов готовили себя к профессии педагога. Да на каком бы поприще ни пришлось им впоследствии работать, они — те, кто ныне участвует в создании духовной культуры своей страны. Это полная жизненных сил, светло глядящая в мир молодёжь. Прекрасно то, что в воспитании её участвует творчество одного из самых человечных писателей, воплотившее в образах могучей силы идеи социалистического гуманизма.

•

Вот ещё неизгладимое воспоминание. Вместе с профессором Эберхардом Брюнингом и доктором Эрхардом Хексельшнайдером приезжаем мы на Дон, в родные края писателя. Немецкие учёные везут в донскую станицу писателю Шолохову диплом почётного доктора философии Лейпцигского университета имени Карда Маркса. Сильное впечатление производит на присутствующих при торжественном акте вручения диплома взволнованная речь профессора Брюнинга, а также слова присланного университетом приветственного адреса (laudatio):

«Ныне произведения Шолохова являются для наших людей, для нашей молодёжи, в том числе для студентов, неиссякаемым источником, из которого они черпают идеалы подлинной революционности, стойкой партийности, безупречной правдивости, глубокой человечности...»

•

...Мягкая, согретая Гольфстримом зима. По заливу, на берегу которого стоит королевский дворец, плавают лебеди, они зимуют здесь, не улетают в тропические страны. Кормятся возле причала у противоположного берега, встречают и провожают швартующиеся суда.

На этот раз необычен был рейс прибывшего из финского города Турку корабля «Свеа ярл». Корабль доставил в столицу Швеции нового лауреата Нобелевской премии по литературе — советского писателя Шолохова.

Традиционные торжества в Концертном зале, в ратуше, парадные приёмы, вечера, многолюдные сенсационные пресс-конференции, тёплые, сердечные беседы.

На приёме, устроенном издательством «Тиден», которое знакомило с книгами Шолохова шведских читателей, генеральный директор издательства Бенгт Кристел, приветствуя Шолохова, произнёс речь, в которой говорилось:

— Нам рассказали, что вы получили сообщение о присуждении вам Нобелевской премии по литературе, находясь на удачной охоте... Удачным выстрелом можно также назвать решение Шведской академии о присуждении вам Нобелевской премии по литературе 1965 года. Хотя академия долго вынашивала эту мысль и целилась бесконечно долго. Но теперь это, наконец, свершилось. Как говорят в Швеции, лучше поздно, чем никогда... Как ваши издатели, мы радуемся с вами — не только потому, что мы имеем возможность продавать ваши книги... Признание большого и правдивого реалистического искусства — вот что прежде всего радует нас сегодня.

Мотивировка премии автору «Тихого Дона» была сформулирована следующим образом: «За художественную силу и правдивость, с которыми он в своей донской эпопее изобразил историческую эпоху в жизни русского народа».

Представляя нобелевского лауреата по литературе 1965 года, председатель Нобелевского комитета Шведской академии доктор Андерс Эстерлинг в своей речи на торжественной церемонии в Концертном зале говорил о «Тихом Доне» как о произведении «во всех отношениях могущественном», о «грандиозном реализме», с которым изображён в романе быт казачества, о премии, пришедшей «поздно, но, к счастью, не слишком поздно», чтобы «пополнить перечень лауреатов Нобелевской премии

по литературе именем одного из наиболее выдающихся писателей современности». И, обращаясь к Шолохову, добавил: «Эта награда — дань справедливости и благодарности за ваш значительный вклад в советскую литературу, вклад так же хорошо известный в нашей стране, как и во всём мире».

И в более непринуждённой обстановке — на банкете в ратуше — доктор К. Р. Гиров, непременный секретарь Шведской академии по литературе, произносит речь, пользуясь разнообразными приёмами элоквенции, прибегая то к шутке, то к остроумному тропу, широко пользуясь метафорами. Любопытно заметить, что образность его спича в той части, которая была адресована лауреату по литературе, возникла на основе некоего недоразумения, неточности, видимо, при переводе русского текста из газетной заметки. Однако этот неточный перевод послужил опорой для ораторского искусства доктора Гирова.

- Господин Шолохов,– сказал доктор Гиров,– когда вам присудили Нобелевскую премию, вы занимались охотой на Урале и, по сообщению московской газеты, именно в день присуждения подстрелили одним (!) далёким выстрелом двух диких гусей... Но если мы прославляем вас сегодня как сверхметкого стрелка среди нобелевских лауреатов текущего года, то это оттого, что разговор о таких метких попаданиях имеет отношение к вашему творчеству.

Такое эпическое произведение, как ваше, могло быть написано с огромным размахом, с широким кругозором, с бурным, но величественным потоком эпизодов и фигур, с уверенным мастерством решения темы,– и уже в силу всего этого оно стало бы шедевром, который никогда не будет забыт. Его можно пронизать живым ощущением драматической обстановки, острым взглядом на каждую подробность, имеющую художественное значение, страстным сочувствием судьбе человека,– *т* всё это сделало бы его произведением, всегда любимым. Соединение же обеих возможностей является приметой гения, вашего гения. Это бывает столь же нечасто, как сразу две птицы на линии прицела. Вы подстрелили обеих одним выстрелом.

Ваше грандиозное повествование о старом режиме, отчаянно отстаивавшем свои пошатнувшиеся позиции, и о новом режиме, так же отчаянно сражающемся за каждую пропитанную кровью пядь земли, всё время ставит вопрос: что правит миром? Оно даёт и

ответ: сердце. Сердце человека, с его любовью и жестокостью, горем, надеждами, отчаянием, унижением и гордостью. Сердце человека, являющееся истинным полем битвы всех побед и поражений, которые выпадают на долю нашего мира. Таким образом, ваше искусство перешагивает все рубежи, и мы принимаем его к нашему сердцу с глубокой благодарностью...

В обязанности лауреата Нобелевской премии по литературе входит одна — очень своеобразная. Он должен «короновать» героиню праздника «Люсии» этого года. Об этой традиции рассказал Михаилу Александровичу посол Швеции ещё в Москве.

Кто такая Люсия и что такое её праздник? Речь идёт об очень любопытном обычае, восходящем, по всему вероятию, к древности, к временам языческим. Потом обычай получил окраску, привнесённую католической церковью. А теперь приобрёл совсем своеобразный характер.

Праздник называется праздником Люсии, или праздником Света. Да латинское слово lux, lucis и означает свет. По католическому календарю 13 декабря — день святой Лючии (Люсии). Однако в справочнике по религиозным и гражданским праздникам шведского календаря содержится примечательное напоминание о том, что ночь на 13 декабря самая длинная и самая тёмная в году. Что значило для северного народа окончание зимних долгих ночей, первый поворот к солнцу, начало, самое хотя бы начало, прихода светлых дней, света, обещание возвращения тепла, которое оживит леса и поля... И праздник Света встречают в ранние часы утра. Является к людям девушка, одетая в белое платье, несёт на блюде нехитрые яства и обязательную чашечку кофе для каждого. Делалось так очень давно, когда и электричества не было. Нужно было освещение в тёмный ещё час. У девушки на голове — подобие короны с зажжёнными свечами... Своя «Люсия» бывает в каждом доме, на предприятии, в учреждении, в гостинице и т. д. А журналисты выбирают по турам, по этапам «Люсию» всей страны, так сказать — «мисс Люсию». Но это вовсе не равнозначно «мисс Швеции». Не красота и не пропорции тела предопределяют тут выбор. Есть некоторые обязательные нормы иного порядка: возраст, семейные устои и т. п.

Шолохову предстояло короновать Люсию-65: девятнадцатилетнюю рыбачку, выросшую в семье рыбаков, Монику Ларссон. В той

же самой ратуше, где проходили основные нобелевские торжества, состоялась и эта традиционная часть праздника – очень задушевная, трогательная церемония. В тёмном зале вспыхивает свет в одной за другой нишах-балконах, находящихся на уровне второго этажа, и там оказываются претендентки на звание «Люсии», дошедшие до последнего этапа. Их девять. Это её «подруги», её свита. Затем освещается центральная ниша, звучат фанфары, и – сопровождаемая несущими каждая по зажжённой свече «Люсиями» из Италии, Франции, Бельгии и других стран – показывается главная виновница торжества. У каждой «Люсии» – алый пояс и через плечо алая лента. Наконец, появляется на балконе лауреат по литературе.

Вот как описывала газета «Стокгольмс-Тиднинген» ход церемонии:

«...Погас свет. В ратуше воцарилась тишина. Михаил Шолохов взял с красной бархатной подушки корону со свечами и надел её осторожно на голову Люсии Ларссон.

В это мгновение они стояли перед публикой рядом...

Это была секундная пауза, мимолётное мгновение. Но оно не могло не подействовать на нас, тех, кто стоял внизу, в Голубом зале.

Мы вспомнили слова Люсии, когда она рассказывала в редакции о себе, о своей работе:

– Может быть, стоило бы поехать в Россию на несколько лет. Там ведь не считается странным, когда женщины работают, как я.

...Люсия поблагодарила Шолохова на чудесном, слегка заикающемся русском языке:

– Господин Шолохов, я очень рада и благодарна вам за доброе внимание! Спасибо!

Шолохов ответил крепким русским поцелуем в щёку. Публика громко аплодировала.

Впрочем, этому поцелую предшествовала маленькая, но характерная беседа, характерная в том смысле, что она раскрывает добрую и смешливую натуру Шолохова.

Устроители спросили писателя заранее, что он предпочитает: поцеловать Люсии руку или поцеловать её в щёку.

Подумав, Шолохов задал вопрос:

– Ну, а что сделали бы вы сами?

– Конечно, мы не довольствовались бы только рукой,– последовал ответ.

— Вот как,– сказал писатель,– почему же вы думаете, что я удовольствуюсь этим?

Так же характерно было для невысокого, широкоплечего Шолохова и то, что он, совершенно несознательно и смущаясь, вытер губы после поцелуя.

Публика аплодировала.

Шолохов смутился ещё больше и слегка покраснел. И этому публика зааплодировала ещё больше. Многие восторженно улыбались. Ведь это было так человечно в большом, всемирно известном писателе...»

Газета полностью привела приветственные слова Шолохова, обращённые к Люсии:

— Я очень рад тому, что мне во время моего краткого пребывания в Стокгольме предоставилась возможность короновать такую красивую Люсию. Мне уже довелось однажды раньше присутствовать на празднике Люсии. Но это было так давно, когда вас ещё не было на свете. Сердечно поздравляю вас, желаю счастья, здоровья и успехов в жизни.

Дни, проведённые Шолоховым в Швеции, представляли собою сплошную череду тёплых встреч, бесед с представителями самых различных кругов шведской общественности. Одни шли по плану «нобелевской недели», другие возникали сами собою. Писатель встречался с членами Шведской академии, со своими коллегами по профессии, с журналистами.

Газеты публиковали фоторепортажи, портреты писателя, отчёты о каждом дне его пребывания здесь. А любой из этих дней был отмечен тем или иным событием.

Вот что писали газеты:

«Тот факт, что Нобелевскую премию по литературе получил в этом году русский, привёл к тому, что интерес к нобелевским торжествам значительно повысился в странах, входящих в систему телевизионных передач «Евровидение». В последние годы они в целом уделяли мало внимания этому событию. А на этот раз трансляция будет производиться на 13 стран, включая Швецию. Прямая передача — целиком или частично — организована на Советский Союз, ГДР, Польшу, Венгрию, Югославию, Финляндию, Норвегию, Данию, Западную Германию, Бельгию, Францию и Австрию. Кроме того, фильмы будут отправлены в США, Японию и другие страны».
Газетные заголовки: «Лучший пропагандист Советского Союза»,

«Лучшего пропагандиста СССР себе выдумать не мог», «Шолохов — коммунист класса люкс»...

Исключительно тёплой была атмосфера в зале, где собралось множество людей на приём, устроенный Обществом шведско-советской дружбы. Михаил Александрович в сердечном, остроумном слове поделился шведскими впечатлениями, рассказал о встречах, беседах... Он вручил двум школьницам — победительницам в конкурсе на лучшее сочинение о Советском Союзе — дипломы общества, дающие право на стипендию для поездки в СССР. Пришла и сюда своя «Люсия» — девчушка лет шести-семи. Она и её небольшая свита — девочки и мальчики, все в белых рубашонках до пят,– несли в руках свечи. Свет в зале был • на время этого шествия погашен. Детишки спели писателю неаполитанскую песшо «Сайта Лючия».

Трогательным был и другой момент — когда мы все, сидевшие за столами, весь зал, тоже пели хором, тоже при теплящихся свечах, читая слова по розданным нам листкам. Слова сочинил один из организаторов вечера. Песня называлась: «В стиле здравицы почётному" гостю» («Till en skal för hedersgästen»). В песпе пелось о сыне степей, написавшем замечательные книги, о его народе, освободившем свою землю от вторгнувшихся нацистских банд. Были при этом зарифмованы названия главных произведений Шолохова. А как разучили мы мелодию? Её и разучивать не пришлось. Самое забавное состояло в том, что на листке значилось: «Mel: Stenka Razin» — «Мелодия: Стенька Разин». И вот, под высокими тёмными сводами зала, где погасили холодное электричество, в мерцании множества живых огоньков свечей на столах, зал дружно пел песню о донском казаке — но с новыми, добрыми и наивными словами. Она кончалась здравицей:

...när vi hyllar pa var fest
Michail Alexandrövitj
Sjolochov, var hedersgäst!..

А посреди всего этого — встречи с племенем младым и совсем незнакомым: со шведскими студентами в Стокгольме и старом университетском городе Упсала.

Более восьмисот студентов пришли на встречи с писателем в городе Упсала, которые состоялись в Славянском институте и университете. Студенты и преподаватели проявили огромный интерес к беседам с Шолоховым. Было – задано множество вопросов, на

которые писатель отвечал в живой, непринуждённой форме. Участников встречи интересовала история создания романа «Тихий Дон», задавались вопросы, связанные с его текстологией, о творческих планах романиста, о его отношении к экранизации его произведений и к их воплощению на оперной сцене, о прототипах шолоховских героев. Спрашивали о том, какие прозаики оказывали наибольшее влияние на автора «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Донских рассказов», кого из писателей прошлого и современных он ценит выше всех, как он относится к советской литературной молодёжи, каких шведских писателей любят читать в Советском Союзе.

Попадались и такие вопросы: может ли советский писатель критиковать порядки в своей стране? Не является ли Союз советских писателей коллективным членом КПСС? Издаётся ли в Советском Союзе порнография?..

Но желание узнать как можно больше о самом писателе, о его отношении к жизни, к искусству, из его уст услышать о Советской стране, о порядках в нашем обществе, о советских людях — вот что оказалось главенствующим в очень пёстрых по содержанию, сыпавшихся один за другим вопросах.

Ясные, чёткие, порою окрашенные присущим Шолохову мягким юмором ответы писателя встречались аплодисментами. Сразу возникла и установилась атмосфера откровенности, доверия, взаимного уважения. Писатель и здесь завоевал сердца собеседников.

•

— Не только по долгу службы, как секретарь Союза писателей по работе с молодыми, но и по велению души пришёл я на эту встречу с вами...

Так начал свою, речь Михаил Александрович, обращаясь к тем, кто собрался в Доме политического просвещения в Ростове-на-Дону 2 июля 1969 года.

Кто же был в зале? Члены болгаро-советского клуба молодой творческой интеллигенции, проводившие очередное заседание под девизом: «Ответственность художника перед историей и пародом». В заседании участвовали болгарские и советские молодые писатели и журналисты, актёры и режиссёры, художники и скульпторы, историки,

архитекторы, музыканты, а также гости клуба, приглашённые из Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии.

Михаил Александрович сказал, что встреча с молодыми его коллегами доставляет удовольствие прежде всего ему, давая возможность прикоснуться к младости, к её размышлениям, подумать вместе с нею об ответственности писателя перед обществом. Он говорил о роли художника в общественной жизни в обстановке острой идеологической борьбы, о призвании, о долге. Рассказал, какие явления в литературной жизни его тревожат, какие внушают твёрдую уверенность в будущем литературы партийной, служащей народу, воспитывающей патриотов и интернационалистов, помогающей строить коммунизм. Он осудил либеральное отношение ко всему тому в литературе, что способно оказывать растлевающее влияние на молодёжь, говорил о здоровых, свежих молодых голосах, которые слышны и в поэзии и в прозе. Он напоминал об актуально звучащем обращении Максима Горького: «С кем вы, «мастера культуры»?..» Говорил он и о пользе, которую приносят художнику доброжелательные, хотя; и взыскательные, советы, коллективные обсуждения; о необходимости для писателя высокой меры требовательности к себе, к своему мастерству; рассказал при этом о некоторых эпизодах, связанных с его работой над романами «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину». Неоднократно подчёркивал он, что обращается к молодёжи не с нравоучениями, не с поучениями, а, выслушивая их мысли, делится своими раздумьями.

Остались также в памяти горячие слова известного болгарского поэта Любомира Левчева, участника этой встречи:

– Самое важное в нашем заседании — встреча с вами. Это его венец. Ваши книги воспитали и воспитывают поколения коммунистов, поколения комсомольцев, поколения борцов. У вас учились мастерству самые большие болгарские писатели. Некоторые из них погибли в борьбе за нашу свободу, другие посвятили всю свою жизнь строительству социализма в нашей стране, третьи работают и сейчас, учась у вас. В Болгарии есть эпическое сказание о «тысяче волшебных источников», которые слепым дают зрение, бойцам — силу, чтобы одержать победу. Мы стремились к этой встрече с вами – как к такому источнику, чтобы почерпнуть силы для наших будущих дел. А перед нами, по всему видно,

будущее поставит большие задачи. От нас потребуются хотя бы частицы шолоховской окрылённой правды, шолоховского таланта.

В том же ключе проходили беседы писателя с группой молодых прозаиков и поэтов социалистических стран и Советского Союза в июне 1967 года в станице Вёшенской. Вместе с молодыми коллегами размышляя о современной литературе, о её неразрывной связи с жизнью общества, о главных вопросах литературного развития в наше время, о моральном облике художника и о его долге перед народом, писатель говорил о творческой молодёжи как о надежде нашей литературы, о том, как важно укреплять творческую дружбу между молодыми и ветеранами. Он призывал нашу литературную молодёжь постоянно следовать лучшим традициям советской литературы, быть непримиримыми к проявлениям буржуазной идеологии, говорил о всё более возрастающей ответственности художника перед обществом, о преданности советского писателя интересам партии, интересам народа.

В непринуждённом обмене мнениями по ряду творческих проблем зашёл разговор, в частности, о праве писателя на ошибку. Михаил Александрович особенное внимание сосредоточил на этой проблеме.

– Мне кажется,– сказал он,– нам, писателям, независимо от ранга, от возраста нельзя ставить себя в привилегированное положение. Насчёт «свободы ошибок»: хорошо ошибаться колхозному бригадиру, его поправит председатель. Это ошибка локального характера, ошибка, которая не принесёт вреда другим. Писатель, ошибающийся в своём напечатанном произведении, заставит ошибаться тысячи читателей. Вот в чём опасность нашей профессии. Свобода духа, свобода творчества — это хорошо с одной стороны. Но, ради бога, давайте аккуратней насчёт ошибок! Каждого из нас читают, у каждого из нас если не «глобальный читатель», как кто-то здесь выразился, то определённо — тысячи внимательнейших и придирчивых читателей. И есть мятущиеся духом не только в среде писателей,– и ошибка, если она тем паче серьёзная, даже ошибка выстраданная, в какой-то мере оправданная для отдельного индивидуума, повлечёт за собой тысячи ошибок в тысячах судеб, в тысячах мировоззрений других людей. Пожалуй, даже хирург может, если говорить о моральном праве на ошибку, иметь такое право, когда он делает операцию: страдает одни человек.

Когда же мы оперируем определёнными материалами и ошибаемся и когда это получает широкое звучание, такая ошибка, повторяю, в тысячу раз опаснее. Надо осторожней на поворотах, и порою стоит «придавить» свой мятущийся дух, чтобы не навредить другим.

Существенной чертой всех — многочисленных и разнообразных — встреч писателя с молодёжью является то, что он с охотою и заботой стремится использовать возможность обращения к своим юным читателям не только посредством книг, а непосредственно, впрямую, в тесном, личном общении.

На эти встречи с писателем приходят, приезжают, прилетают вместе с молодыми литераторами, рабочими, колхозниками, воинами, учёными люди самых различных профессий, например наши прославленные лётчики-космонавты. Побывали на Дону, у Михаила Александровича, Юрий Гагарин, Борис Волынов и многие другие достойные воспитанники Ленинского комсомола...

Шолохов очень не любит назидательных лекций, академического или поучающего тона, обычно предпочитает отвечать на поставленные перед ним вопросы, вызывает обмен живыми репликами. Форму монолога он сохраняет, как правило, для выступлений печатных — очерка, публицистической статьи, пли же для речи перед обширной аудиторией, когда время оратора строго регламентировано.

•

Май 1966 года. Поездка в Японию. Путь лежит через Хабаровск и Находку.

Необычность путешествия сказалась и на самых первых его этапах.

Вылет предстоял вечером. Некоторые из нас с утра заканчивали предотъездные хлопоты, которые обычно остаются на последний день. Другая, более беспечная часть делегации собралась дома у Шолоховых перед тем, как отправиться укладывать вещи в чемоданы. Тут-то мы и прочитали в «Литературной газете» заметку о том, что М. А. Шолохов с семьёй, а. также те, кто сопровождает их в поездке... уже вылетели в Японию. Получилось нечто подобное завязке одного старого американского фильма,

герою которого попал в руки завтрашний номер газеты. Перемещения во времени уже начались.

С утра было жарко. Парило. После полудня за крышами, очерчивающими городской горизонт, заметно стали сгущаться тяжёлые облака. Состоится ли вылет? Поэт завещал нам любить грозу в начале мая, но не заставит ли она отменить сегодня отправку самолёта? Тогда можно и опоздать на пароход, отчаливающий из порта Находка.

В этих условиях газетная заметка пришла к нам как доброе предзнаменование. Значит, полетим. Газете всегда виднее. Надо признаться, укрепляло нас в этой уверенности и то, что нам были известны мощь и отличные лётные качества самолёта, на котором нам предстояло лететь.

Когда приближался час, обозначенный в наших билетах, и мы подъезжали к аэродрому, небо впереди было закрыто тёмным, плотным грозовым фронтом. Резали эту тьму молнии, полыхавшие одна за другой, гром вовсе не резвился и не играл, а грохал с исступлением фанатика или нехорошего соседского мальчика, дубасящего в пустое ведро, не давая себе отдохнуть. Но твёрдая вера в силу и действенность печатного слова не оставляла нас.

Могучий самолёт поднялся в назначенный срок — минута в минуту. Факты показали, что газета и мы оказались правы.

Вот уже и промчались мы высоко и далеко, миновав казавшуюся необозримой грозу, и над крыльями и под крыльями распростёрся светлый вечер.

Долог рейс от Москвы до Хабаровска — даже в современном скоростном самолёте. Летишь около девяти часов. А ночь, в которую, если судить по московским часам, происходил полёт, оказалась на удивление коротка: ведь мы летели на машине времени, только чуть-чуть не обгоняя его. Ночь стремительно надвинулась и промелькнула, мы отдали ей всего два часа. И началось утро. Уже в его свете потянулась внизу просыпающаяся тайга. Яркие лучи солнца сделали слепящими нетронутые снега Станового хребта.

Самолёт снижался. Пилот закладывал машину в виражи, и к нам косо поднималась то слева, то справа гигантская мозаика — земля, во всю ширину густо испещрённая белыми, жёлтыми, голубыми протоками, поймами, озёрами, изобильно напоённая водами Амура. Трудно писать путевые заметки. Как-то неловко обращаться

к людям с рассказом о том, чти многие из низе и сами наблюдали или о чём не однажды читали в гораздо более ярких и точных описаниях. А всё-таки хочется пригласить читателя с собою в мысленное путешествие, вместе с ним смотреть на то, что встречалось в пути, дать ему, пусть не впервые, снова увидеть то, что видел сам. Как будто в первый раз.

Да и не все, наверно, знают, скажем, о таком интересном человеке, как Всеволод Петрович Сысоев — известный в тех краях тигролов и учёный, с которым нас познакомили в Хабаровске. Смотришь на этого рослого бородача с внимательными глазами, взгляд которых умеет быть и добрым и острым, с неторопливой, спокойной повадкой и с любопытством выспрашиваешь у окружающих подробности легенд-былей, связанных с его именем. Достаточно было бы рассказать о том, как он ловит живыми тигров в тайге. Но на его счету и больше сотни медведей, а среди них здесь встречаются очень крупные экземпляры, свидание с которыми в неприятных для них обстоятельствах чрезвычайно опасно не только для человека, но и для тигра. Читаешь книги Всеволода Петровича, и открывается страстная преданность этого человека любимому делу, живая его любовь к дальневосточной природе. Слушаешь его и узнаёшь другую сторону этой цельной натуры. Это человек широкой образованности и глубоких знаний. Есть в Хабаровске замечательный краеведческий музей, основал его и был его директором знаменитый В. К. Арсеньев. Там и по сей день стоит стол, за которым работал автор книги о Дерсу Узала, непревзойдённый знаток дальневосточного края. Пост директора этого музея принял от Арсеньева Всеволод Петрович Сысоев.

В Хабаровске давно сформировалась сильная писательская организация, издаётся серьёзно поставленный, обладающий устойчивыми традициями журнал «Дальний Восток». В Доме политического просвещения была устроена встреча Шолохова с местными писателями и журналистами, с общественностью города. Собравшихся интересовала цель поездки Михаила Александровича в Японию, они спрашивали, что ему хотелось бы увидеть прежде всего в этой стране.

Михаил Александрович рассказал, что едет в Японию по приглашению Японской ассоциации литераторов, лиц, осуществлявших издание его книг в Японии. Цель поездки — знакомство с японскими писателями, с литературной и культурной жизнью

страны. Ему хотелось бы также посмотреть, как ведётся там сельское хозяйство.

В живой беседе о литературе, о писателях были затронуты многие вопросы. Примечателен ответ относительно работы над рассказом «Судьба человека»: рассказ основан на действительном событии. Форма повествования от первого лица наиболее трудна. После больших эпических произведений хотелось попробовать, силён ли в короткой форме.

– Каковы впечатления о городе Хабаровске?

— Первое впечатление — замечательный город, молодой, весёлый.

Выступающие благодарят писателя за речь на XXIII съезде КПСС в защиту природы.

— Вот сказали бы вы слово в защиту нашего любимого Амура!..

— Амурцы — народ зубастый. Попробуйте сами защитить свою реку!

Внезапный вопрос:

— Как вы относитесь к творчеству Паустовского?

— Я люблю его книги. У Паустовского звонкий, хороший язык.

– Какие произведения советской литературы последних лет вы считаете лучшими?

Следует шутливый ответ:

— На коварные вопросы разрешите не отвечать! Зачем вы меня ссорите с писателями?

Аудитория встречает шутку одобрительным смехом.

- Кого считаете вы своим учителем в литературе?

- А у меня их много, как у всякого школьника... Старался учиться у хороших.

- Какие задачи стоят перед советскими романистами?

- Писать хорошие романы.

Писателя душевно благодарят за беседу, желают ему доброго пути.

Из Хабаровска — поездом в Находку. По тайге, мимо сопок... Из края, где на каждом шагу как бы соседствуют север с югом, во влажное субтропическое Приморье.

Там ожидала пересадка на теплоход «Байкал», прощание на двое суток с земной твердью, на двадцать два дня — с родиной.

Забегая вперёд, расскажу, что на обратном пути

летучая машина времени снова продемонстрировала нам свои возможности. Далеко-далеко от Хабаровска провожал нас оставшийся *с* нами в этот раз на всё время полёта такой же светлый, как и в первый день путешествия, майский вечер. Тут сначала написалось было слово «долгий», но, пожалуй, вернее — «длинный». Если мы продвигались не только в пространстве, но и во времени, то и он растянулся не только на долгие часы, но и в длину, по земле. Он летел впереди нас, и только за Уралом мы догнали его.

Что же увидели мы в промежутке между короткой ночью и длинным вечером, отчалив от берега в бухте Находка?

...Время, казалось, остановилось, когда мы очутились на борту корабля. В нашем движении произошло крутое переключение скоростей. Медленно уплывали сначала в сторону, потом назад — причал, высящиеся из воды фиолетовые конусы скал, внушительный док, воспоминания о рыбалке и вкуснейшей ухе на берегу Амура, сердечных проводах на хабаровском вокзале и в находкинском порту... Мимо проходили направляющиеся в порт корабли. Потом осталось высокое солнце, широкое небо и такая же широкая незнакомая вода. И упругий, рвущийся навстречу ветер. То повисающий над водяной ямой, то шлёпающийся на подставленную ему спину волны вытянутый далеко вперёд нос белого корабля. Пенистый, разбегающийся бурунами след позади. Вода становилась всё синее. Японское море, наверное, самое синее из всех, что приходилось видеть.

Только на следующее утро низкими бурыми облаками, лёгшими на край синей воды, завиднелся справа северный берег острова Хонсю. Мы шли по Сангарскому проливу, разделяющему два самых крупных японских острова – Хонсю и Хоккайдо. Вода запестрела множеством судов. В голубом воздухе, как бумажные голуби, раскинув острые крылья, скользили чайки. Едва ли не чиркая по гребням волн, проносились внизу густые стайки каких-то кругленьких пичуг.

Выйдя из пролива, повернули направо, к югу. Берег то исчезал, то появлялся опять — наш корабль шёл по прямой, оставляя в стороне извилистые контуры заливов. Длиннейшими, высокими, ровными грядами катились и катились уже совсем другие, океанские волны. Они вскипали барашками. И вода здесь была другая, утратила яркую окраску. И ветер настойчиво напоминал,

что мы в океане. Под горячим, нависшим надо всем солнцем он набрасывался яростными атаками, как боксёр, оглушал шквалами ударов, сбивал дыхание и после мгновенной передышки, словно вырвавшись откуда-то, снова оголтело, с хлопающим звуком бил, бил в лицо, заплетаясь в корабельных снастях, истошно выл и устрашающе свистел. С ним интересно было играть, поскольку он не переходил границ в своём буйстве.

Стали появляться самолёты — японские, американские. Некоторые описывали круги, проходя над кораблём по нескольку раз. Один кружил так упорно и проносился так низко, что весело настроенные пассажиры улеглись на открытой палубе, образовав из своих тел посадочное «Т». Тогда из самолёта помахали руками, и он улетел.

На другое утро под тем же ясным солнцем и небом разбушевался небольшой шторм. Но мы уже подходили к широченным воротам Токийского залива, за сутки проплыв почти вдоль всего восточного берега острова Хонсю, вытянувшегося с севера на юг. На гористом зелёном берегу уже можно было различить строения, дороги, виднелись заросшие лесом прибрежные островки. Зелёные гряды гор высились одна позади другой параллельно линии берега, будто череда нахлынувших туда и какой-то силой остановленных гигантских валов океанского прибоя.

В заливе и в Иокогамской бухте на воде непрестанное движение: танкеры, огромные сухогрузы с громоздкими башнями-кранами — словно переходит с места на место по морю, аки по суху, строящийся дом, пассажирские лайнеры из разных стран, уходящие на промысел в северные широты коренастые «китобои», самоходные баржи, быстрые, изворотливые катера, похожие на кухонные ножи военные корабли.

Наш «Байкал» стал на рейде.

Читатель, может быть, простит относительно подробный рассказ о морской части путешествия. Дело в том, что такой вид пассажирского сообщения с Японией скоро, возможно, в значительной мере отойдёт в прошлое. Когда мы собирались в дорогу, мы уже знали, что налаживалась договорённость об установлении прямых воздушных рейсов. И думали, что если бы несколько отложили поездку, могли бы значительно сократить время в пути. Обстоятельства не давали нам возможности дожидаться более современного маршрута.

Когда же мы вкусили все прелести плавания по морю и океану, причём тайфуны обошли нас стороной, мы были очень рады, что успели воспользоваться романтическим способом передвижения.

Надолго запомнится слепящая под солнцем белизна и сочная синева. Белый наш корабль «Байкал», синее небо, синяя просторная вода, белые гребни на волнах. Белые буруны разбегаются перед носом катеров, мчащихся к кораблю, режущих пляшущую суматоху неспокойной воды. Корабль ещё стоит на иокогамском рейде; на катерах, обгоняя полицейских и таможенников, спешат журналисты. Они машут руками, приветствуя впервые прибывшего сюда, к берегу Тихого океана, с берегов тихого Дона знаменитого советского писателя.

Смело прыгают люди с рокочущих катеров на висячий трап, ловко взбираются наверх. Два-три катера с ворчанием уходят обратно: безопасно подойти к борту большого корабля пробившиеся в бухту штормовые волны так и не дали. Большинство желавших всё же сумело достигнуть цели — подняться на высокую палубу.

Японцы в быту очень вежливы, журналисты отнюдь не представляют собою исключения из общего неукоснительного правила. Деликатно спрашивают они, не встретит ли у Шолохова возражения их просьба устроить импровизированную пресс-конференцию прямо на палубе: теплоход ещё не скоро подойдёт к причалу. Писателя извещают, что здесь собрались сотрудники крупнейших газет страны, репортёры радио и телевидения.

Согласие, разумеется, было дано, и журналисты расположились тесным полукругом, во всеоружии своего профессионального снаряжения — с блокнотами, ручками, фотоаппаратами, блицами, кинокамерами, магнитофонами.

Самое первое знакомство, самые первые вопросы, первые вспышки фотоаппаратов, стрекочущие очереди кинокамер. Репортажи передавались в редакции с палубы, отсюда: по радиотелефону. Автографы, автографы, автографы... Так началось, так продолжалось во всё время поездки по стране.

Ещё до приезда писателя газеты, журналы публиковали статьи, в которых рассказывалось о его жизни, о его книгах. Теперь репортёры хотели бы узнать о творческих планах Шолохова на ближайшее будущее, что пишет он сейчас, какую примерно часть романа «Они сражались за Родину» составляют уже

известные читателю главы. Корреспондентов интересует, в ком из великих писателей прошлого видит Шолохов своих учителей, чьи традиции он наследует. Вопросы самые разные, они касаются и прошедшего, и настоящего, и будущего. Так, например, писателя спрашивают, кого из молодых прозаиков и поэтов в нашей стране он считает наиболее талантливыми, с какими именами связывает надежды на завтрашний день советской литературы и как он мог бы охарактеризовать её общее нынешнее состояние. Могут ли репортёры сообщить своим читателям и слушателям названия произведений японских писателей, которые он считал бы возможным отметить среди тех, что ему известны? И наконец — о его пожеланиях в связи с приездом в Японию: какие города, какие места страны он намерен посетить, с кем предполагает встретиться, какие стороны японской жизни представляют для него наибольший интерес?

Течение беседы свободное, непринуждённое. Заметно, что корреспонденты не ожидали этого. Строгие, официальные обращения постепенно сменяются пытливыми расспросами. Дружеский тон ответов согрел атмосферу разговоров, изменил настроение журналистов. Некоторые шутливые реплики встретили самый живой отклик — улыбки, смех, вызывали немедленные новые, не заготовленные заранее вопросы. Сенсационность самого события на несколько минут как бы отступила перед неожиданностью впечатлений, которые сразу же в свою очередь приобрели характер сенсации для японской прессы.

Тут же приходит объяснение. Один из журналистов рассказывает:

- Мы готовились к большим трудностям. Мы слыхали, что вы ненавидите корреспондентов. Это легенда, миф? – спрашивает он. И, не дожидаясь ответа, добавляет: — Мы очень рады, что наши тревоги оказались напрасны.

- Конечно, миф,– с улыбкой отвечает писатель на удививший уже его вопрос.— Я сам был в молодости журналистом,– говорит он. И в заключение: — Ненавидеть журналистов — значило бы ненавидеть собственное прошлое.

Любопытно, что опасения, высказанные на этой пресс-конференции, разделяли в Японии многие. Фумио Нива, президент Японской ассоциации литераторов, в своей приветственной речи на приёме в Токио также тепло говорил

о приятном сюрпризе для японских журналистов уже при первой же встрече с Шолоховым. А вскоре одна из здешних газет опубликовала статью, озаглавленную: «Миф о Шолохове».

Итак, с мифом было незамедлительно покончено, вступила в свои права реальность общения, взаимного узнавания.

Но вернёмся опять к последовательности рассказа.

После того как корреспонденты получили ответы на все вопросы, они рассказывают, что в Японии очень многие люди читают «Тихий Дон», другие произведения Шолохова. Не сочтёт ли он возможным что-либо передать своим японским читателям? Писатель просит передать самый сердечный привет и добрые пожелания.

Буксиры подтянули «Байкал» к пристани. Здесь Михаила Александровича встретили наш посол и сотрудники советского посольства, руководители Японской ассоциации литераторов, делегация Общества японо-советской дружбы, другие представители общественности. Здесь же увиделся писатель со своей давней знакомой — Йосие Абэ, японской арфисткой (ученицей нашей Эрдели), которая посещала его ещё в 1936 году в Москве, была его гостьей в станице Вёшенской, а впоследствии, возвратясь на родину, очень много сделала для популяризации его творчества в Японии.

За восемнадцать дней, которые провели на острове Хонсю, мы побывали в Токио, в древних столицах Японии — Киото и Нара, промышленном центре Осака, городах Никко и Гифу, в деревне неподалёку от города Камагоэ префектуры Сайтама, и повсюду окружала автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» атмосфера не только высокого уважения, но и сердечной теплоты.

Следовало рассчитывать на проливные дожди и ненастье: май в этих краях не слишком балует ясными днями. На всём маршруте поездки нам сопутствовала хорошая погода. Порою казалось, что предусмотрительные организаторы путешествия позаботились и об этом.

В скромном деревенском клубе Шолохов ближе познакомился с писателем Сибуйя, уроженцем этой деревни, одним из основоположников новой японской литературы, разрабатывающей темы крестьянской жизни. Сибуйя был руководителем крестьянского движения в том районе. В стране пользуется широкой известностью вышедший около шестидесяти лет тому назад сборник его стихов «Но-

рани сикэбу» («Крик в поле»), написанных под сильным влиянием Тараса Шевченко, чьё творчество японский поэт тщательно изучал.

Милый, общительный человек, старый писатель из Киото, написавший много книг о современной Японии, Гоити Масимо показывал Шолохову не только величавое изваяние Будды, восседающего в таинственном полумраке посреди тысячи позолоченных статуй, также изображающих Будду, в самом центре храма Санджюсангендо («Храма тысячи Будд»). Он был главным гидом в поездках по древнему городу и окрестностям этой бывшей столицы Японии. С юношеской лёгкостью и неутомимостью, опираясь на палочку, взбегал он по горным тропинкам, приглашая полюбоваться новыми и новыми видами, подробно, с любовью и увлечением рассказывал о памятниках древней культуры. Этот человек, влюблённый в свой город, ревниво расспрашивал гостей, где им больше понравилось — в Токио или в Киото. И так хотелось пожелать ему счастья, чтобы он всегда был так же молод и щедр душой, и шепнуть ему: добрый Масимо-сан! Скажем вам по секрету... Киото, окружённый горами, хранящий дух древности,– наверное, самый красивый город на вашей родине...

В Японии существует ряд организаций, обществ, ведущих разнообразную деятельность по установлению деловых контактов, укреплению культурных связей, налаживанию культурного обмена с другими странами, в частности с Советским Союзом. Один из приёмов в честь Шолохова был устроен наряду с обществом «Литература повой Японии», социалистической партией, Генеральным советом профсоюзов такими организациями, как Общество японо-советской дружбы, Общество японо-советских связей, Комитет дружбы японской и советской молодёжи.

Самые различные газеты—«Иомиури», «Майнити», «Асахи», «Джапан таймс», «Токио синбун», «Нихон кэйдзай» и многие другие — подробно сообщали своим читателям о пребывании советского писателя в Японии, печатая статьи, информационные заметки, снимки, сделанные фоторепортёрами, которые сопровождали Шолохова всюду, где он появлялся. Фоторепортажем открывали свои номера популярные иллюстрированные журналы, такие, как «Сюкап бупсюп», «Сюкан синьтё» и другие. Специальные мотоциклисты доставляли киноленты в телестудии, которые включали этот материал в программы выпусков

новостей. Состоялись выступления писателя по телевидению. Эти выступления носили импровизированный характер, построены были в форме бесед — обмен мнениями, ответы на вопросы. В одной из них Йосие Абэ демонстрировала фотографии, сделанные ею в Москве и на Дону: молодой Шолохов, его жена Мария Петровна, его друг — писатель Василий Кудашев...

На встречах с писателями возникал разговор о судьбах литературы. В нём принимали участие президент Японской ассоциации литераторов Фумио Нива, президент пен-клуба Кодзиро Сэридзава, вице-президент этого клуба Нобуюти Татэно, писатели Хироси Нома, Инэко Сата, прозаик Абэ Кобо и другие.

Перед тем как начаться одной из таких бесед, Шолохов сказал, что очень рад встрече с представителями японской литературы, что он просит считать беседу сугубо интимной: он хочет предупредить, что вовсе не собирается кого-то поучать, навязывать свои взгляды на Литературное творчество, ему приятно встретиться с собравшимися здесь литераторами и обменяться мнениями по вопросам чисто литературного характера. Его вступление к этой беседе прозвучало так:

— Мне кажется совершенно естественным, что каждая литература развивается и идёт в жизнь своими путями. Это закономерно. Но мне кажется также, что наша общая задача — задача писателей — способствовать облагораживанию человеческих душ и делать литературу достойной наших современников. Я глубокий сторонник общения, культурного обмена. Как можно большее число писателей должно посещать другие страны. К японскому народу у нас очень доброе отношение. Все слои общества будут встречать японских писателей, которые приедут к нам, с одинаковым радушием.

Вопрос, заданный писательницей Инэко Сато, послужил Шолохову поводом для того, чтобы выразить своё отношение к деятельности прогрессивных литераторов всех стран, направленной на предотвращение войны, во имя мира во всём мире:

– Нет для писателя задачи более благородной,– заявил он.

На заключительной пресс-конференции писатель рассказал журналистам о том, какие впечатления накопились у него за время поездки. Ему было, сказал он, очень

приятно провести эти дни в Японии, хотя бы накоротке познакомиться с жизнью страны. Он увозит очень хорошие впечатления о людях, её населяющих, о городах, которые видел, о трудолюбии японского народа, о его «хватке» в работе.

Писателя спросили: обратил ли он внимание на плохие стороны жизни в Японии, было ли ему что-нибудь непонятно?

– Я не с этой целью сюда приехал, преодолел столь длинный путь,– ответил он,– чтобы выискивать у вас плохие стороны. Непонятного много. Я недостаточно долго здесь пробыл, чтобы всё понять.

Журналисты попросили Шолохова поделиться впечатлениями и от встреч с его читателями в Японии, с коллегами по профессии в этой стране. Он передал слова самого тёплого привета и благодарности японским читателям его произведений. Рассказал, что встречался здесь с рядом своих собратьев по перу, знает об их творческих замыслах. И заключил:

– Мне думается, что японская литература сейчас на подъёме. Это очень радует не только меня, но и всех читателей в Советском Союзе. Радует также рост молодых японских литераторов, литературной смены.

Достаточной ли была бы для объяснения гостеприимства и внимания, которые окружали Шолохова во всё время его поездки по Японии, ссылка на традиционную японскую учтивость и на сенсационность самого события? Вот ещё несколько штрихов.

Сравнительно небольшой город Гифу. Под крутым берегом прозрачная широкая и быстрая река. Когда сгущаются сумерки и светлый водный плёс темнеет, здесь разыгрывается нечто необычное. Выглядит это так. Надо представить себе, что мы с вамп сидим уже в крытой лодке человек на двадцать — тридцать, медленно движущейся на середине реки. Такими лодками покрыта вся река, их сотни две, они мягко освещены большими бумажными фонарями-шарами, в которых теплятся свечи. За шторами и без штор в лодках едят, пьют, веселятся, поют. В небе горят холодные звёзды. Слева на высоком берегу живые огни города. Справа всё закрыто огромным чёрным треугольником — стоящей у самого берега высокой горой с пологими ровными склонами. На её вершине, в густой черноте добравшегося туда леса, во тьме ночного

неба белая пагода — подсвеченная, поэтому будто светящаяся изнутри, как сказочный кристалл. Из лодок пускают фейерверк — в воздухе пересекаются прямые и кривые огненные линии, виснут огненные шапки. Грохот, хохот, пение — всё смешивается. Затейливые шутихи плывут по воде, оставляя пламенный след, взрываются, вскидывая снопы искр. Опт — и неподвижные, и вся их взбалмошная феерия — удваиваются глубоким чёрным зеркалом реки, самые высокие уходят далеко вниз. Кажется, что мы скользим по какой-то прозрачной плёнке между двумя безднами,- распростёршимися сверху и снизу, а в них спокойные огни смотрят на неистовую пляску других.

Внезапно на несколько минут всё стихает, кроме нежной, плавной музыки. Проплывает ярко освещённая лодка, там в строгом танце движутся по кругу гейши в белых кимоно с широкими алыми поясами. И их опрокинутое отражение в воде. Потом карнавал вспыхивает с новой силой.

В одиннадцать часов — «гвоздь» и завершение празднества. Лодки выстраиваются двумя шеренгами у берегов, очищая всю реку. По течению спускаются идущие ровным строем шесть — восемь лодок. На носу у каждой горит факел и стоит рыбак, держа в руках поводки. На поводке баклан. Поводков у рыбака десятка полтора. Птицы плывут рядом с лодкой и чуть впереди. Время от времени они ныряют и, возвращаясь, подают хозяину пойманную рыбу. Зрители аплодируют птице и рыбаку.

В старину это было промыслом. Теперь нужды в нём нет. Но уважительная память о былом искусстве дрессировки бакланов сохранена, оно стало народным аттракционом.

Самый знаменитый мастер этого дела попросил у Шолохова автограф на японском издании «Тихого Дона» и в ответ с чувством достоинства подарил книгу о своей профессии, тоже с автографом.

Жаркий-жаркий день. Мы проезжаем на машинах вокзальную площадь в городе, через который пролегает наш маршрут. Просим сделать остановку, чтобы напиться воды. Не предусмотренный никаким расписанием привал. Длинный ряд лавчушек. Разбредаемся поглядеть на сувениры — бесчисленные изделия народных мастеров: тут в самых разных вариантах знаменитые «три обезьянки»; потешные еноты, попивающие чай,– популярные персонажи

народных сказок; лодки с крохотными человечками; изящные куклы в костюмах героев театра Кабуки; кланяющиеся журавли величиной с кедровый орех, такие же черепахи, шевелящие лапами; застывшие в лёгком движении танцовщицы; рыбаки на промысле; тихо звенящие от малейшего дуновения воздуха колокольцы; бумажные фонари; причудливые создания фантазии — диковинные звери, птицы, рыбы... Забавные игрушки — заводные, надувные. Привлекая жадные взоры ребятишек, ползают в тазу вместе со своими домами-раковинами настоящие раки-отшельники, в другом тазу копошатся совсем маленькие черепашки... Один из нас зашёл с переводчиком в такую лавчонку выбрать сувенир. Стоило продавщице осведомиться, из какой страны покупатель, как она торопливо спросила, не с писателем ли Шолоховым он приехал. Попросила показать ей, где Шолохов. После недолгой суматохи продавщицы из этой и соседней лавчушек скрылись внутрь помещения, затем вынесли оттуда отлично изданные книги Шолохова, специальные таблички для автографов. Михаил Александрович покупал сигареты. У ларька и застигла его вежливая, но дружная осада. Пришлось начать каждодневную работу — раздавать автографы.

В городе Никко есть древний храм, который не минует ни один приезжий. Юная школьница прочла в газете, что Шолохов такого-то числа предполагает посетить Никко. Она приехала туда и пять часов прождала у. ворот храма в надежде, что, может быть, ей выпадет удача получить автограф любимого писателя. Её терпение было вознаграждено. И вскоре уже ей самой, к великому её смущению, пришлось давать интервью репортёрам, фотографироваться рядом с писателем. Эти снимки появились в газетах и журналах.

Одно из многих писем, полученных Шолоховым в Японии, сообщало, что его сочинения подготовляются к изданию со шрифтом Брайля — для слепых.

В этой стране было осуществлено едва ли не первое зарубежное издание «Тихого Дона», причём перевод делался по журнальному тексту, ещё до того, как роман был издан книгой. Необычны были гиды, сопровождавшие Шолохова в его поездке по Японии,–• все они известны как переводчики его произведений — Хироси Кимура, Таку Эгава, сын автора того самого, давнего, первого перевода «Тихого Дона»; Такуя Хара, также продолжающий в этом

смысле дело своего отца, профессора Хара; Кудо, Тадао Мидзупо.

Среди тех, с кем мы встретились в Токио и Киото, были учёные — авторы вступительных статей, предисловий к японским изданиям произведений Шолохова, литературоведы, специализировавшиеся на изучении русской классики и советской литературы: профессор Тацуо Курода, редактирующий журнал «Советская литература», профессор Сумако, профессор университета «Васлда» Мидзухо Йокота и другие деятели литературной науки. Весной того года вышло в свет повое издание «Тихого Дона» в переводе профессора Йокота.

В Токио автор «Поднятой целины» познакомился с актёрами, играющими в японском драматическом театре роли героев его романа. А в кинотеатрах Киото и Токио в эти дни демонстрировался советский фильм «Поднятая целина».

Во всём этом сказывается большой, серьёзный интерес к русской культуре, к культуре советской, и прежде всего — то поистине мировое значение, которое приобрело творчество Шолохова.

В издательстве «Правда» вышла в том году подготовленная редакцией журнала «Огонёк» книга «Михаил Александрович Шолохов» — сборник высказываний о писателе и его творчестве. В ней содержится множество свидетельств, подтверждающих это и порою обретающих выразительную образную форму. «Вы дышите и существуете... совсем, совсем недалеко от всех нас»,– обращаясь к Шолохову, говорит индийский писатель Мулк Радж Ананд. Этот же мотив звучит в высказываниях виднейших прогрессивных литераторов многих стран. Парагваец Э. Ромеро сказал так: «Воды Дона омыли иные берега».

Действительно, многие берега омывает ставший литературным символом тихий Дон, жизнь многих людей в самых разных странах, на всех континентах необычайно обогащается приобщением к гуманистическому творчеству Шолохова. Причём крайне важно, что это творчество несёт в себе гуманизм социалистический, а потому поистине общечеловеческий.

Проделав путь от тихого Дона до Тихого океана, мы наглядно убедились в том, о чём знали и прежде: книги Шолохова давно и прочно вошли в достояние прогрессивной культуры Японии.

Поездка Шолохова в Японию стала важным событием, яркой вехой на пути сближения культур двух народов, земли которых расположены по соседству, так что им друг до друга, как говорится, рукой подать.

В последний раз перед отъездом встретившись с журналистами, писатель передал через них привет и добрые пожелания пароду Японии, своим читателям.

— Я очень благодарен,– сказал он,– за ту теплоту сердец, которую я ощущал, общаясь с моими японскими читателями. Всем им я желаю самого лучшего. Прошу поверить, что если я говорю добрые слова привета читателям и народу всей Японии, то не по обязанности уезжающего, не из приличия, а совершенно искренне, от души, от сердца.

Приятно к этим воспоминаниям добавить более поздние сведения: в мае 1973 года Телеграфное агентство Советского Союза передало для газет заметку, в которой сообщалось, что в Японии большой популярностью пользуется советская и русская литература, а самым популярным советским автором является Михаил Шолохов.

НАЧАЛО

Не уместно ли нам, современникам нынешней мировой славы писателя, свидетелям сегодняшнего мирового признания роли его творчества в воспитании человеческой души, вспомнить о событиях, которые принадлежат истории советской литературы двадцатых годов. Тогда очень ещё молодой — ему было восемнадцать лет,– начинающий литератор опубликовал в молодёжной советской газете три первых своих увидевших свет произведения — три фельетона. Они подписаны несложным псевдонимом: «М. Шолох». (Краткая справка об этих публикациях: первый фельетон назывался «Испытание», он помещён в газете «Юношеская правда» 19 сентября 1923 года; 30 октября 1923 года в той же газете появился фельетон «Три»; «Ревизор» напечатан 12 апреля 1924 года, к этому времени газета называлась уже «Молодой ленинец».) И вскоре же, примерно через год, один за другим стали появляться — также преимущественно в молодёжной печати: в газете («Молодой ленинец»), в журналах («Журнал крестьянской молодёжи», «Огонёк»,

«Комсомолия», «Смена», «Прожектор», «Крестьянский журнал») — рассказы. Их подписывал автор полным именем. Это произведения, которые составили книжку «Донских рассказов». Первый сборник вышел в 1926 году в издательстве «Новая Москва» («Библиотека рабоче-крестьянской молодёжи под общей редакцией МК РЛКСМ»). На обложке значится ещё 1925 год, на титульном листе — уже 1926-й. В книжечке всего восемь рассказов. Это: «Родника», «Шибалково семейство» (в последующих изданиях — «Шибалково семя»), «Председатель Реввоенсовета республики», «Бахчевник», «Алёшкино сердце», «Двухмужняя», «Пастух», «Коловерть».

Сборник сопровождало предисловие, написанное земляком молодого прозаика писателем Александром Серафимовичем. Вот это предисловие:

«Как степной цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохова. Просто, ярко, и рассказываемое чувствуешь — перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта сжатость полна жизни, напряжения и правды.

Чувство меры в острых моментах, и оттого они пронизывают. Огромное знание того, о чём рассказывает. Тонкий, схватывающий глаз. Умение выбрать из многих признаков наихарактернейшие.

Все данные за то, что т. Шолохов развёртывается в ценного писателя,– только учиться, только работать над каждой вещью, не торопиться».

Обратим внимание: в ту пору «т. Шолохову» не исполнилось ещё и 21 года. Мудро оценил книгу маститый писатель, приветствуя событие, которое случается очень редко,–рождение большого художника слова, и разглядев в самом зачатке особенности дарования нового писателя, его творческой индивидуальности.

Читая теперь предисловие Серафимовича, мысленно возвращаешься к словам Шолохова, как бы ответным, прозвучавшим в 1938 году:

«Серафимович принадлежит к тому поколению писателей, у которых мы, молодёжь, учились. Лично я по-настоящему обязан Серафимовичу, ибо он первый поддержал меня в самом начале моей писательской деятельности, он первый сказал мне слово ободрения, слово признания...

Никогда не забуду 1925 год, когда Серафимович,

ознакомившись с первым сборником моих рассказов, не только написал к нему тёплое предисловие, но и захотел повидаться со мною. Наша первая встреча состоялась... Серафимович заверил меня, что я должен продолжать писать, учиться. Советовал работать серьёзно над каждой вещью, не торопиться.

Этот наказ я старался всегда выполнять».

И строки, появившиеся ещё много лет спустя:

«Мне посчастливилось близко узнать товарища Серафимовича... Мы неоднократно встречались. Бывал он и у меня, в Вёшенской, бывал, и частенько, наезжая в Москву, и я у него. Одно время, в 1930 году, он недели полторы гостил в Вёшенской. Мы вместе с ним рыбачили, ездили по Дону, и никогда не уставал этот далеко не молодой человек интересоваться всем происходившим в то время на Дону.

Это было в начале 30-х годов. И вот длительное знакомство переросло в чувство взаимной дружбы, несмотря на то, что нас разделяла довольно значительная возрастная разница. Я вынес глубоко запавшие мне в душу впечатления о Серафимовиче как о милом, скромном и немножко с какой-то казачьей лукавинкой человеке — великом писателе, который много помогал молодым, в том числе и мне».

Теперь мы привычно достаём том «Донских рассказов» с той же книжной полки, где стоят «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» — произведения, уже прочитанные и перечитанные нами, как правило, раньше этих рассказов. Мы находим их, эти рассказы, в 1-м томе Собрания сочинений выдающегося прозаика современности, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии за роман «Поднятая целина», лауреата Государственной премии СССР за роман «Тихий Дон», лауреата Нобелевской премии, почётного доктора старейших университетов Европы...

Ныне и ранние шолоховские рассказы известны читателям многих стран, переведены на множество языков. Их образы, мотивы перенесены на экран художественного кинематографа, обрели плоть зримого изображения. Зазвучала речь героев. Ожили на экране и самобытно расцветившие эти рассказы краски донской степи...

А тогда, в первой половине двадцатых годов, когда «Донские рассказы» Михаила Шолохова поодиночке появлялись

на страницах периодических изданий, это были первые шаги, это было вступление в литературу.

Перед современным читателем «Донских рассказов» открываются картины действительности, уже отошедшей, правда, в недавнее, но всё-таки в прошлое. А тогда, когда они писались и публиковались впервые, они были животрепещущим настоящим, и в них получали отражение процессы, ещё только возникавшие, запечатлелось рождение, первые этапы развития того нового, что уже вскоре победило, упрочилось, пройдя проверку на стойкость, на жизненную силу, на право главенства в жизни нашего, советского общества. И теперешнего читателя этих рассказов охватывает волнение, словно он сам участвует в развёртывающихся перед ним драматических событиях; словно обступившие его образы героев давних рассказов — его современники; словно яркие человеческие судьбы, в которые он с напряжением и трепетом сопереживания всматривается,– это судьбы людей ему хорошо знакомых, судьбы, которые не только не могут оставить его равнодушным, но важны для него и значительны.

Мы с вами уже вспоминали шолоховские обжигающие слова о том, что не может быть художник холодным, когда он творит; о том, что с рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не создашь и никогда не найдёшь путей к сердцу читателя...

Разумеется, такое отношение к литературному труду у молодого автора «Донских рассказов», почти юноши, ещё не отлилось в мысли-формулы, составившие элементы «кредо» зрелого художника, крупнейшего мастера литературы. Но несомненно, что именно эти эмоции владели сердцем пришедшего в литературу писателя, водили его пером.

А откуда шёл он в литературу? Об этом извещала читателей совсем небольшая по объёму автобиография, содержавшаяся в одном из сборников шолоховских рассказов. Из этой автобиографии явствовало, что родился Шолохов в 1905 году в хуторе Кружилином станицы Вёшенской Донецкого округа (в бывшей области Войска Донского); что отец его, по сословию разночинец, выходец из Рязанской губернии, что материнская линия роднит писателя с украинским крестьянством; что учился он в разных гимназиях, во время гражданской войны был на Дону.

Трогательная деталь есть в этой автобиографии, подсказанная любящим и чутким сыновним сердцем. При всей краткости рассказа о себе и своей жизни, молодой писатель упомянул о том, что мать выучилась грамоте, когда отец отвёз его в гимназию, выучилась, чтобы, не прибегая ни к чьей помощи, самой писать сыну письма.

Гимназическое учение продолжалось до 1918 года. Гражданская война застала юного Шолохова на Дону. Несмотря на свой возраст — было ему пятнадцать лет,– с 1920 года он «служил и мыкался по Донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Всё шло как положено. Приходилось бывать в разных переплётах...

Пишу с 1923 года, с этого же года печатаюсь в комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 1925 году. С 1926 года пишу «Тихий Дон»...»

Работал юный Шолохов учителем, участвуя в ликвидации неграмотности среди взрослого населения на Дону; делопроизводителем в донской станице Каргинской. В 1921—1923 годах будущий писатель был продовольственным инспектором.

Что это за профессия? Думаю, не все читатели теперь знают о ней. Те, кто прочтут один из ранних рассказов Шолохова «Продкомиссар» или «Чужую кровь», составят себе об этой профессии некоторое представление. Если раскроем последнюю часть «Тихого Дона», найдём там страницу, где описано появление в штабе банды Фомина пленного красноармейца-продотрядника...

Не из тиши и полумрака библиотек и архивов пришёл молодой прозаик в литературу, не из башни, возвысившейся «над схваткой», наблюдал он бурлившую лаву истории. Его опаляло близкое дыхание пламенного потока, смывавшего с земли скверну эксплуататорского прошлого. А из рождённого извержением базальта и гранита своими руками вытёсывал и закладывал он камни для фундамента здания будущего.

И в самом разгаре титанической работы истории душа юноши, молодого художника, чутко отзывалась на страдания человеческого сердца, на порывы и надежды людей из народа, на их тяжкую долю в прошлом, на их светлую веру в будущее — и своё, и всего трудового люда, всего человечества. Она всегда полна любви к человеку, ненависти ко всему,

что калечит жизнь людей, душа этого писателя...

Очень любопытно высказывание писателя о том времени, о своих «Донских рассказах» (и о себе). «В «Литературной газете» 10 февраля 1971 года приведено предисловие автора к томику его рассказов, только что вышедшему в Японии. (Предисловие опубликовано на русском языке.) Вот выдержка из этого предисловия: «Дети любой страны в тяжёлые годы войн и революций живут особой, не совсем детской жизнью. Об этом я и написал рассказы, когда был ещё молодым и детские воспоминания мои были ярче и стояли ближе ко мне во времени».

Каков же уровень, на котором находилась «точка отсчёта»? Конечно, различны по своей художественной ценности не только фельетоны — эта первая проба пера, но и рассказы — уже очень серьёзная заявка автора на почётное место в литературе.

Трудно ли заметить на художественном полотне у начинающего автора погрешность, мазок, положенный ещё не имеющей достаточного опыта рукой, увлечение юности, некоторую дань литературной «моде»?.. Многое в изображении ещё упрощено, многое не развито, не разработано. Бросится в глаза кое-где манерность стиля, вычурность многих фраз, необычная расстановка слов, инверсия, осуществлённая, чтобы усилить ритмичность и напевность слога, а в иных местах — натуралистичность при описании суровых, порою жестоких и страшных явлений. Язык перенасыщен местными словами и оборотами речи...

Гораздо важнее почувствовать, увидеть, различить в этих ранних рассказах писателя то, о чём удалось так сжато и выразительно сказать А. Серафимовичу, то, что роднит шолоховские «Донские рассказы» с произведениями иного масштаба, возникшими на иной стадии формирования таланта выдающегося нашего писателя. Да и только ли с ними?

Тем, кому незнаком, к примеру, рассказ «Коловерть», хочется посоветовать прочитать его, и особенно внимательно — последние, одиннадцатую и двенадцатую, главки, а тем, кто уже знает рассказ, перечитать эти страницы. Есть там такие строки:

«Сарай для военнопленных, как паучье гнездо паутиной, опутан колючей проволокой. По ту сторону Игнат и Пахомыч, с лицами чугунными, опухшими; с улицы

сынишка Игнатов в картузе отцовском и старуха Пахомычева руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристыла, моргает веками кровяными, рот кривит, а слёз пет — всё выплакала.

Пахомыч тяжело ворочает разбитым языком:

— Пшеницу нехай Лукич скосит, заплатишь ему, отдашь телушку-летошницу.

Губами пожевал, сухо закашлялся:

— По нас же не горюй, старуха!.. Пожили... Все там будем. После панихиду отслужи. Поминать будешь, не пиши: «красногвардейца Петра», а прямо — «воинов убиенных Петра, Игната, Григория»... А то поп не примет... Ну, затем прощай, старуха!.. Живи... Внука береги. Прости, коль обидел когда...»

Разве будет преувеличением, если мы скажем себе: так вот с каким — не испугаемся этого слова! — толстовским проникновением в человеческую душу показывал своих героев молодой прозаик...

А теперь всмотримся в концовку рассказа, которым открывался сборник. Это рассказ «Родинка», первый рассказ начинающего автора.

«Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дёргая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:

— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..

Атаман выстрелил в нараставшую чёрную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе...

За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осёкся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отёрханный, упали плывущие тени.

«Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает»,– обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.

С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдёрнул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел

сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дёрнул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо...

– Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...»

Чтение Шолохова требует неторопливости. Вглядываясь в изображённые им картины жизни, человеческие судьбы, всякий раз задумываешься невольно о могучем таланте писателя, о народности его творчества, его требовательности к мастерству. Эти качества, в «Донских рассказах» ещё лишь заявлявшие о себе, сделали уже в те годы молодого прозаика явлением в литературе, а впоследствии — достойным преемником и продолжателем благородных традиций его великих предшественников.

Штрихи творческого облика Шолохова не ограничиваются, разумеется, только верностью традициям классики. Впрочем, дерзновенное новаторство — это тоже одна из прекраснейших традиций и русской и мировой классики. Будучи писателем-новатором, Шолохов ввёл в литературу новых героев, отразил в своих — уже ранних — произведениях революционную переделку мира, перестройку сознания, душ людей. Повторяю: уже в ранних его рассказах запечатлены события, ставшие рубежами в современной истории. Уже в первых своих рассказах он средствами реалистического искусства показал сложный процесс становления и развития характера нового человека.

В своих «Донских рассказах» писатель разрабатывал большую социальную тему. Перед читателем встают годы гражданской войны в России, на Дону; перестройка деревни на социалистических началах; революционная ломка прежнего, старорежимного уклада казачьей жизни. Существенно заметить, что с первых шагов своих в литературе молодой художник постоянно фиксирует внимание на сложности всех этих процессов самих по себе и на многосторонности их отражения в сознании, психике люден, в их поведении и действиях.

С любовью и гордостью писал портреты своих сверстников молодой прозаик. Много позже он скажет о них, о первых своих положительных героях, о героях своих романов-эпопей, о себе самом — гражданине и писателе:

«Все мы — сыны нашей великой Коммунистической партии. Каждый из нас, думая о партии, всегда с

чувством огромного внутреннего волнения мысленно говорит: «Партия, родная наша мать, ты нас вырастила, ты нас закалила, ты ведёшь нас в жизни по единственно верному пути».

В «Донских рассказах» даны картины правдивые, несущие в себе многокрасочность жизни. Пути же героев прочерчиваются, и судьбы их — как и отношение к ним автора, а следовательно, и читателя — определяются в зависимости от того, в каких взаимоотношениях находится личность героя с обществом.

Итак, ещё раз: деятельная любовь к человеку, достойному носить это имя, ненависть ко всему, что враждебно человеческому,– двуединое содержание понятия гуманизма революционного. Именно в этом — важнейшая особенность и шолоховского видения мира, представления художника о своём долге перед людьми.

Пришло время, о Шолохове сказали вещие слова Максим Горький, Алексей Толстой, самые крупные художники всего мира высказали восхищение его талантом, гуманистическим содержанием его творчества. Сегодня мы вспоминаем опять и опять Александра Серафимовича. Ибо он был первым. Первым, кто предрёк Шолохову большое будущее.

Автор «Железного потока» был в те годы, когда Шолохов начинал свой путь в литературе, одним из живых связующих звеньев между классической русской литературой дореволюционного периода и классикой литературы советской. Его предисловие к первому сборнику шолоховских «Донских рассказов» представляло собою нечто неизмеримо большее, нежели рядовая статья любого из писателей.

Это великая русская литература, это возникавшая тогда великая советская литература заявляла о рождении нового крупнейшего художника, о том, что она принимает его, приветствует его первые шаги и видит в нём драгоценную частицу своего будущего.

•

Вернёмся к краткой истории публикации «Донских рассказов».

Сборник, вышедший в 1927 году, назывался «О Колчаке, крапиве и прочем» и включал в себя рассказ, давший

имя всему сборнику, а также «Лазоревую степь», «Чужую кровь» и «Жеребёнка». Таким образом, к ранее изданным отдельной книгой восьми рассказам прибавились четыре новых.

Иными своими гранями блеснуло дарование молодого художника в рассказе «О Колчаке, крапиве и прочем». Этот рассказ содержал в себе некое новое обещание на будущее: он обещал образы Прохора Зыкова, деда Щукаря...

«Вот вы, гражданин мировой судья... то бишь, народный... объясняли на собрании, какую законную статью приваривают за кулачное увечье и обидные действия. Я и хочу разузнать в счёт крапивы и прочего... Я думаю, что при Советской власти не должно быть подобных обхождениев, какое со мною произвели граждане. Да кабы граждане — ещё пол-обиды, а то бабы! После этого мне даже жить тошно, верьте слову!..

Подходим к конюшням, я говорю:

— Давайте спервоначалу не заводить скандальной драки. Я пойду к ним навроде как делегатом и скажу, пущай вертаются по домам: амнистия, мол, на вас вышла.

Перелез я через огорожу, иду. Отряд мой возле канавы залёг в лизерве, покуривают.

Только это я открыл дверь, а Стешкина жена с ухватом:

— Ты зачем пришёл, кровопивца?!

Не успел рот раззявить — сгребло меня бабьё, и тянут, просто беспощадно волокут по конюшне. Собрались в курагот, воют, а моя ведьма пуще всех:

- Зачем пришёл, сукин сын?

Я с ними по-доброму:

— Бросьте, бабы, дурить! Амнистия...

Только слово это сказал, Анисимова жена как кинется с кулаками:

— Целый век смывались над нами, как над скотиной, били, ругали, и теперя выражаешься?.. Вот на, выкуси!.. Сам ты амнистия, а мы — честные бабы! — Шиши мне из-под ноги тычет, а потом к бабам верть: — Что мы с ним сделаем, бабоньки, за то, что тысячуется?

У меня в сердце ёкнуло, ровно селезёнка оборвалась. Ну, думаю, острамотят, паскуды!..

До сих пор нутро наизнанку выворачивается, как

вспомню... Нешто не обидно?.. Разложили на полу без всякого стыда, Дунька Анисимова села мне на голову и говорит:

Ты не бойсь, Федот, мы с тобой домачними средствами обойдёмся, чтоб помнил, что мы не улишные амнистии, а мужние жёны!

Только какие же это домачние средства, ежели это была крапива? Притом дикая, чёрту на семена росла, в аршин высоты... После этого неделю не мог по-людски сесть, животом приходилось сидеть... Взволдыряла домачность-то ихняя».

А вот финальная часть рассказа «Чужая кровь». Посмотрим, с какой художественной силой, эмоциональным накалом написаны эти страницы. Они написаны в 1926 году. Писавшему их шёл двадцать второй...

«Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозём. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова чёрной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землёю сровнял бы, чтобы росла на нём крапива да лопушился бурьян!..

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...

— Аль плохо живётся?..

— Не то... Завод свой, когда шёл Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли посёлок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.

— Чудно говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!..— бодрясь, ответил Гаврила.—Старуху обмани... скажи, что возвернёшься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадёт... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шёпотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернёшься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колёс, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и, зелёное затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка.— Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни.— Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдёшь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и. протянул трясущиеся руки.

– Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас...— И, кривя изуродованное болью, мокрое от слёз лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай! Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошёл, почти побежал по узенькой каёмке дороги.

– Ворочайся!..— цепляясь за арбу, кричал Гаврила. «Не вернётся!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белёсую дымчатую пыль».

В 1927 году вышел ещё один сборник «Донских рассказов» — в Универсальной библиотеке Госиздата.

Два других сборника связаны с начальными годами деятельности издательства «Московский рабочий». Рассказы «Лазоревая степь» и «Чужая кровь» были включены в состав сборника «Заря Советов» вместе с произведениями выдающихся и уже к тому времени маститых советских поэтов и прозаиков. Это издание увидело свет в 1928 году.

За ним, в следующем году, издана книга «Донские рассказы.» в «Роман-газете» № 16(46), которая также выпускалась «Московским рабочим».

В этих изданиях читатели смогли получить в

добавление к прежним такие рассказы, как «Семейный человек», «Червоточина», «Смертный враг», «Нахалёнок».

Впоследствии появились ещё издания,– например, сборник «Донские рассказы» в массовой библиотеке издательства «Земля и фабрика» (1930).

Наиболее полным для того времени стал томик, вышедший в 1931 году в издательстве Московского товарищества писателей и получивший название «Лазоревая степь». (Из этой книги и цитировались выше строки краткой автобиографии писателя.)

Молодой Шолохов показал, какие бурные волны ходили по «тихому» Дону в годы гражданской войны, в годы перестройки деревни, как взламывала революция старый уклад казачьей жизни.

Что сделало врагами героев рассказа «Родинка», этого первого рассказа начинавшего им прозаика, ещё не было читателю видно с достаточной ясностью. Однако в ряде рассказов, появлявшихся позднее, постепенно раскрывалось, что казачья молодёжь легче рвала с сословными предрассудками старого казачества и вот потому-то и оказывались нередко члены одной и той же семьи на поле сражения врагами.

Согреты сердечной теплотой портреты хуторского паренька Миши (рассказ «Нахалёнок»), комсомольца-пастушонка Гриши Фролова и его сестры Дунятки («Пастух»), комсомольцев Алёши Попова («Алёшкино сердце») и Стёпки («Червоточина»), братьев Мити и Феди («Бахчевник»), юного батрака Феди Бойцова («Батраки»)...

В рассказе «Председатель Реввоенсовета республики» повествуется о том, с какой стойкостью и преданностью революции сражались красные казаки хутора Топчанского против банды Фомина, того самого Фомина, который будет впоследствии выведен автором в финальных главах «Тихого Дона». Писатель-гуманист уже в ранних своих рассказах показывал высокую человечность новых отношений между людьми, ещё только рождавшихся тогда.

...Убит кулаками девятнадцатилетний пастух-комсомолец. Завершение рассказа «Пастух» приоткрывает будущую судьбу его сестрёнки, выразительно, убеждённо передаёт твёрдую веру бедняцкой молодёжи, пошедшей за Коммунистической партией, её веру в дело Ленина.

Сказалось здесь свойственное произведениям Шолохова сочетание беспощадной твёрдости в описании ожесточённой борьбы

и страстного гуманизма революционной романтики, которая раскрывает смысл этой борьбы, одухотворяет и образы шолоховских героев, и всё его творчество в целом. Отчётливо выражена в рассказе устремлённость к будущему, ради которого идёт схватка.

Молодой писатель пишет о злом горе девочки, оставшейся без любимого брата, и в то же время будит возвышающую мысль о том, что кровь людей, погибших за народное дело, за дело революции, пролилась не напрасно.

...Идёт в город девочка. За спиной несёт котомку.

В котомке — краюшка хлеба, холщовая рубаха брата и книжка Ленина.

«Изморось. Сумерки. Дорога в степь.

Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках.

Идёт Дунятка обочь дороги. Ветер полы рваной кофты рвёт и в спину её толкает порывами.

Степь кругом залегла неприветная, сумрачная. Смеркается.

Курган завиднелся невдалеке от дороги, а на нём шалаш с космами размётанного бурьяна.

Подошла походкой кривою, как будто пьяною, и на могилку осевшую легла вниз лицом.

Ночь...

Идёт Дунятка по шляху наезженному, что лёг прямиком к станции железнодорожной...

Когда горечью набухнет сердце, когда слёзы выжигают глаза, тогда где-нибудь, далеко от чужих глаз, достаёт она из сумки рубаху холщовую нестираную... Лицом припадает к ней и чувствует запах родного пота... И долго лежит неподвижно...

Вёрсты уходят назад. Из степных буераков вой волчий, на житьё негодующий, а Дунятка обочь дороги шагает, в город идёт, где Советская власть, Где учатся пролетарии для того, чтобы в будущем уметь управлять республикой.

Так сказано в книжке Ленина».

В «Донских рассказах» много трагического. Остродраматичные моменты присутствуют в рассказах отнюдь не для внешнего эффекта. Автор стремился отразить правду жизни, правду напряжённой борьбы.

Не оставляло читателя равнодушным это страстное повествование о жестокой схватке двух миров. Рассказы молодого прозаика заражали ненавистью к тёмным силам

прошлого — к хищнику-кулаку, к белогвардейщине, к пережиткам, цепко державшим в плену сознание многих трудящихся людей.

Светлы образы стойких борцов за новую жизнь, самоотверженно отдавших себя служению революции, её верных солдат, героических её знаменосцев. Читатель шолоховских рассказов видел и верил, что именно таким людям принадлежит будущее. Несмотря на то что не один раз показаны здесь случаи расправ кулаков с передовыми людьми донских хуторов и станиц того времени, читателю передаётся вера героев-борцов в победу их правого дела. За ними, большевиками, селькорами, первыми комсомольцами, поднимались, вступали в борьбу десятки, сотни, тысячи строителей новой жизни. «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!..»

Перелистывая небольшой сборник рассказов, то и дело встречаешь, даже в самых первых из них, штрихи, которые достаточно отчётливо обозначают главенствующие устремления будущего автора знаменитых романов-эпопей как в области содержания, так и в области формы.

На страницах ранних рассказов Шолохова мы обнаружим даже некоторые мотивы, которые повторятся позже в романах, где получат гораздо более полное и широкое развитие. Под пером уже зрелого художника, опытного мастера они обретут не только совершенную разработку, по и новое, углублённое осмысление.

Чрезвычайно интересно находить в рассказах штрихи, похожие словно на эскизы того, что будет позже раскрыто в образах таких героев шолоховских романов-эпопей, как, к примеру, Михаил Кошевой или Кондрат Майданников, как члены семьи Мелеховых.

Одно из наблюдений. Раскроем рассказ «Двухмужняя» на той странице, где дед Артём смотрит, как работает на распашке целины трактор. С болью и обидой вспоминает старый казак своё хозяйствование, в котором единственной опорой был бык. Дед размышляет: «Пятьдесят годов я на быка, а бык на меня работал... День пашешь, ночь — кормишь его, сну не видишь... Опять же в зиму худобу годуешь». К этому мотиву автор вернётся и в «Тихом Доне». Но придаст ему особенную силу и новое осмысление, глубоко человечное и социально значимое, в ставшем хрестоматийным описании трудных раздумий Кондрата Майданникова, одолевавших его, когда он решал вопрос о своём

вступлении в колхоз, о том, как он должен начать новую жизнь.

Вероятно, читая рассказ «О Колчаке, крапиве и прочем» и найдя в нём строки: «А кобыла у меня, доложу вам, от истинного цыгана: бежит — земля дрожит, упадёт — три дня лежит...» — всякий вспомнит уморительную и в чём-то грустную историю о том, как лихой неудачник дед Щукарь сторговал лошадь у цыгана. В обоих случаях писателем использована широко распространённая на Дону поговорка, и нет ничего удивительного в том, что она прозвучала и в одном из ранних шолоховских рассказов, и в «Поднятой целине». Очень любопытно другое: в романе она послужила основой для блестящей вставной новеллы, где ожил и образ «истинного цыгана», и во всём эпизоде столько комического, столько юмора, что он стал одним из наиболее ярких в биографии Щукаря.

А вот сопоставления совсем иного порядка. Страшна деталь в описании жестоко избитого человека: «Голова у него вспухла, как ведро,– будто освежёванная... Кровь комом спеклась, перчатки пуховые на голове, чтоб не по голому месту били... Кровью напитались они и к волосам присохли...» Что вызывает в памяти эта деталь? Конечно, огромной силы картину в «Тихом Доне»: по хуторам и станицам ведут под конвоем пленных коммунистов. Идёт среди них Иван Алексеевич Котляров, и к слипшимся в крови волосам его присохли шерстяные перчатки...

Присмотримся к двум разным отрывкам из двух разных рассказов. Первый — из рассказа «Чужая кровь»:

«А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошёл на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, чёрная и строгая, громоздилась в голых вишнёвых кустах.

– Сынок! — позвал Гаврила вполголоса.

Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал:

– Петро! Сыночек!

Потом лёг плашмя на притоптанный возле скирды снег и тяжело закрыл глаза».

Второй отрывок — из рассказа «Родинка»: «Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и

только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:

— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя...»

Вне всякого сомнения, наиболее выразительные психологические элементы этих сцен послужили своего рода этюдами для создания потрясающей нас картины в «Тихом Доне» — ночной картины, где Ильинична в тоске по своему сыну, по Григорию, в тревоге за него, в предчувствии близкой своей смерти, выходит одна к ограде мелеховского база и зовёт далёкого сейчас от неё любимого сына, Григория, «младшенького», который один ещё остался у неё в уходящей жизни — опорой и несбыточной надеждой.

Многое, знакомое нам теперь по «Тихому Дону», «Поднятой целине», напомнят нам также пейзажные краски, зарисовки. Уже в рассказах видно обилие красок, которые в ещё большем богатстве и многообразии будут положены в более поздних произведениях писателя. Характерна в этом отношении жёлтая песчаная коса, которая «обнимает Дон». Не менее характерна и живопись в такой картине: жито «пахуче и сладко цветёт... в степях донских, опрокинутых под солнцем жадной чернозёмной утробой». Вот другие пейзажные мотивы, ещё и ещё: кочковатый летник, извивающийся «на гору, мимо бахчей, мимо обрывистых меловых яров гадючьим хвостом». В одном из рассказов находим такой штрих: там говорится о тишине, которая «паутиной расплелась над ярами»...

Опять-таки уже в ранних рассказах писателя не один раз находим мы особенно характерные штрихи, столь свойственные его манере, ярко проявившейся в стилистике «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Речь идёт об обращении к картинам природы вслед за изображением остродраматических событий. Вот один из примеров:

«Пулемётный треск, будто холстинное полотнище в клочья шматуют. На патронных ящиках лежал Пахомыч, слюну горькоприторную сплёвывал. А над землёй, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чеборцом и полынью, маревом дымчатым, струистым плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших.

Подрагивала выщербленная голубая каёмка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разостланное над степью, жаворонок вторил пулемётам бисерной дробью...»

В словесной ткани «Донских рассказов» то и дело, буквально на каждой странице, если не в каждой строке, находишь подтверждения тем определениям, которые дал художественным особенностям шолоховских рассказов А. Серафимович, видишь «образный, цветной язык», обнаруживаешь «тонкий, схватывающий глаз» художника:

«Вот она, атаманова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной».

«Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели, буравя сено; одна оторвала у тачанки смолянистую щепу и на лету приласкалась к пулемётчику. Выронил тот из рук портянку, в дёгте измазанную, присел, по-птичьи подогнувши голову, нахохлился, да так и помер— одна нога в сапоге, другая разутая».

В суровых, жёстким пером написанных рассказах то там, то тут звучат, однако, ноты, говорящие о глубокой человечности художника.

Все мы чувствуем, с каким преклонением перед материнством созданы в «Тихом Доне» образы матери Михаила Кошевого, Ильиничны Мелеховой... В рассказах пока ещё только попытки подойти к этой огромной теме, но уже и эти попытки свидетельствуют о точности взгляда художника-психолога, о его внимании к внутреннему миру своих героев и стремлении отразить этот мир во всём его многообразии, уловить зачастую очень тонкие оттенки. «Помнит, будто в полусне, когда ему было лет пять-шесть, сажал его отец на коня своего служивского. «За гриву держись, сынок!» — кричал он, а мать из дверей стряпки улыбалась Николке, бледнея, и глазами широко раскрытыми глядела на ножонки, окарачившие острую хребтину коня, и на отца, державшего повод». Эти, может быть, скупые, сдержанно-строгие фразы проникнуты чувством родственной, кровной близости к людям трудовой жизни, глубоким пониманием их дум, их переживаний.

На многих страницах читатель будет ощущать мощное дыхание эпоса. Это и есть та особенность, которой уже тогда предопределялся последующий, в дальнейшем развитии творчества, переход писателя к иным жанровым формам. Этот переход выразился в обращении к жанру романов-эпопей, в создании произведений, принёсших автору мировую славу, ибо в них получил наибольшие возможности

для выражения и выразил себя с огромной полнотою и силой его могучий талант.

Уже сами названия произведений — «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» — говорят об основной устремлённости писателя к отображению широких картин действительности, борьбы народа на полях битв и в мирном труде за новую жизнь, которую труженики Советской страны завоевали, отстояли и продолжают строить.

РЕЧЬ ВОЗГОВОРИТ СЛАВНЫЙ ТИХИЙ ДОН

Двадцати трёх лет от роду Михаил Шолохов стал великим писателем: появились две первые книги романа «Тихий Дон».

Найдём в библиотеке «Роман-газету», одно из первых изданий романа. Художница сделала обложку так, будто название отражается в донской воде... На обложке выпуска «Роман-газеты», где опубликована вторая книга, помещено немного наивное пояснение: «Казачество на войне». Но главное, что тут привлекает внимание,– портрет автора.

С дошедшей до нас таким способом из тех лет фотографии смотрит совсем молодой человек. По одежде — скорее ещё продкомиссар, нежели писатель... Лоб, высокий лоб мыслителя, закрыт шапкой-кубанкой. И не угадаешь его. Это теперь мы знаем, что за лоб прячется под лихой шапкой. Но глаза, эти глаза, умеющие так много увидеть в широком мире и в сердце человека,– это глаза художника, чья душа настежь открыта всей боли людской и всему прекрасному, что делает человека Человеком с заглавной буквы!..

Да, таков он был уже в те годы, молодой Шолохов. В годы, отделённые от нас теперь десятками лет.

«На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вёшенская, старейшая из верховых донских станиц...

Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несёт зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких

с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского...

Вёшенская — вся в засыпи желтопесков... Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Базкам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица...

А на север за станицей шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, ендовы, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далёкой россыпи зернистых песков — редкие острова хуторов, левад, рыжеющая щетина талов».

Здесь, среди знакомой с детства природы родной донской степи, которую он воспел, среди людей, которым он посвятил свои книги, постоянно живёт и работает Шолохов.

Писатель познавал жизнь, сам участвуя в борьбе народа. Непосредственное знание того, что он описывает, придаёт его произведениям убедительность реалистической живописи. С юности накапливал писатель огромный запас наблюдений, почерпнутых в самой гуще жизни. Они дали для его творчества драгоценный материал.

Разве не любопытно, что на Дону объявился «прототип» деда Щукаря — старик, которого на самом деле окрестили так лишь после выхода романа?

Писатель неоднократно подчёркивал, какое значение для него имеет непосредственное общение с людьми, черты которых он типизирует, обобщает в героях своих произведений. Он часто выезжал в окрестные станицы и хутора, будучи теснейшим образом связан с жизнью своего края. Наблюдения жизни, беседы с людьми, их рассказы, воспоминания дают ему и по сей день неисчерпаемый материал.

В 1928 году в журнале «Октябрь» были напечатаны первая и вторая книги «Тихого Дона». Уже первая книга романа сразу поставила её автора в ряд лучших писателей Советской страны.

В 1929, а затем 1931 годах Горький дал чрезвычайно высокую оценку Шолохову как художнику слова.

Серафимович откликнулся на появление первой книги «Тихого Дона» взволнованной статьёй в «Правде» (19 апреля 1928 г.). Прекрасен в ней образ степного орелика, который вдруг раскинул крылья:

«Ехал я по степи. Давно это было, давно,– уж засинело убегающим прошлым. Неоглядно, знойно трепетала

степь и безгранично тонула в сизом куреве.

На кургане чернел орелик, чернел молодой орелик. Был он небольшой; взглядывая, поворачивал голову и желтеющий клюв.

Пыльная дорога извилисто добежала к самому кургану и поползла, огибая.

Тогда вдруг расширились крылья,– ахнул я... расширились громадные крылья. Он мягко отделился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще-далёкое, когда прочитал «Тихий Дон» Мих. Шолохова. Молодой орелик желтоклювый, а крылья размахнул».

Серафимович точно указывает черту, характеризующую Шолохова как мастера реалистической прозы:

«...Люди у него не нарисованные, не выписанные, это — не на бумаге. А вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщинки, свои глаза с лучиками в углах, свой говор. Каждый по-своему ходит, поворачивает голову. У каждого свой смех; каждый по-своему ненавидит. И любовь сверкает, искрится и несчастна у каждого по-своему.

Вот эта способность наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо, неповторимый внутренний человечий строй,– эта огромная сила сразу взмыла Шолохова, и его увидали.

Точно так, как он умеет страшно выпукло дать человека, так он умеет сосредоточенно и скупо обрисовать целую людскую группу, человеческий слой».

Особо отмечал в «Тихом Доне» старейший советский писатель «яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный весёлой, хитроватой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь».

•

В 20-е годы происходил сложный процесс становления молодой советской литературы.

Противоречивы были существовавшие тогда литературные направления. Творчество передовых писателей набирало силы и развивалось в борьбе против формализма, безыдейности,

аполитичности, всякого рода чуждых народу влияний.

«Донские рассказы» и первые тома «Тихого Дона» писались в ту пору, когда нередко выходили книги, авторы которых клеветали на революцию, на советскую действительность, на советского человека.

Во многих других произведениях тех лет сказывалось либо неумение показать революционный народ, либо крайне преувеличенное внимание к судьбам интеллигенции в революции. Иной раз они имели в какой-то степени автобиографический характер, в них были честно запечатлены переживания и раздумья людей, решавших для себя вопрос о своём отношении к революции и участии в ней. Такие произведения, даже представлявшие немалый интерес, всё же не поднимали главной жизненной темы, которая выдвигалась перед нашей литературой как магистральная.

И вот появились совершенно новые книги, во весь рост ставившие тему народа и революции. Они-то и пролагали магистральную линию развития советской литературы, зачинателями которой явились Максим Горький и Владимир Маяковский. Они стали вехами, обозначившими русло, но которому устремлялось в большой свой путь богатое идеями, целеустремлённое, полное жизненных сил молодое искусство.

Одно за другим возникали произведения, правдиво говорившие о великой революции.

События гражданской войны, суровая борьба за новую, советскую жизнь вдохновили писателей на создание замечательных книг об этом времени. Среди них «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Разгром» А. Фадеева, романы А. Толстого, Н. Островского, К. Федина и других крупнейших мастеров слова.

Исключительное значение имела глубоко новаторская книга Д. Фурманова. В отличие от тех, кто воспевал некую «вольницу» как «революционную стихию», писатель показал, как могучая сила Чапаева, вышедшего из самой гущи народа, мудро и надёжно направлялась разумом и волей большевистской партии. В этой книге нашла, таким образом, художественное воплощение существенная черта эпохи. Образы красного командира Чапаева и комиссара Клычкова, политического руководителя славных чапаевских частей,– выдающаяся заслуга Д. Фурманова перед всей советской литературой.

В «Железном потоке» вырастает монументальный образ восставшего народа, несокрушимого революционного воинства. Здесь также осуществлён один из первых художественных набросков образа вожака, выдвинутого из своей среды самим народом.

Тема командира-коммуниста, организатора и воспитателя бойцов за победу революции, получила позже новое развитие в фадеевском «Разгроме».

А. Н. Толстой приступал к созданию своей эпопеи «Хождение по мукам», широко охватившей жизнь страны в годы гражданской войны. Примечательно, что вначале его трилогия была задумана как повествование о судьбах интеллигенции в революции, по впоследствии вылилась в изображение народа и революции.

Авторы произведений, идейно чуждых народу, как правило, и в области формы пользовались средствами, рассчитанными отнюдь не на восприятие массового читателя, а на смакование в узком кругу «избранных». Заумь, стилевые выверты, убожество изобразительных средств, так называемая условная действительность, формалистическая, ритмическая и орнаментальная проза, рваный, нарочито усложнённый, далёкий от народной речи язык... Такого рода литература была отмечена чертами декадентщины, эстетства, реакционной романтики, буржуазного индивидуализма.

Книги, которые несли в себе новое, революционное содержание, отличались народностью, ясностью изобразительных средств. Однако не сразу определилось это единство содержания и формы. Иногда давали ещё себя знать, особенно в области формы, чуждые влияния.

Писатели, чьё творчество составило важный этап в истории нашей литературы, выступали как борцы за искусство для народа. Они опирались в своём творчестве на лучшие традиции отечественной классики, стремились использовать, критически освоить весь опыт передовой литературы мира. Они продолжали и развивали классические традиции, создавая реалистическую литературу нового качества, новаторскую как по содержанию, так и по форме.

Молодой Шолохов поставил перед собою задачу предельной ёмкости, исключительной сложности — углублённо, в произведении огромного размаха показать жизнь и борьбу народа в те героические годы, развернуть величественные картины

творимой истории, движения людских масс к новому, вывести на первый план типически обобщённые образы простых тружеников, участвующих в историческом процессе мирового значения.

Для решения он избрал трудный путь, стремясь вскрыть противоречия общественного развития во всей их остроте, достигнуть наибольшей реалистической убедительности художественного изображения.

Задача была по плечу лишь очень крупному писателю. И решение её обозначило новый подъём искусства социалистического реализма.

•

«Тихий Дон» — произведение эпического размаха, посвящённое одному из наиболее сложных участков и этапов гражданской войны. Писатель охватил события первой мировой войны, Октябрьской революции, гражданской войны и иностранной интервенции. Он отобразил титанические движения народных масс. Линии развития характеров и судеб героев изображены не только на фоне исторических событий, они определены этими событиями. В свою очередь столкновения героев, их судеб играют активную роль в движении широкого общественного процесса и открывают читателю возможность глубже постигнуть содержание эпохи, представленное в образном, художественном выражении.

Своеобразие условий, в которых развёртывалась классовая борьба,– гражданская война на казачьем Дону,– потребовало от автора воссоздания социально-бытовых условий жизни казачества и в прошлом. Закономерное и свободное сочетание многообразных элементов произведения создало мощную картину борьбы сил революции и контрреволюции в сплетении индивидуальных судеб с судьбами народа.

Идейно-художественной направленностью произведения определена и его структура. В частности, можно, напомнить, что начато было оно с нынешней второй книги. Лишь написав уже ряд глав романа, который вначале предполагал назвать «Донщина», писатель пришёл к убеждению, что надо более широко и обстоятельно показать течение жизни, которое привело к событиям, «всколыхнувшим и взволновавшим» тихий Дон, глубже раскрыть образы тех людей,

которые наметились как герои романа. Так родилась мысль о первой книге «Тихого Дона».

Закончив работу над первой книгой, писатель вернулся ко второй. Через семь лет после того, как он начал писать роман, в 1932 году, появилась третья книга. И ещё через семь лет был завершён весь роман. Четвёртая книга состоит из двух частей. Одна из них была закончена в 1938 году, другая — в начале 1940 года.

«Тихий Дон» сразу захватывает читателя и своей масштабностью, и глубоким проникновением в психологию каждого героя, пёстрое множество которых заполняет страницы романа. Роман несёт в себе подлинно новаторское содержание, получившее выражение в выборе темы, образов основных героев и, главное, в проблематике произведения, в тех идеях, которые определили его сущность, а с нею и форму воплощения. При всём своеобразии индивидуальной манеры автора, его художественного почерка, «Тихий Дон» не только не стоит особняком среди книг, созданных другими советскими писателями в 20-е годы,– наоборот, он в передовом их строю. И недаром Горький назвал «Тихий Дон» в числе произведений, которые «надолго останутся в новой истории литературы» как книги, что «вместе дали широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны» (*А. М. Горький.* Собр. соч. в тридцати томах, т. 25. М., Гослитиздат, 1953, стр. 253).

Как видим, в этой оценке Горького прежде всего выделены широта охвата действительности и мастерство художника в решении эпической темы. В ту пору передовая советская литература как раз и поднимала такие эпические темы, изображая борьбу народа за социализм, битвы на полях сражений, где советские люди отстояли свою молодую республику от полчищ интервентов и внутренней контрреволюции.

Сам автор так определил главный замысел своего романа-эпопеи: «...колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психологии, которые произошли в результате войны и революции». Шолохов описал в романе край, наиболее ему знакомый. Но можно предполагать, что не это явилось решающим в выборе места действия. Шолохову свойственно обращаться к таким темам, сюжетам, в которых с наибольшей остротой выявляется сложность борьбы нового со старым в общественной жизни, в сознании людей. Уже в ранних рассказах молодой писатель выступал

убеждённым противником схематичных и поверхностных представлений о реальной действительности. В романе же постепенно, с огромным вниманием и тщательной последовательностью автор как бы разматывает перед читателем запутаннейший клубок классовых и сословных противоречий, определивших основные линии развития характеров его героев и их судьбы.

Григорий и Аксинья. Михаил Кошевой. Наталья. Дарья. Семьи Мелеховых, Астаховых... Сколько людей заставили они волноваться, горевать, негодовать, надеяться, радоваться, размышлять о смысле и содержании человеческой жизни...

Перед тем как сосредоточить внимание на характерах и судьбах героев романа, несколько слов о том, чем был в своё время казачий Дон.

Это был важный плацдарм гражданской войны, в ходе которой решалась судьба молодой Республики Советов, судьба революции. Остро стоял вопрос о путях казачьего крестьянства, о выборе каждым своей дороги, о том, вступит ли отдельная личность, целый общественный слой в противоречие с революционным народом или же, обретя единство с ним, получит небывалые возможности для расцвета, для многостороннего раскрытия талантов, которыми так богата наша земля.

События, изображённые в романе, неразрывно связаны с историей казачества и с теми величайшими переменами в жизни людей, которые принесла Октябрьская социалистическая революция. Изображая довоенную жизнь казачества, Шолохов стремился художественно подготовить постановку одной из важнейших проблем романа — о соотношении классового и сословного в казачьей среде эпохи гражданской войны. Эта проблема в значительной мере обусловила развитие романа в целом. Описание прошлого даётся автором отнюдь не только как пространная экспозиция. Оно получает гораздо более активное значение в ткани романа.

В первой книге романа развёрнута насыщенная красочным жизненным материалом картина дореволюционного Дона. В характерах Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой писатель показал вызревание стихийного протеста против жестокого, косного, тёмного уклада в старом быту. Образ Григория несёт в себе ещё более значительное содержание — нарастающую ярость, ненависть

труженика-казака ко всему общественному строю царской России. С другой стороны, именно в этом образе писатель раскрыл с наибольшей глубиной противоречия, характерные для широких слоёв казачества тех лет. Автор сразу приковал внимание читателя к главным своим героям, показав в них силы и качества, достойные совсем иного развития, чем то, на какое их обрекала действительность самодержавно-капиталистической России.

Талантливый представитель парода, но сознание его темно — такова предпосылка всего дальнейшего развития образа Григория.

Читатель первой книги «Тихого Дона» видит в то же время, как средствами большевистской пропаганды революционные идеи распространялись среди представителей беднейшего казачества, которые в дальнейшем стали основной силой, боровшейся в сложнейших местных условиях за торжество новой жизни, и повели за собой массу казачества.

Наиболее ясная и чёткая оценка прошлого донского казачества закономерно вложена автором в уста большевика Штокмана, человека, который способствовал пробуждению классового сознания у казаков-бедняков — героев романа, помог сформировать первую большевистскую ячейку на хуторе Татарском...

«Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд: приходил Христоня; с мельницы Валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке; скалозуб Давыдка, бивший три месяца баклуши; машинист Котляров Иван Алексеевич; изредка наведывался Филька-чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, ещё не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух — понравилось. Перешли на Никитина, а около рождества предложил Штокман почитать затрёпанную, бесперeплётную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

– Из неё лапши нарезать. Дюже жирная.

Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

— Почитал, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочёл:

— «Краткая история донского казачества».— И оглядел всех, выжидающе щурясь...

— Читай,– сказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачёва, про вольное житьё, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина.

Добрались до последних времён. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами.

- Правильно! Справедливо! — бухал Христоня...

- Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков.— Кошевой недоумённо разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо...

...В завалюхе Лукегаки-косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале натыкался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал...»

Начато было, как видим, с малого — на первых сборищах играли в карты. Потом уже стали читать Некрасова, Никитина. Постепенно дошли до истории донского казачества... Исподволь растил Штокман людей, будущих своих соратников.

Здесь знакомятся Иван Алексеевич Котляров, Михаил Кошевой и другие казаки с далёким прошлым «казачьей вольницы». Штокман разбивает иллюзию «национальной обособленности» казачества от русского парода, рассказывая, что в основном «казачья вольница» состояла из крепостных, бежавших от царского и помещичьего ига на берега вольных рек юга России. Он рассказывает о таких исторических личностях, вышедших из среды казачества, как Емельян Пугачёв, Степан Разин, Кондратий Булавин, о том, что представляло собой казачество в XVII — XVIII веках.

Казаки, занимающиеся в кружке Штокмана, начинают понимать, как царизм, использовав казачьи поселения и казачью вооружённую силу в качестве, так сказать, естественного пограничного кордона против вторжений иноземцев, а также для завоевания новых земель, стремился на протяжении столетий превратить казачество в свою прочную опору.

Слово большевистской правды раскрывает перед казаками, которые впоследствии пойдут за Штокманом, сущность последовательной и хитрой политики самодержавия, развращавшего казачество, добивавшегося от казаков верного служения «царю-батюшке», слепого повиновения командирам-атаманам.

«Казаки — особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к «отцам-командирам» прививалась царизмом... Как это в служивской песне поётся? «И что нам прикажут отцы-командиры — мы туда идём, рубим, колем, бьём». Так, что ли? Вот видишь! А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять... Казакам триста лет дурманили голову».

Штокман подчёркивает, что донской казачий кулак — это особенно опасная и ядовитая гадина: он вооружён, «он возьмёт винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить! II постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать — середнеимущественного казака и даже бедняка». С горечью, но и с беспощадной прямотой говорит большевик-агитатор о прошлом пути казачества, стяжавшего себе в конце XIX века и в последующие годы печальную и кровавую славу участием в подавлении революционного движения русских рабочих и крестьян, национально-освободительной борьбы угнетённых царизмом народностей.

В гневных и скорбных песнях вспоминал народ казачью плеть. В народе казаками матери пугали детей. При слове «казак» в представлении многих людей возникал образ чубатого зверюги с окровавленной плетью, свисающей с руки. Об этом обезличенном образе «казака с плёткой» горько размышляет и Михаил Кошевой.

Царская власть воздействовала на казачество не только экономически, не только прямой черносотенной агитацией. Царизм внушал казакам представление о самих себе как о некоей высшей касте, иной, «не мужичьей», народности. Тщательно вдалбливалась им в мозги иллюзия сословного единства, чтобы натравить их на русских

крестьян — «мужиков», на малые, угнетённые в царской России народности и на так называемых «иногородних» — живущих на Дону людей, не происходящих из казаков.

Характерен диалог Афоньки Озерова со Штокманом в первой книге «Тихого Дона». Афонька спрашивает Штокмана:

«— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Нет. Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путём,– сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей безрукий и заморгал чаще.

— Сволочь поселилась!.. Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать!»

Множество страниц в романе показывает, в какой степени удалось самодержавию затемнить сознание казаков.

Правдивая, умная пропаганда, которую ведёт Штокман среди казаков-бедняков, направляет и определяет их духовное развитие. Разоблачая сословные иллюзии, большевик-агитатор разъясняет казакам смысл процессов классового расслоения в среде казачества. Так, следуя сюжетному движению романа, читатель вводится в обстановку действия, постигает своеобразие условий классовой борьбы на Дону, сущность социально-психологических процессов, которые играют такую большую роль во всём развитии произведения.

Система образов романа ярко отражает расстановку классовых сил. В одном лагере — помещики Листницкие, богатей Мохов, кулаки Коршуновы, злейшие враги Советской власти, враги революции. В другом — машинист Котляров, батрак Михаил Кошевой и другие казаки, те, кто первыми устанавливали Советскую власть в своём хуторе.

Живописуя в широких полотнах картины гражданской войны на Дону, писатель показывает ожесточённую классовую борьбу в среде казачества, правдиво передаёт всю напряжённость этой борьбы, трудность разоблачения сословных представлений.

Уже в самом названии романа обозначается важная тема. «Тихий Дон» — это вековое название реки, как «Дон Иванович» или «Волга-матушка», «Волга — русская река». Но одновременно писатель как бы подчёркивает здесь иллюзорность представлений о спокойствии и благополучии кондового казачьего уклада, о мирном содружестве донских казаков внутри своего сословия. Резкий контраст этим ложным представлениям — изображение тех бурь, что давно уже зрели и, наконец, разразились над тихим Доном в годы гражданской войны. Враждовавшие силы пришли в столкновение. Иллюзия сословного единства навсегда распадается: казаки воюют против казаков — кулаки против бедняков, белые против красных...

Обстоятельное изображение социально-бытовых черт жизни казачества привносит убедительную художественную мотивировку тех сложнейших путей, по которым автор ведёт своих героев. Читатель видит в романе и то, как цепко владело казачеством сознание своей сословной обособленности от остального населения России, и то, что сознание это укоренилось не только в офицерской кулацко-атаманской верхушке казачества, но распространялось и на широкие его слои.

Глубоко справедливы слова Штокмана о том, как сильно было влияние реакционных идей и представлений на самые различные слои казачества.

В. И. Ленин говорил о бывшей Области Войска Донского как об «оторванном от общерусской демократии казачьем крае» (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 34, стр. 220), как о «местностях самых патриархальных, со слоем земледельцев самых зажиточных, наиболее сословие замкнутых» (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 36, стр. 402).

Коренная ломка социальных отношений в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции не только «всколыхнула и взволновала» тихий Дон. Она мощным плугом подняла к новой жизни пласты трудового казачества, распахав целину сословной замкнутости и обособленности, освободив казачьи массы от гнёта вековых предрассудков. Это был необычайно сложный социальный процесс.

Исключительная заслуга Шолохова в том, что он показал этот процесс во всей остроте и жизненности. Правдивая суровость шолоховского письма гармонически сочетается с гуманизмом писателя. Реалистическая точность образов и жизнеутверждающая романтич-

ность произведения выражают единую правду действительности.

Большевиков Штокмана, Котлярова, Лагутина, Бунчука, Анну Погудко, красного командира Лихачёва автор вывел как носителей лучших качеств советского человека-борца, носителей социалистического гуманизма. Острота изображения в том, что против них нередко сражались не только прямые классовые враги, но и те, за кого шла борьба,– представители среднего и даже беднейшего казачества, временно оказавшиеся на поводу у врага. Однако всем своим художественным строем произведение Шолохова говорит о победе того бессмертного дела, за которое сложили головы герои-большевики, о торжестве народной правды на политой их кровью земле.

Образы большевиков даны писателем в многообразии индивидуальных характеров. Выделяются Штокман — опытный, знающий революционер-организатор, мудро и спокойно ведущий трудную работу собирания и воспитания будущих большевистских кадров, умеющий в решающий момент подчинить людей страстной силе своей убеждённости и воли; всей своей чистой и прямой душой отдавшийся делу революции Иван Алексеевич Котляров; пламенный борец Бунчук.

Штокмана за его революционную деятельность царские власти осудили, сослали. Когда свершилась революция, он стал одним из организаторов Красной гвардии в местах своей ссылки, дрался против Дутова и Колчака. Потом вновь вернулся на Дон, направленный туда политотделом армии как человек, живший в этих краях, знающий местные условия. В Татарском он встретил Ивана Алексеевича и Михаила Кошевого. С большой теплотой описана в романе их встреча. Писатель показал, какие чистые, благородные чувства, высокие помыслы свойственны новому человеку.

Иван Котляров к тому времени стал уже председателем хуторского ревкома. Вокруг него сгруппировалось несколько человек — Давыдка-вальцовщик, бывший моховский кучер Емельян, чеботарь Филька. «На них-то и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе».

Характер молодого коммуниста Михаила Кошевого развивается в необычайно трудной обстановке. И он всей душой тянется к новой жизни, но условия его существования ещё не дали ему достаточного развития, необходимой

ясности взгляда на мир. До многого доходит Кошевой своим классовым чутьём. Он непримирим к врагам, трогательно сердечен в дружбе и в заботе о том, чтобы легче жилось трудовому люду. Врагов он ненавидит яростно, революции предан беспредельно. Это натура активная, борющаяся.

•

Почему так сложно переплетались реальные противоречия внутри казачества с иллюзорными сословными представлениями? Как уже говорилось, самодержавие веками навязывало их, преследуя совершенно определённую цель — обособить казачье сословие от «мятежных влияний», затушевать в сознании казаков подлинную природу социальных взаимоотношений, отвлечь массы казачества от вопросов истинного содержания классовой борьбы в их собственной среде и во всей стране. Реалистичность художественного письма открыла писателю возможность рассказать всю нелёгкую правду о путях казачества в годы революции и гражданской войны.

Одно из наибольших художественных достижений в романе — изображение судьбы семьи Мелеховых. По своему имущественному положению перед нами середняцкая семья, но в ней весьма сильны устои сословности. Казачьи иллюзии толкнули Петра в лагерь белых, запутали и сбили с пути старика Пантелея Прокофьевича, сделали столь трагичной судьбу Ильиничны. Писатель дал превосходные портреты этих людей, а также Дарьи — жёны Петра, Дуняшки Мелеховой, ставшей женой Михаила Кошевого, маленьких Мишатки и Полюшки — детей Григория и Натальи.

Длинная вереница образов, живых, наделённых яркими индивидуальными чертами, проходит перед читателем в произведении Шолохова. Писатель в высокой степени владеет искусством изображать характер во всей его цельности и в многообразии красок и оттенков внутреннего мира. Шолохов сочетает эпический строй своего романа с удивительной лиричностью повествования, передавая тончайшие интимные переживания людей, раскрывая самые сокровенные эмоции.

И всё же определяющая черта Шолохова — то, что он художник эпической темы. В ранних рассказах, в знаменитых романах «Тихий Дон» и «Поднятая целина», в рассказе«Судьба человека»,

в главах романа «Они сражались за Родину» — всюду изображается жизнь народа на крутых её поворотах, на гребнях больших событий, в годины, когда решаются глубинные проблемы современной истории, судьбы народа, страны. Гражданская война, годы коллективизации сельского хозяйства, испытания, которые выпали на долю советских людей во время Великой Отечественной войны...

Героев своих писатель показывает всегда на стремнине бурного течения революционной истории. Они, вышедшие из гущи народной жизни, являются участниками событий широкого общественного значения, событий, которые формируют их сознание, характеры, судьбы. В свою очередь эти люди своей деятельностью в той или иной степени влияют на ход развития истории.

В сплетении интересов, общих и личных, в сплетении побуждений, поступков человека и требований, предъявляемых к нему обществом, складывается судьба многих и многих шолоховских героев, а также отношение к ним и автора и читателя. Когда мы вызовем в нашей памяти нескончаемую живую галерею шолоховских образов — больших и малых персонажей, то обнаружим, что большинство их делится на две чётко отграниченные группы. На одной стороне те, кто себя противопоставил народу, на другой — люди, отдающие всю свою жизнь борьбе за народное благо. Мерой ценности человеческого характера, мерой ценности человека как личности служит то, в каких взаимоотношениях находится эта личность с обществом.

При всей яркости и удивительно подкупающих чертах характера Григория Мелехова, мы видим, с какой беспощадностью осуждает своего героя писатель, когда тот противопоставляет себя народу. Большая сложность этого образа в том, что по своей классовой природе Григорий, казак-середняк, должен бы пойти с теми людьми, которые строили Советскую власть на Дону, боролись за её упрочение, однако запутанное в его сознании переплетение классовых противоречий и сословных предрассудков затемняло мысль этого, по существу, полуграмотного человека, и он сражался с оружием в руках против тех, кто в боях добывал счастье народу, таким людям, каков был и сам Григорий.

Характерно для творчества Шолохова, что и в Григории Мелехове он с присущей ему силой реалистического

искусства показывает человека труда, которому приходится решать очень сложные проблемы. Григорий, страстный искатель правды, мечется из одного стана в другой, в конце прекращает борьбу, так и не решив вопросов, которые ставила перед ним жизнь.

Григорий Мелехов и Аксинья — трагические образы редкой силы. Следует сказать, что Григорий Мелехов отнюдь не всегда оказывается типическим выразителем социального поведения и настроений основной массы казачества. Создавая этот образ мятущегося искателя правды, писатель раскрыл в нём сложную тему трагедии человека, которого силы прошлого опутали и ослепили на его трудном пути.

Образ Григория всё время находится в центре внимания автора и читателя. Но при этом его никак нельзя занести в удобные для критика рубрики положительных или отрицательных персонажей. В нём есть прекрасные человеческие потенциалы, и в то же время к концу пути Григория в романе всё сильнее вступает тема трагедии.

Противоречива и запутанна дорога жизни Григория. Это путь подъёмов и падений, надежд и разочарований, завершающийся поистине трагическим финалом. Писатель с особенной выразительностью показал здесь, как подымается человек, когда идёт вместе с .народом, и к какой опустошённости приходит он, когда судьба личности вступает в конфликт с судьбой народа. Эта философская концепция определяет глубокое родство «Донских рассказов» и «Тихого Дона». В «Тихом Доне» революционно-гуманистическая тема шолоховского творчества выражена своеобразно и остро. Она решена не только прямой аргументацией, но и доказательством «от противного», причём оба метода решения реализуются в изображении различных этапов биографии одного и того же действующего лица.

В конце первой книги романа перед нами казак-фронтовик, разочаровавшийся во многих идеалах старого казачества. Его подавляют ужас и бессмысленность ненужной народу войны, затеянной царским правительством ради чьих-то, непонятных Григорию, выгод и интересов. На вполне подготовленную почву падают слова большевика Гаранжи, с которым лежит Григорий в госпитале после ранения.

«Ты кажешь,– за царя, а шо ж воно таке — царь? Царь — пьянюга, царица — курва, панским грошам от войны

прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье,– солдат вошку бье, тяжко обоим... Хвабрыкант с барышом, а рабочий нагишом, так воно порядком и пластуется... Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый...»

Изо дня в день раскрывал большевик Гаранжа перед Григорием новые для того истины. Он разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа загонял его в тупик убийственно простыми вопросами и доводами, и Григорий вынужден был соглашаться. Самым страшным для Григория казалось то, что в душе он чувствовал правоту Гаранжи. Возражений не было, и нельзя было их найти.

«С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи».

Однако сила сословных представлений, сословных предрассудков, как известно, была в казачестве исключительно устойчива. И стоило Григорию опять оказаться в обстановке родного хутора, чтобы в его сознание вновь стало просачиваться старое, правда уже на иной основе и в иных формах. «Своё, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой».

И вот Григорий с неменьшим вниманием, чем прежде Гаранжу, слушает «казацкого автономиста» Изварина.

Вначале они вели горячие споры, но полуграмотный Григорий был в этих спорах безоружен. Едва успев под влиянием Гаранжи стать на устойчивую почву, Григории снова чувствовал, что она колеблется под его ногами.

Пытаясь найти выход из обуревавших его противоречий, Григорий осторожно расспрашивает Изварина о большевиках: как, по его мнению, большевики правильно рассуждают или нет?

И в ответ на прямо контрреволюционные речи Изварина Григорий, чувствуя, что большинство казачества «за большевиков тянет», говорит:

«...ничего я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться... Блукаю я, как метель в степи...»

И подлинно — он блуждает, как метель в степи. После знакомства с Извариным следует сближение с Фёдором Подтёлковым, затем резкий разрыв с ним.

Тут уместно вспомнить известные слова Ленина:

«Пролетарий говорит мелкому крестьянину: ты — сам полупролетарий; иди за рабочими, иного спасения тебе нет.

Буржуа говорит мелкому крестьянину: ты — сам хозяйчик, «трудовой хозяин». Трудовое хозяйство «растёт» и при капитализме. Твоё дело хозяйское, а не пролетарское.

Две души в мелком хозяйчике: пролетарская и «хозяйская» (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 25, стр. 63).

Приведём и другое высказывание Ленина — об обмане масс буржуазией:

«Мелкий буржуа находится в таком экономическом положении, его жизненные условия таковы, что он не может не обманываться, он тяготеет невольно и неизбежно то к буржуазии, то к пролетариату. Самостоятельной «линии» у него экономически быть не может.

Его прошлое влечёт его к буржуазии, его будущее к пролетариату. Его рассудок — тяготеет к последнему, его предрассудок (по известному выражению Маркса) к первой» (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 34, стр. 40).

Всей системой образов «Тихого Дона» писатель показал, насколько сложны были эти процессы в среде казачества.

Противоречия Григория ещё сильнее обнаруживаются, когда он от размышлений переходит к действию. Несмотря на всю тяжесть его раздумий, он начинает действовать внезапно и почти каждый раз импульсивно, необдуманно и через некоторое время совершает столь же стремительный рывок в противоположную сторону.

Григорий не видит истины, хотя всё время страстно ищет её: «...стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их...»

Годы мучительных, испепеляющих душу метаний понадобились ему, чтобы прийти к окончательному отрицанию

одного из начал и к смутному ощущению того, что надо было решительнее принять второе и этим сразу же определить своё место в жизни. Однако даже это смутное ощущение возникает у Григория слишком поздно. Так непросто сложилась его судьба. Жестоко расправившись с красными матросами, он бьётся в эпилептическом припадке: «Кого же рубил?.. Братцы, нет мне прощения!.. Смерти... предайте!..» Он ненавидит Дарью, застрелившую большевика Ивана Алексеевича Котлярова. Он понимает, что те казаки, которые восстали против Советской власти, совершили страшную ошибку: «Зараз бы с красными надо замириться и — на кадетов...» Но проходит недолгое время, и Григорий оказывается в стане белых — злейших врагов Советской власти... Новые тревоги испытывает он и с новыми препятствиями встречается на своём жизненном пути. Здесь он чужой, это враги трудового казачества. Григорий навсегда уходит от них. Но уходит не потому, что понял правоту красных, а лишь потому, что понял неправоту белых.

Именно то, что он так и не увидел всей правды, которую несли и несут коммунисты, и сломало жизнь Григория. У него были рывки в сторону большевиков, очень мощные и глубокие; он даже сражался в будённовской Первой Конной. Но груз прошлого за плечами был слишком велик, и Григорий постепенно стал слабеть духом.

Любопытно сейчас вспомнить, как горячо переживали читатели развитие романа. Долго пришлось им ожидать завершения судьбы Григория. Седьмая часть произведения обрывалась на том, что Григорий остался в Новороссийске ждать красных, решив сдаться им после эвакуации остатков белых армий за границу. Яркая концовка обостряла интерес к дальнейшему ходу событий, но не давала возможности ничего угадать в личной судьбе Григория. В течение двух лет, протёкших до опубликования восьмой, последней, части романа, почта в станице Вёшенской пересылала автору множество писем, в которых читатели, проявляя исключительную заинтересованность судьбою Григория, предлагали писателю самые различные окончания романа.

Это объясняется, во-первых, силой самого романа, во-вторых, тем, что работа над ним растянулась на годы, и, наконец, и главным образом, тем, что нигде в мире

писатель не ощущает столь полно связи со своими читателями, с народом.

В газетах печатались отдельные главы, отрывки из восьмой части. Они давали возможность предполагать, что Григорий «найдёт свою судьбу». Поэтому в одних читательских письмах содержалось требование сделать Григория коммунистом; другие читатели, наоборот, считали, что для этого слишком велик груз за плечами у Григория, его прошлое — активная вооружённая борьба против Советской власти. Выдвигался и такой вариант: Григорий ведёт в атаку будённовский эскадрон и гибнет в бою... Это лишь три наиболее характерных примера. Читатели предлагали много решений.

В начале 1940 года роман был завершён. Последние главы с новой силой раскрыли трагедию Григория. Судьба его оказалась тяжёлой и мрачной.

Конец романа очень сложен.

«Ранней весною, когда сойдёт снег и подсохнет полёгшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещу)? над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зелёнке пролётные гуси, и вьют гнёзда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мёртвая, обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит её зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую тёмную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория...»

Едва ли найдётся читатель, который, перевернув последнюю страницу книги, не испытает чувство большого потрясения. И к этому первому ощущению примешивается осадок горечи. Почему же всё-таки писатель принял такое решение?

Книга отвечает:

«...Всё это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что

достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и всё пойдёт как по писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнёт, всё устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле».

Мы видим, что многого не прощает себе сам Григорий, но прежде всего ничего не простил своему герою автор романа. Для шолоховского подхода к решению широкой общественной темы характерно, что, создавая произведение, проникнутое глубоко оптимистическим восприятием жизни, писатель с суровой реалистичностью изобразил индивидуальную судьбу Григория Мелехова.

Читателю хотелось, чтобы нечто важное в жизни Григория сложилось по-иному. Это непосредственное чувство в большой мере вызвано тем, что автор покоряюще ярко изобразил жизнь Григория и Аксиньи и сделал их судьбу близкой читателю.

Что же привело Григория к такому тяжёлому концу?

Когда Григорий полностью и окончательно разочаровался в белых и порвал с ними, он сражался в будённовской коннице против белополяков горячо, со всей страстью. В этот момент он вновь предстаёт как выразитель чувств и воли средней массы донского казачества, хлынувшей в ряды Красной Армии и соединившей свою судьбу с судьбой Советской власти, с судьбой всего советского народа. Но автор неоднократно подчёркивал и в книге, и в публичных выступлениях, что в судьбе Григория очень много индивидуального. Некоторые особенности этого индивидуального ближе к концу романа отрывают Григория от народа. Его метания продолжались и тогда, когда народ уже нашёл свой путь. Мелехов на одном из последних этапов своего пути примкнул к тем, кто бесславно погиб в борьбе против революции, против русского трудового народа, нёсшего освобождение всем трудящимся, без различия сословий.

Вполне понятно настороженное отношение к Григорию как бывшему повстанческому командиру со стороны комиссара и коммунистов эскадрона. Но, видя это отношение, Григорий обижен и озлоблен. Он принимает свою демобилизацию даже с некоторым удовлетворением. «И лучше, что меня демобилизовали. Всё к концу ближе»,– говорит он, делясь с Прохором Зыковым сокровенными думами и

не отрицая того, что ему, «конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца, может тогда и обошлось бы для меня всё по-хорошему».

Несмотря на свою обиду, Мелехов возвращается в хутор с мирными, хотя и наивными, намерениями и стремлениями: «...И в армии и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело — восьмой год с коня не слазил! Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают...»

Обстановка в хуторе, однако, гораздо более сложна, чем предполагал Григорий. И в этом автор верен суровой правде жизни. Как ушат холодной воды действует на Григория встреча с бывшим другом Михаилом Кошевым. Гражданская война ещё не утихла, страсти ещё накалены, и Михаил видит в Григории возможного и вероятного врага. Не всё прощается и не всё забывается, говорит Кошевой: «Нашей крови он пролил немало. Ишо примерить надо, чья кровь переважит...» Он настаивает на том, чтобы Григорий — как бывший офицер — немедленно явился в ЧК на регистрацию. Сестра Григория Дуняшка, вышедшая замуж за Кошевого, рассказывает брату, что Михаил ожидает его ареста, а то даже и расстрела. С другой стороны, бывшие его однополчане из зажиточных казаков, которые были недовольны продразвёрсткой, и из числа тех, кому вообще с Советской властью было «не по пути», попрекают Григория тем, что он забыл своё казачье достоинство, «в мужики записался», даже штаны без лампасов носит...

Готовится контрреволюционное восстание. В Григории видят человека, который может стать одним из его главарей. Казаки высказывают ему свои настроения, «как всё одно родному отцу-командиру».

Наиболее активную и страшную роль в судьбе Григория сыграл Яков Фомин, предводитель банды, восставшей против Советской власти.

Услыхав от Прохора Зыкова о восстании, поднявшемся за Богучаром, в Монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве, Григорий говорит: «Это плохая новость. Мне теперь будет трудновато... По соседству восстание, а я бывший офицер да ишо повстанец...» Он и без того боялся, что окружная власть станет на точку зрения Кошевого, боялся возмездия за свои преступления против

Советской власти. Положение Мелехова ещё более обострялось в напряжённой обстановке. После предупреждения Дуняшки о том, что Михаил настаивает на аресте Мелехова, Григорий скрывается из хутора. Его захватывают фоминовцы, и он, не водя для себя верного пути, вступает в банду — с отвращением, идя на это как на самоубийство, хотя и сохраняет мечту взять с собой Аксинью и уйти на Кубань, вести там мирную жизнь, выжидая, пока всё утрясётся.

Находясь в банде, Мелехов видит, что фоминовские «идейные борцы» — обыкновенные бандиты. Григорию день ото дня становится всё более явной их враждебность народу. Он бросает банду и ночью тайком пробирается в хутор за Аксиньей, чтобы вместе с нею бежать на Кубань.

В пути Аксинья погибает. И тут Григорий понимает, что «самое страшное, что только могло случиться в его жизни,– уже случилось...». Сам солнечный свет меркнет перед его глазами. Это дано автором в изумительном образе чёрного солнца.

Последние страницы романа рисуют окончание пути Григория, резко изменившегося, не такого, каким его знали читатели, за которого они волновались. Григорий сломлен. «Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость». «Всё отняла у него, всё порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он всё ещё судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...»

Однако кончается и это. Тоска по детям, по родному хутору не даёт ему оставаться среди дезертиров, с которыми он прятался в лесу, «ночами тоска воспоминаний одолевала его...».

«Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать...» Не дожидаясь амнистии, которая предвиделась к Первому мая, он идёт домой. На минуту встают в памяти черты прежнего, нетерпеливого Григория, который говорил, что ждать да догонять — самое постылое дело. Возвращаясь в хутор, Григорий бросает всё своё оружие в Дон. Он идёт сдаваться.

Финальный эпизод — встреча с сыном — достойное завершение книги, написанной со всё нарастающим творческим подъёмом и удивительным мастерством.

Читатель может спросить: что же всё-таки оттолкнуло Григория от Советской власти? Не затаил ли он в душе настроений, роднивших его с белым казачеством, не остался ли он белым, уже придя к красным?

«...думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу... Я им приверженный, как же! Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловскпм офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-англицки, под ноздрями две полоски, как сопли, так я его с таким усердием навернул, ажник сердце взыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке... и белая офицерская кокарда улетела... Вот и вся моя приверженность».

Всматриваясь в образ Григория, мы понимаем, что эти слова вполне искренни. Он, попросту говоря, от одних отстал и к другим не пристал. Народ ушёл вперёд, а Григорий продолжал колебаться. От командира красного эскадрона до одного из главарей бандитской шайки — таков печальный путь Григория в восьмой части книги, до момента его сдачи Советской власти.

Он оказался не в силах выбраться из сетей сословных предрассудков, которые веками культивировал в казачестве царизм. По своему существу Григорий мог бы стать советским человеком, но слишком сложными оказались для него противоречия и связи, из которых он не сумел найти выхода. Таков трагический смысл образа Григория.

Немало проясняет этот образ спор Григория с Кошевым в восьмой части романа. И если в этом диалоге Григорий лишь приоткрывает своё душевное состояние и мысли о своём жизненном пути, то в беседе с Прохором он решается на горькое признание:

«...я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь... От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби...»

Как видим, он не раз возвращается к этой мысли, ибо и сам не может не чувствовать, что оторвался от массы казачества, от тех, с кем одно время шёл рядом и кто теперь решительно и окончательно стал на сторону Советской власти.

Полна большого внутреннего содержания картина:

«...Григорий видел во сне широкую степь, развёрнутый, приготовившийся к атаке полк. Уже, откуда-то издалека, неслось протяжное: «Эскад-ро-о-он...» — когда он вспомнил, что у седла

отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя,– седло поползло под ним... Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт.

Полк пошёл в атаку без него...»

Здесь очень точно выражено психологическое состояние Григория. Сколько раз испытывал он стыд и ужас, видя себя соучастником кровавых и позорных дел фоминовцев, чувствуя ненависть и презрение народа. Стыд и ужас испытал он, поняв, что оказался позади жизни.

«Кого рубил, братцы!..» — это страшный лейтмотив внутреннего развития образа Григория.

Много горькой правды в произведении Шолохова, повествующем о годах напряжённой классовой борьбы на Дону. В романе показано, как белое движение широко использовало опыт царизма, делая ставку на сословные иллюзии, предрассудки, для того, чтобы подпить казачество против Советской власти. И когда лучшая часть казачества в ходе борьбы определила свою судьбу, решительно став на сторону революции, народного дела, судьба многих казаков оказалась трагической, ибо они не поняли, где их счастье. Сила вековых традиций, влияние чуждой идеологии, сословных предрассудков затемнили их сознание, хотя по своей классовой природе они должны были стать на сторону революции. Эти люди пошли по чужой для них дороге, и не один из них сложил голову за бесславное дело.

В первой и третьей книгах романа мы находим изумительные эпиграфы — старинные казачьи песни:

Не сохами-то славная землюшка наша распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными копытами.
А засеяна сливная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.

Ой, ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон,
мутнехонек течёшь?..

Слышится здесь и горькая жалоба рядового казачества, нёсшего службу царю, ту самую службу, про которую давно говорено на Дону: «Слава казачья, а жизнь собачья», видна и скорбь по Дону, разметавшему свой цвет — казаков.

Немало их рассеялось по чужим землям; немало погибло в боях с теми, кто нёс им освобождение от векового гнёта...

Поэтому с такой силой звучит ответ тихого Дона:

Уж как то мне всё мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков.
Размываются без них мои круты бережки, В
ысыпаются без них косы жёлтым песком.

И потому такой глубокой тоски исполнены суровые строки четвёртой книги романа, звучащие в момент, когда Григорий слышит песню о боевых подвигах казаков во времена Ермака:

«Над чёрной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Она бесхитростными, простыми словами рассказывала о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати; ходивших по Дону и Волге на лёгких воровских устругах; грабивших орленые царские корабли; «щупавших» купцов, бояр и воевод; покорявших далёкую Сибирь... И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа...»

Последовательная цепь событий, поступков Григория ведёт к тому, что в конце книги он остаётся один. Это отнюдь не снижает ни значения книги, ни читательского интереса к ней. Значение фигуры Григория Мелехова сужается от образа человека, нередко выражавшего настроения всей массы среднего казачества, до образа одиночки, потерявшего почву под ногами. Но оно в то же время расширяется, выходя за рамки и специфику казачьей среды, Дона, 1921 года, и вырастает до типического образа человека, искавшего, но так и не нашедшего своего пути в годы революции.

Эпическое повествование о том, как силы революции, силы нового в суровой борьбе освобождают и подымают мощь народа, пробуждают его к свободной, творческой, созидательной жизни, не просто противопоставлено автором трагической личной судьбе Григория.

Трагичен конец романа для личной судьбы Григория. Но в трагической двойственности этого образа и его развития таится многое, что могло бы сделать Григория иным, разберись он вовремя в том, что совершалось вокруг. И потому читатель вправе был волноваться

за его судьбу, проявляя интерес к ней вплоть до самой развязки.

Перед тем как пойдёт речь дальше, восстановим в памяти финальные аккорды романа.

«Что ж, вот и сбылось то немногое, о чём бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...

Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока ещё роднило его с землёй и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

Вглядимся попристальнее в страницы «Тихого Допа». Гуманистическое решение остродраматической темы романа-эпопеи проявляется опять-таки в различных аспектах. Погибли в борьбе за дело коммунизма Штокман, Бунчук, земляк Григория Мелехова казак Иван Алексеевич Котляров, погибли герои-подтёлковцы. Им не довелось увидеть торжество дела, за которое они отдали свою жизнь. Скорбно и почтительно-строго прощаются с ними автор и читатель.

От кулацкого сына, карателя Митьки Коршунова, кровного врага трудового народа, с гневом отрекается старик Мелехов, ревностный блюститель казачьей славы и чести. А о старом пане Листницком и его сыне Евгении говорится вот как: «Ну, и чёрт с ними! Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих — горевать некому!» С тем же равнодушием встречена и бесславная смерть атамана бандитской шайки Якова Фомина: «Что же, так и должно было получиться...»

Не примечательно ли, что такой жестокий итог прожитой ими жизни подводит не кто иной, как Григорий Мелехов.

Это ещё одна из красок в очень сложном и глубоко гуманистическом решении образа самого Григория. За что читатели полюбили этого героя «Тихого Дона»? За горячую и сильную душу, за смелость, геройство, за протест против несправедливостей царской России, против войны, которая была навязана народу самодержавием, за ненависть к эксплуататорам, за постоянное стремление узнать, найти правду, прозреть. Наконец — за всецело овладевшее им чувство к Аксинье, которое так облагораживает образ Григория. Видя, как внешние обстоятельства и темнота сознания толкают Григория в лагерь врагов, видя, как мечется из стороны в сторону этот человек неуёмного и жаркого темперамента,

читатель испытывает смешанные чувства и сожаления, и горечи, и досады за него. А самый финал заставляет наново просматривать все этапы противоречивого, извилистого жизненного пути Григория, размышлять о том, как может сложиться жизнь его дальше, словно речь идёт не о литературном герое, чьё существование заканчивается именно там, где автор поставил последнюю точку, а о живом, чем-то близком нам человеке...

Шолоховский гуманизм потребовал сложнейшего изображения судьбы Григория и Аксиньи, людей, не нашедших своего пути в суровое время гражданской войны, бессильных сорвать с себя путы, которыми прошлое цепко держало в плену их сознание.

Ни к тому, ни к другому из враждующих станов так и не пришёл Григорий Мелехов. Классовая природа казака-середняка определяла его колебания в пору, когда утверждалась Советская власть и шла ожесточённая борьба за новую жизнь, за свободу для трудового народа. Колебания усиливались сложнейшим переплетением классового и сословного в среде казачества. Григорий — крестьянин-труженик, и он должен был бы в конце концов пойти с теми, кто строил Советскую власть. Именно так решила свою судьбу основная масса крестьянства, в частности — казачества. Но сословные предрассудки крайне обостряли процесс этих колебаний, и хочется снова" и снова напомнить, что многие казаки из средних слоёв были увлечены контрреволюционными силами на неверный путь, восстали против новой, побеждающей жизни. В их числе оказался и Григорий Мелехов. Можно только повторить также, что извилины его жизненной дороги во многом объясняются и резко выявленными индивидуальными чертами этой личности, особенностями его характера, его биографии.

А. С. Макаренко высказал любопытнейшую мысль о существенной стороне мастерства основоположника литературы социалистического реализма М. Горького как художника-гуманиста. В горьковском проникновенном изображении, подметил Макаренко, нередко предстают перед нами герои, вызывающие с нашей стороны суровое осуждение, но показанные так, что «ясно видны их человеческие силы и лучшие человеческие потенциалы». К таким образам относил он Вассу Железнову, Фому Гордеева, Егора Булычёва, подчёркивая, что в них обрисованы «прекрасные человеческие характеры, развращённые и исковерканные»

капитализмом. Подобным же путём можно подойти к пониманию глубокого значения образа Григория Мелехова, в чьём характере прекрасные «потенциалы» тоже были исковерканы царизмом, капитализмом, контрреволюцией. Это хочется подчеркнуть ещё и потому, что здесь отчётливо проступает одна из коренных связей, роднящих гуманизм Шолохова с творческими принципами и Горького и Макаренко.

Развитие советского Дона — свидетельство того, что в отношении массы казачества история подтвердила наличие этих потенциалов и с невиданным размахом превратила их в энергию действия, в созидание новой, социалистической жизни.

Гоголь назвал поэмой своё прозаическое произведение «Мёртвые души». Ему следовал Макаренко, давая заглавие своей книге «Педагогическая поэма». «Тихий Дон» с полным правом может быть назван эпической песней о донском казачестве. Притом не только потому, что в нём так очевидна стихия песни, но и потому, что всё глубинное содержание его сродни народной песне о больших событиях в истории народа.

Шолохов изображает действительность исторически конкретно, в революционном развитии, в непримиримой борьбе нарождающегося с отживающим. Всегда его произведения вскрывают драматизм борьбы и прославляют победу нового, передового.

Трагично сложилась жизнь Григория и Аксиньи. Только ли их жизнь? Многие другие судьбы в «Тихом Доне» также сродни высокой трагедии. Но, при всей своей суровости, драматичное повествование проникнуто могучей силой жизнеутверждения. Торжествует в романе правда людей труда, правда революции. Враги терпят сокрушительное поражение. Произведение писателя-реалиста показывает победу народного дела, поражение того, что сознательно или по слепоте своей сопротивляется ходу революционной истории, что пытается стать на пути движения человечества вперёд.

Как бы уже из будущего, из «третьей действительности» (по слову М. Горького), смотрит писатель на события, на людей настоящего, и это помогает ему верно определить место и значение того пли иного явления в общем поступательном процессе, соразмерность частей целого, выделить наиболее крупное, типическое, закономерное.

Раскрыв переплетение объективных и субъективных причин, породивших трагедию Григория и Аксиньи, писатель в то же время показал, что передовое казачество уже в те годы пошло за Советской властью.

Развёрнутое изображение жизни советского казачества, образы коммунистов, поведших казачество по новому пути, даны в романе «Поднятая целина». Но и в «Тихом Доне» трагедия Григория развивается на фоне стремительного порыва массы трудового казачества к этой новой жизни.

•

Ещё два слова о трагедии и о фоне, на котором она развивается...

С чёрной, выжженной палами степью сравнивает автор жизнь Григория в конце его пути. Это сильный и мрачный образ. Но в том же описании столь же аллегорично воспринимается картина радостного утверждения жизни:

«Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зелёнке пролётные гуси, и вьют гнёзда осевшие на лето стрепета».

Сопоставим это с картинами буйной донской весны, разбудившей землю к новой жизни, всматриваясь в них, вслушиваясь в весенние голоса степи, читатель, конечно же, почувствует, что они языком тонкого искусства говорят о пробуждавшихся силах освобождённого народа.

Старое обречено, как оно пи цепляется за существование, сколько вреда оно ни приносит, тщетно пытаясь повернуть движение времени вспять. Силы нового полны несокрушимой веры в будущее. Шолохов показал яростное сопротивление сил старого мира и бесславное крушение попыток мёртвого удержать живое в его движении вперёд. Старый мир искалечил жизнь Григория. Но писатель обращает наши взоры в будущее. Вера в победу революции даёт силу и цельность характерам многих героев романа, которые в противовес Григорию Мелехову ясно видят свой путь, конечные цели своей борьбы, борьбы народа. Они твёрдо убеждены, что их дело, дело народа, победит. Той же уверенностью дышит образ Кошевого, устанавливающего Советскую власть в хуторе Татарском. Это представители народа, побеждающего в борьбе с вековыми его угнетателями.

А как важно и значительно то, что в новую жизнь идут ростки и из мелеховскои семьи — Дуняшка и сын Григория Мишатка!

Эта жизнь несёт в себе высокие идеалы беспощадной борьбы против угнетения, закабаления, принижения человека, борьбы за расцвет его творческих сил. Тема гуманизма социалистической революции раскрыта глубоко и верно в символичном решении драматической ситуации: сына Григория Мелехова растит в своей семье большевик Михаил Кошевой.

Мы знаем, как реализовала революция лучшие потенциалы казачества. Она раскрепостила в нём, как и во всём народе, могучие силы и таланты, воспитала новые черты, присущие характеру советского человека. Возникло новое, колхозное казачество. Жизнь его — уже в годы социалистической стройки, коллективизации, первых пятилеток — коренным образом отличалась от прежнего уклада казачьей жизни. Это подлинно новая жизнь.

Советская власть заботливо отбирала и сохраняла то лучшее, что отличало казаков в прошлом. Это всегда были умелые воины, которые прославили на весь мир силу русского оружия в исторических битвах и походах. В их среде веками складывались навыки военной дисциплины и воинской службы, воспитывались необходимые для этого качества — мужество, стойкость, храбрость, дух военного товарищества. В своей массе казачество состояло из тружеников-хлеборобов, любивших свой труд на земле и воинское мастерство.

Советская власть, Коммунистическая партия очистили эти присущие казачеству черты от всего того, что въедалось в его сознание под разлагающим воздействием царизма, кулацко-атаманской и дворянско-офицерской верхушки казачества.

Вспомним, что царизм веками уродовал быт и уклад казачьей жизни, всячески добиваясь того, чтобы казачество превратилось в неколебимую опору самодержавия. Однако земельные наделы и привилегии, по существу, были достоянием верхушки казачьего сословия. На долю же трудового казачества приходилось сравнительно немного. Поэтому царизму в его последовательной обработке казачества и понадобились культ командира, беспрекословное подчинение ему, закрепощение не только экономическое, но и духовное.

Сметая устои, на которых зиждилось закабаление народа, революция шла навстречу вековым чаяниям народа, в том числе трудового казачества,– чаяниям свободной жизни.

Годы Советской власти неузнаваемо изменили облик казачества. Партия воспитала в казаках, как и во всём нашем пароде, чувство советского патриотизма, сознание своей ответственности за общее дело народа, стойкость в преодолении любых препятствий, преданность идеям коммунизма.

Когда разразилась Великая Отечественная война, советское казачество показало себя в суровом испытании достойным представителем народа социалистической державы.

Процессы изменения народной жизни в борьбе за установление на земле коммунизма отображены во всём творчестве Шолохова. Роман «Тихий Дон» показывает один из начальных этапов борьбы на одном из наиболее сложных участков, и он тесно связан своим идейным содержанием со всеми последующими произведениями писателя.

•

Среди множества неповторимых характеров, созданных Шолоховым, видное место занимает образ Аксиньи. Он по праву принадлежит к лучшему, что написано о женщине в русской литературе.

Впервые в развитии мировой литературы появилось столь проникновенное изображение внутреннего мира женщины-крестьянки. Писатель показывает, что именно народ является носителем тех сильных и многообразных чувств, которые должны составить содержание самых высоких произведений искусства.

Обаятельность образа Аксиньи и её прекрасная любовь к Григорию привлекают к себе внимание не только той глубиной и яркостью, которую передал автор, раскрывая мир её чувств. История Григория и Аксиньи помогает определиться отношению читателя к образу Григория, полнее раскрыть и этот характер. И здесь правда человеческих отношений, предстающая во всей своей сложности и противоречивости, без прикрас и сусальности, освещена облагораживающей мыслью художника-гуманиста.

В значительной мере именно отношения Аксиньи и Григория, то, как они умели любить друг друга, сблизили их

с читателем. Этой любви посвящены многие сильнейшие страницы романа.

В финальных сцепах «Тихого Дона» читатель видит, какой высоты и чистоты достигли чувства двух любящих людей. Мастерство писателя раскрывает нам, как непросто развивались их отношения.

Обратимся к начальным главам.

«Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарёй...

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступлённо горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встрече почему-то стыдились люди смотреть...

...Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не отказывала бы другим, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти по таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в погаленьком выжиданьице: придёт Степан — узелок развяжет».

У Аксиньи заполнившее её чувство проявляется сразу и окрашивается нежностью и преданностью любимому:

«Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Тришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой».

Она сразу отдала всю свою жизнь Григорию, только о нём думала, живя с нелюбимым Степаном.

Медленнее развивается чувство Григория:

«—...Надумал я, давай с тобой прикончим...

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана»), но он досадливо

облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

– ...прикончим эту историю. А?»

«...на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжёлым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил — и всё».

Им суждено было пережить многое — страсть, ненависть, одиночество, жадные поиски правды в жизни, суровые столкновения с действительностью, тоску друг по другу,– прежде чем созрело большое чувство Григория и прежде чем он сказал однажды, уже после нескольких лет разлуки, встретив Аксинью на спуске к Дону, на том самом месте, где ещё мальчишкой приставал к ней перед отъездом Степана в лагеря: «Здравствуй, Аксинья дорогая!» И.на её вопрос: «А ить, никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани, и зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в энтот день в лагеря провожали...» — ответил: «Всё помню!»

Что значила ласка в его голосе для Аксиньи?

«Многолетнему чувству Аксиньи... нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое: «Здравствуй, Аксинья дорогая!» А он? Он ли не был ей дорог? Не о нём ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь всё к нему же?»

Растёт их чувство, сохраняя весь свой жар и с каждым днём облагораживаясь.

«...последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами её возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками чёрных усов, с преждевременной сединой на висках и жёсткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений,– а тот, прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему ещё большую любовь и почти материнскую нежность.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную

рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

– «Вошёл ты в меня, проклятый, на всю жизнь!»Читатель ощутит здесь всю силу переживания Аксиньи. Такая любовь не могла не перевернуть и Григорьеву жизнь. И в его загрубевшее сердце вошла теплота и нежность к женщине, без оглядки отдавшей ему свою судьбу. Мы видим проявление нового для Григория чувства в минуту,– когда Аксинья испытывает большие физические страдания. Это чувство прорывается в непривычном для Григория обращении:

«Тебе плохо, родимая?»

И когда ему бывает очень трудно, его поддерживает преданная любовь Аксиньи.

«Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу!»

Она бросает всё, уезжая с ним в отступление, делит с ним лишения и тяготы, готовая вместе с ним встретить всё, что несёт им судьба. И Григорий в самые тяжёлые свои часы неизменно обращается душой к Аксинье.

С глубоким психологическим проникновением в душевный мир своих героев показал писатель в финале романа, как, вновь уходя из хутора, навстречу новым тяжким испытаниям, Григорий чувствует, что значит для Аксиньи счастье быть вместе с ним:

«Он видел её опухшие от слёз, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щёки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла, как будто в гости... Ничто её не страшит, вот молодец баба!»

Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:

– Видишь, какая я... свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили... Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть!»

Вот почему с такой исключительной силой звучат последние эпизоды высокой трагедии.

«Аксинья умерла на руках Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал её в холодные и солёные от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же

испуганно вскочил на ноги. И ещё раз упал, больно ударившись обнажённой головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиною в пояс — ушло много времени.

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди её мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала её полуоткрытые, неподвижно устремлённые в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твёрдо веря в то, что расстаются они ненадолго...

Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную жёлтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Всё было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой чёрное небо и ослепительно сияющий чёрный диск солнца».

Особенности подхода автора к изображению человеческих характеров отчётливо видны и в портрете Натальи Коршуновой. Стремление изобразить человека во всей полноте его внутренней жизни выразилось в том, что, описывая любовь Григория и Аксиньи, писатель не сделал Наталью только постылой женой, помехой их чувству. Этот образ тоже наполнен большим содержанием. Многое в Наталье мило Григорию. А она любит его беззаветно. Движения её души раскрыты писателем во многих проявлениях. Сколько подкупающей простоты, сколько силы чувства в её письме к Григорию...

«Григорий Пантелевич!

Пропиши мне, как мне жить, и навовсе или нет потерянная моя жизня? Ты ушёл из дому и не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что

ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушёл навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мёртвый.

Думала, сгоряча ты ушёл, и. ждала, что возвернёшься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю — буду одно думать, а то я стою посередь дороги.

Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа. Наталья».

Ведь Наталья ещё в первые годы их совместной жизни пыталась покончить с собой. И умерла она из-за Григория.

Её натура была более робкой, чем у Аксиньи, чувство более замкнутым. Но оно тоже было горячим и искренним. Ему были доступны такие взрывы, как в сцене проклятия Григория.

Автор правдиво передал и то, как в Григории нарастает тёплое чувство к жене, преданно и самозабвенно любившей его всю жизнь. Эта теплота в отношениях Григория и Натальи всё более проступала, несмотря на сложность и трудность самих отношений. Немалой причиной того были дети.

Гуманистическая природа шолоховского творчества естественно проявилась в изображении детей, в созданных писателем образах матери. Зачатки этого, как мы убедились, можно видеть в «Донских рассказах». В «Тихом Доне» и в «Поднятой целине» он выступил как художник-психолог, удивительно многообразно и чутко воспринимающий всё истинно человеческое в жизни людей труда, несущих в себе огромное духовное богатство.

Кого не взволнуют сцены с Мишаткой и Полюшкой после смерти Натальи, описание начинающей крепнуть привязанности Мишатки к отцу, трогательного отношения Михаила Кошевого к своему маленькому тёзке — Мишатке!

Писатель вывел в «Тихом Доне» тип женщины, проносящей сквозь всё, что обрушивает на неё жизнь, всепоглощающее, иногда безответное и всегда самоотверженное чувство к своим, зачастую столь непонятным для неё, детям.

Таковы мать Бунчука, мать Михаила Кошевого.

Особенно сильно написан образ Ильиничны, матери Григория. К описанию последних дней и часов этой женщины читатель может возвращаться много раз, и он вновь и вновь испытает

чувство потрясения. Это поистине вдохновенные страницы.

С той же силой описана в романе смерть Натальи.

Много горького в шолоховской трагедии. И часто на смену этим мрачным картинам, верный чувству художественной меры и такта, автор даёт широкие, привольные картины природы, удивительные «шолоховские» пейзажи, пространные отступления, смелые переходы то к суховатому изложению военных событий, то к искрящемуся жизнью народному юмору.

Это свидетельствует не только о богатстве палитры художника, не только обнаруживает в нём проникновенного психолога и мастера живописи, в высокой степени постигшего эстетические законы. Во всей силе проявляется его жизнеутверждающее, оптимистическое восприятие мира.

Когда книги «Тихого Дона» ещё только появлялись, некоторые литературные критики упрекали писателя в некоей «пантеистичьности» — то есть в идеалистическом преклонении перед силами природы, граничащем с её обожествлением. На самом же деле совсем иное здесь содержание картин-образов. Оно очень глубокое, это содержание. В образах, которые писатель столь часто черпает из мира природы и которые нередко приобретают значение символическое, выражает себя светлая вера художника в торжество побеждающей, неизменно идущей вперёд жизни — жизни людей на земле.

•

В последней книге романа, по сравнению с первой, заметно сужен круг действующих лиц, а говорится о каждом из них во много раз весомее. Стягивая всё внимание читателя к сравнительно небольшому числу персонажей романа, автор ещё углублённее присматривается к своим героям, открывает в них новые черты, уточняет акцентировку в изображении — и некоторые давно знакомые читателю образы неожиданно раскрываются с новой стороны и оказываются ещё более значительными и интересными, чем мы привыкли думать прежде.

Можно сказать, что иногда это просто продиктовано внутренней логикой развития образа. Растёт духовно Михаил Кошевой. К концу романа это уже не тот тёмный парень, с которым читатель познакомился в первой книге. Ещё иногда ощупью,

но с упорством и твёрдостью пробивает он себе путь вперёд.

Нагляднее обнаруживается более разносторонняя разработка портрета на таких уже сформировавшихся фигурах второго плана, как Пантелей Прокофьевич и Прохор Зыков.

Читатель привык к забавным приключениям и вспышкам старика Мелехова, к его потешно проявляющейся старокрестьянской рачительности в хозяйстве, часто мешавшей ему за сравнительно малыми потерями видеть гораздо более серьёзные. Да и потеряв что-то, он старался успокоить своё хозяйское сердце, всячески умаляя пруху в хозяйстве: «Он и поросёнок-то был так, одно горе...» И вдруг совсем по-новому распахивается перед нами душа этого человека, когда мы видим его возвратившимся из отступления — потрясённым при виде родной земли, хутора, где он прожил всю свою жизнь. Мы видим, на какое глубокое и сильное чувство он способен, и в новом свете предстаёт этот, казалось, уже хорошо знакомый нам образ.

Значительно ближе читателю от книги к книге, от части к части и Прохор Зыков. Мелькавший ранее в эпизодических сценах комический образ наполняется иным содержанием. Он не становится менее потешным, неунывающий весельчак и балагур Прохор. Но с ещё большей теплотой, чем прежде, следит читатель за его приключениями и рассказами, видя, какая радостная любовь к жизни движет им, какая сердечность проступает в его отношениях с людьми. Прохор умеет шуткой скрасить выпавшие на его долю невзгоды и тяготы. Этот образ приобретает и новую функцию в сюжете романа, как это будет с дедом Щукарем в «Поднятой целине»: юмор Прохора, комизм связанных с ним ситуаций также служат некоей разрядкой в нарастающем драматизме действия.

•

Автор «Тихого Дона» — один из тех писателей, которые умеют передать красоту и могучую выразительность народного языка, напитать своё творчество его живительной силой.

Обращение к народной речи, к её безыскусной чистоте очень часто служит Шолохову средством как для того, чтобы вернее выразить мысли и чувства того или иного из своих героев, так и для глубокого изображения общественных явлений огромного масштаба.

Казаки ведут беседу о Ленине. С тонким и тёплым юмором передаёт автор наивность возникающего между ними спора. Но главное содержание этой сцепы — в прекрасно выраженной ею любви народной к образу вождя, его близости всему трудовому люду. В задушевных, простых словах спорящих казаков столько подлинной народности, столько уважения и любви к народному вождю, что они воспринимаются как создание фольклора, как живая запись подслушанной автором в гуще народа, творимой народом легенды о вожде.

«— Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?

— Ленин-то? Русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь,– с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов.— Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской,– понял? Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая,– как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж себя казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Оп — русский, Симбирской губернии рожак.

— Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю! Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали,– все из казаков. А ты вот говоришь — Сибирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое...

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что — казак?

— Он и есть казак, тольки зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину,– до разу опознаю.— Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул.— Диву я даюсь, имы тут до драки спорили: ежели он, Владимир Ильгич,– нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все

науки прошёл, да как начал ихних рабочих бунтовать да учёным очки вставлять,– они и перепужались досмерти. «Иди,– говорят,– лобастый, восвоясы, Христос с тобою, а то ты нам таких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!»— и проводили его в Россию: забоялись, как бы он рабочих не настроналил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости произнёс Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту.— ...Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает...— И вздохнул: — Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильгич-то — казак... Чего уж там тень наводить! В Сибирской губернии таких и на кореню не бывает».

Гармоническое единство всех элементов стиля в романе «Тихий Дон» определяется наполненностью каждого из них всепроникающим содержанием этого национального эпоса.

ГЛУБОКАЯ ВСПАШКА

Пройдут годы, и, наверное, только литературоведы, изучая шолоховскую «Поднятую целину», будут посвящать свои исследования вопросу о том, как и когда создавалась каждая из книг романа в отдельности. Читатель же, раскрыв страницы очередного издания, где под одним переплётом, под общим названием стоят обе эти книги, но всей вероятности, зачастую уже теперь воспринимает произведение прежде всего как единое целое, в этом смысле — как множество других романов или повестей, разделённых авторами на более или менее самостоятельные части. Подобно тому как удалённые от нас предметы кажутся находящимися совсем рядом друг с другом, так и удаление во времени постепенно сближает в представлении читателя сроки рождения первой и второй книг «Поднятой целины».

А некоторое время эти два тома как для критика, так, может быть, в ещё большей степени и для читателя жили и общей (уже навсегда), и своей особой, отдельной (пока) жизнью.

Перед нами, конечно, единое целое — и по основному замыслу, и по развитию действия, и по изображению характеров, и по всему художественному складу. Удивительно даже, насколько удалось писателю, вернувшемуся к работе над романом после

длительного перерыва, в такой мере соблюсти это единство.

Но, не говоря об особенностях каждой из книг, особенностях, которые отмечают важные этапы творческого пути писателя, всё ещё чрезвычайно существенны для восприятия этого произведения другие обстоятельства. Первая книга «Поднятой целины» давно уже вошла в духовную жизнь советских людей как один из любимейших романов. Для многих чтение её стало ярким впечатлением юности. На книжных полках и в сердце читателя она нашла себе место в строгом строю классики. И вдруг после долгих лет снова пришли в движение столь близко знакомые люди и события, определились дальнейшие судьбы героев, с которыми так сроднился читатель, повествование, которое было прервано, продолжилось и завершилось...

Ещё далеко не была окончена работа над «Тихим Доном», писатель вплотную был занят этим своим произведением, но, ощутив настоятельную потребность непосредственно откликнуться на события современности, оторвался от него, чтобы рассказать миллионам читателей о Доне новом, колхозном, рядом с образами Мелеховых, Кошевого, Астаховых утвердить в литературе образы тех, кто отдал свою жизнь борьбе за революцию в хозяйстве и быту родного казачества, за новое отношение к труду, за подъём неисчерпаемых народных сил ради будущего счастья и упрочения завоёванной свободы,– образы советского казачества на рубеже 20-х и 30-х годов, образы казаков-колхозников.

И уже тогда сразу и ясно определилось значение шолоховского романа в культурной жизни советского народа и место его в литературе социалистического реализма.

*

Готовя в 1934 году предисловие к английскому изданию «Тихого Дона», Шолохов писал:

«В мою задачу входит не только показать различные социальные слои населения на Дону за время двух войн и революции; не только проследить за трагической судьбой отдельных людей, попавших в мощный водоворот событий, происходивших в 1914—1921 годах, но и показать людей в годы мирного строительства при Советской власти».

В самом разгаре была работа писателя над «Тихим Доном»,

когда он начал свой новый роман. Первые главы «Поднятой целины» появились в журнале в 1932 году.

Предметом изображения в «Поднятой целине» стали процессы, характерные для деревни периода коллективизации. При этом писатель — как он это сделал и в «Тихом Доне», описывая гражданскую войну,– взял наиболее сложный участок борьбы за новое: донской казачий хутор.

Значительный период времени отделяет события первых лет коллективизации сельского хозяйства от разворота гражданской войны на Дону. Коренным образом изменилось соотношение сил. Другие формы приняла классовая борьба. Враг ушёл в подполье. Писатель снова со всей реалистической достоверностью изобразил сложность и остроту – борьбы на новой стадии становления социалистического общества.

А в основе содержания романа — опять-таки разработка той же проблемы, выдвинутой нашей действительностью перед советской литературой: задачи идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе социализма. Здесь эта проблема поставлена применительно к новому этапу развития действительности.

Подступы к созданию романа о коллективизации были проложены всем предшествующим творчеством писателя. Михаил Александрович впоследствии указал на то, что ранние его рассказы 1923—1925 годов можно рассматривать в известном смысле как некую своеобразную творческую «предысторию» «Поднятой целины». Без труда устанавливаются также идейно-художественные связи между «Поднятой целиной» и «Тихим Доном». Речь идёт, конечно, вовсе не только о том и не столько о том, что все эти произведения посвящены Дону. Их роднит последовательное развитие патриотической темы шолоховского творчества — темы раскрепощения и расцвета созидательных сил народа в свободном труде, -в строительстве коммунизма, идейная преемственность в обрисовке и развитии характеров и судеб ряда действующих лиц столь различных произведений.

Прошлое многих героев «Поднятой целины» заставляет обращаться мыслью к тому, что было изображено писателем в «Донских рассказах» и в первом его романе-эпопее. Метавшегося в годы гражданской войны из одного стана в другой Григория Мелехова судьба вполне могла столкнуть с Макаром Нагульновым или Кондратом

Майданниковым, стойко сражавшимися в рядах красных войск. Он мог и рубиться с ними бок о бок в одном строю, и скрестить клинки в схватке враждующих сил. Размётнов и Осип Кондратько — «батько Квадратько» — участвовали в походе красноармейских частей, шедших в 1918 году на помощь Царицыну и пробившихся через территорию восставших против Советской власти донских станиц и хуторов. Тот же Андрей Размётнов, как и Григорий Мелехов на одном из этапов его биографии, был на белопольском фронте; он же, подобно героям «Донских рассказов» и «Тихого Дона», служил на Дону в продовольственном отряде. В конце второй книги «Тихого Дона», как помнит читатель, описана вероломная и- жестокая расправа над красными казаками-подтёлковцами. Григорий Мелехов был свидетелем их расстрела. А есаул Половцев активно участвовал в этой зверской экзекуции. Под начальством Половцева воевал против красных Островнов. Хопров служил в одном из отрядов белых карателей. Казаки, гневно рассказывающие Половцеву о своих мытарствах, что довелось им изведать в скитаниях по чужим землям, вполне возможно, уплыли за границу на том самом пароходе, который видел отчаливающим от берега Григорий в Новороссийском порту.

Но, естественно, не одними только внутренними закономерностями развития шолоховского (творчества обусловлено возникновение такого романа, как «Поднятая целина».

Насущной темой советской литературы 20-х и 30-х годов стало изображение новой жизни деревни, классовой борьбы на селе, путей, которыми шло советское крестьянство.

Один из старейших писателей — А. Неверов в своём романе «Гуси-лебеди» и в повести «Андрон Непутёвый» вывел образы борцов за социалистическое переустройство жизни в деревне, против кулачества, против пережитков прошлого в сознании людей. Разработке этой большой темы были посвящены книги «Медвежатное» и «Лесозавод» А. Караваевой, «Ледолом» К. Горбунова.

Некоторые писатели не сразу поняли смысл происходивших в деревне процессов. В их произведениях отразились настроения той части советской интеллигенции, которая растерялась в годы нэпа, преувеличивала силу кулачества и мрачно, пессимистически относилась к перспективе быстрой,

решительной переделки сознания трудящихся масс в деревне и воспитания их в духе социализма.

«Год великого перелома» в народнохозяйственной жизни нашей страны был и годом серьёзного перелома в советской литературе. Уже сформировались её устои, окрепли её силы. Если события гражданской войны нашли отражение в произведениях писателей преимущественно середины и конца 20-х годов, то теперь литература шла уже непосредственно по следам событий, гораздо активнее вмешивалась в жизнь. Был создан Днепрогэс, и вскоре появился роман Ф. Гладкова «Энергия». Осуществлялась коллективизация хозяйства в деревне, и возникал ряд книг, посвящённых этой эпической теме.

Годы коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества как класса послужили материалом для таких широко известных советскому читателю произведений, как «Разбег» В. Ставского, «Бруски» Ф. Панфёрова, «Ненависть» И. Шухова и другие.

Эти стороны действительности настоятельно требовали своего отражения в художественном слове. Не могла наша литература не отозваться на такие явления современности, как участие крестьянских масс в строительстве социалистического общества, как рождение нового, присущего именно советскому строю отношения людей к труду.

Многое уже было достигнуто литературой на этом пути. Однако всё более назревала потребность как бы в завершении общих усилий ряда писателей, в подъёме литературы к новой вершине, в создании такого произведения о советской деревне, которое стало бы в полном смысле этого слова классическим.

Ответить на это высокое требование времени суждено было Михаилу Шолохову.

Всё нагляднее обрисовывалась в советской литературе выдвинутая самой действительностью тема союза рабочего класса с крестьянством, вовлечения основных масс деревенского населения в русло социалистического строительства. Вставала во весь рост перед советской литературой проблема правдивого, художественно сильного изображения социалистического труда, людей, для которых характерно новое отношение к труду. Важно было показать, как свободный труд на благо народа преобразует людей, формирует их сознание, их внутренний мир, наполняет их жизнь новым, прекрасным содержанием.

Советская литература ждала книги, где высокое мастерство писателя, вооружённого коммунистической идейностью, близким знанием жизни, создало бы типические образы тружеников колхозной деревни и типический образ рабочего-коммуниста, посланного партией для помощи сельским коммунистам в их борьбе, в их повседневной работе.

Такой книгой и стала «Поднятая целина». Огромно значение этого романа как одного из наиболее ярких произведений, отобразивших события исторического масштаба и выразивших поворот основной массы советских писателей после изображения гражданской войны к проблемам социалистического созидания. В шолоховском романе нашли воплощение ведущие тенденции советской литературы тех лет, сказавшиеся в разработке темы социалистического труда, в изображении характера нового советского человека — строителя и созидателя, воспитанного Коммунистической партией, всем строем советской жизни.

Шолохов в «Поднятой целине», как и в «Тихом Доне», показывает жизнь в её многообразии, противоречиях, прогрессивных изменениях, в движении вперёд.

Снова перед нами широкое полотно, на этот раз повествующее о «годе великого перелома». В истории возникновения и укрепления гремяченского колхоза, как солнце в капле воды, отражены явления общенародного масштаба. Жизнь Давыдова, Майданникова, Нагульнова, Размётнова, деда Щукаря неразрывно связана с жизнью их колхоза, а жизнь гремяченского колхоза — это частица большой жизни Советской страны. В борьбе за эту большую жизнь люди решают и строят свою индивидуальную судьбу.

В мощном движении показано развитие социалистического общества. Настоящая человеческая красота раскрывается в облике труженика, освобождённого от вековых оков рабства. Положительные герои «Поднятой целины» сознают себя хозяевами земли, хозяевами жизни. Они постигли государственное значение своего труда и подходят к решению любого вопроса с государственной точки зрения.

Когда Макар Нагульнов шагает по высохшей зяби, его наполняют ярость и гнев. «Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Чернозёмный прах, в хрупких волокнах умерщвлённых трав, был сух и горяч. Зябь перестаивалась! Требовалось, не медля

ни часу, пустить по заклёклой дернистой верхушке в три-четыре следа бороны, разодрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зёрна пшеницы». Горячий Макар решает немедленно сгонять всех казаков на тюля.

В романе показано, как первый же год колхозной жизни нарушил «глухую пору» в Гремячем Логу. Едва успели подняться хлеба, колхозники начали прополку. Спокойный, рассудительный Давыдов твёрд и решителен, инициативен, когда речь идёт о государственных интересах. «Три раза будем полоть, чтобы ни одного сорняка не было на колхозных полях! — заявил на собрании Давыдов».

Читателю памятны многие страницы, где изображено, например, как Давыдов воодушевляет колхозников на социалистическое соревнование, как он умеет «авторитет рабочего класса — авангарда революции» держать «на высочайшем уровне».

Кондрат Майданников, стремясь объяснить жене смысл слова «ударник», говорит: «Вот, к примеру, у винтовки есть боёк, каким пистонку разбивают,– его тоже самое зовут ударником. В винтовке эта штука — заглавная, без неё не стрельнёшь... Так и в колхозе: ударник есть самая заглавная фигура, поняла?»

Шолохову, как известно, не свойственно приукрашенное изображение действительности. Он показывает процесс становления нового во всей сложности и трудности борьбы. Так же не свойственно этому писателю сползание к натурализму, к эмпирическому изображению отдельных явлений действительности, вне показа ведущей тенденции её развития, возвышающего её начала.

Ключом к пониманию того, как подходит Шолохов к изображению жизни, умея видеть её не только из прошлого и настоящего, но и из будущего, служит превосходное описание мечты Давыдова. Этот внешне спокойный, трезво рассуждающий, строгий к себе и к людям человек умеет мечтать. Видя маленького казачонка Федотку, он с сердечной теплотой думает:

«Хорошую жизнь им построим, факт! Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через двадцать будет электроплугом наворачивать вот эту землю. Ему-то уж, наверно, не придётся так, как мне пришлось после смерти матери: и бельё сестрёнкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать...

Счастливые будут Федотки, факт!» — думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно зазеленевшую степь».

Трогательно подшучивая над самим собой, строит он картины будущей жизни, за которую борется:

«Машина будет всё тяжёлое работать за человека... Дожить бы, чёрт его подери!.. Хоть посмотреть бы! А то издохнешь, и никакой Федотка о тебе не вспомнит. А издохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать! И вместо потомства от тебя останется гремяченский колхоз. Из колхоза станет коммуна, и — смотри ещё — назовут её впоследствии имени путиловского слесарька Семки Давыдова... Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Всё — принадлежащее нам, всё в наших руках, факт!»

Так в бессмертии собственного дела, дела народа видит Давыдов и своё бессмертие. Суть, конечно, не в том, назовут или не назовут его именем будущую коммуну в Гремящем Логу. Давыдов и сам улыбается шутливому обороту своих мыслей. Речь идёт о великой вере в победу народа, в его неуклонное движение вперёд по пути, указанному партией.

И не вырастет ли Федотка впоследствии в такого человека, как Николай Стрельцов («Они сражались за Родину»), который будет представлять образ советского гражданина более поздних дней и будет сражаться за Родину, защищая от фашистского нашествия ту свободную жизнь советского народа, основы которой закладывали Давыдов и многие тысячи передовых советских людей, достойно продолжавших дело Штокмана, Котлярова, Бунчука — всех тех, кто столь мужественно и твёрдо шёл вперёд, неся людям идеи Коммунистической партии?

Мечта Давыдова в своём главном содержании — одновременно и мечта автора «Поднятой целины». Ею и рождены возвышенный лиризм, революционная романтичность его творчества, ею определены важнейшие черты его художественных принципов, ибо это коммунистическая мечта о преобразовании жизни, о торжестве идеалов советского человека, завоевавшего свободную жизнь и строящего своё счастье. Оно — в слиянии личного счастья со счастьем народа.

Своим творчеством писатель страстно борется за воплощение этой мечты. Он беспощадно разоблачает врагов советского народа

— Половцева, Лятьевского, Фрола Рваного, Якова Островнова. Он воспитывает в людях новые качества, изображая изменяющееся отношение крестьянства к собственности, к труду.

Наглядно, впечатляюще показывает писатель, как идеи партии, её воспитательная, организующая работа преобразуют жизнь. Лучшие люди, выведенные в «Поднятой целине», вдохновлены в своей борьбе этими идеями.

Кондрат Майданников был в Москве, на Всероссийском съезде Советов. Придя на Красную площадь, к Мавзолею, к Кремлю, над которым развевается «победно сияющий в небе красный флаг», он торопливо сдёрнул с головы будёновку. «С обнажённой головой, в распахнутом домотканом зипуне стоял долго и недвижимо...» Волнующим, возвышающим душу символом освещает путь Кондрата запавший ему на всю жизнь в сердце торжественный образ:

«Отделённая от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живёт и ночью, закованная в камень, Москва: тягуче призывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармони звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегочут трамваи. А за ленинским Мавзолеем, за кремлёвской стеной, на вышнем холодном ветру, в озарённом небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещённое снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем восстаний, зовёт на борьбу...»

Сила большевистской правды возвращает на верный и честный путь тех тружеников-казаков, которые пошатнулись, временно поддавшись вражеской агитации. Перелом в их сознании происходит в момент наивысшего драматического напряжения борьбы. Прочитав в газете статью «Головокружение от успехов», казаки говорят Половцеву, обманом вовлёкшему их в контрреволюционный «Союз освобождения Дона», что у них раскрылись глаза на правду. Отныне их дорога и дорога Половцева расходятся навсегда.

Как Григорий Мелехов в своё время с негодованием видел «союзнические» английские войска на его родной земле, так теперь с тем же негодованием казаки вскрывают подоплёку предательской агитации Половцева:

«Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые

горы сулили, и диву давались: уж дюже ваши посулы чижолые! Вы говорили, что, мол, союзники нам — на случай восстания — в один момент оружию примчат и всю военную справу... Оружию-то они привезут, это добро дешёвое, но, гляди, они и сами на нашу землю слезут? А слезут, так потом с ними и не расцобекаешься! Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты — они нашего рода, сказать, свои, природные, а энти чёрт-те по-каковски гутарют, ходют гордые все, а середь зимы снегу не выпросишь, и попадёшься им, так уж милости не жди! Я побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на Галиполях, и не чаял оттедова ноги притянуть! Дюже уж хлеб их горьковатый!.. И Константинополе и в Афинах работал в портах, на англичан, французов насмотрелся. Ходит такая разутюженная гадюка мимо тебя и косоротится оттого, что я, видишь ты, небритый, грязный, как прах, потом воняю, а ему на меня глядеть — душу воротит. У него ить, как у офицерской кобылы, всё до самой подхвостницы подмыто и выскоблено, и вот он этим гордится, а нами требует. Ихние матросы в кабаках, бывало, нас затрагивают и чуть чего — боксом бьют. Но наши донские и кубанские трошки приобыкли в чужих краях и начали им подвешивать!.. По-русски даст наш биток какому-нибудь англичанину, а он с ног – копырь и лежит, за голову держится, тяжело вздыхает. Нежные они на русский кулак, и хоть сытно едят, а квёлые. Мы этих союзников раскусили и поотведали! Нет уж, мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся...»

Следует учесть, что это говорят бывшие белые казаки, эмигрировавшие в прошлом за границу. Они заявляют Половцеву, что у них «разошлись поврозь стёжки-дорожки» с теми, кто прежде толкал их на борьбу против трудового народа.

Решительные перемены принесла новая, советская жизнь и на Дон.

*

В изображении процесса столь существенных изменений ведущую идейно-художественную роль в романе вполне закономерно приобретают образы коммунистов, руководителей колхоза.

Множество огромных духовных ценностей подарил людям

шолоховский роман. Одна из главных — образ Давыдова.

Важнейшим достижением нашей литературы стал этот образ, один из лучших образов рабочего-коммуниста, посланного партией для помощи и руководства социалистической перестройкой деревни.

Для миллионов советских читателей Давыдов сразу стал в ряд любимых героев, созданных литературой. Это объясняется не только прекрасными качествами характера достойного представителя питерского пролетариата, стойкого, умного и обаятельного человека, настоящего революционного вожака, прошедшего боевую закалку в среде балтийских моряков в годы гражданской войны, но и тем великим искусством, которое дало возможность художнику сделать своего героя таким близким читателю, таким дорогим народу.

В романе показан сложный процесс развития характера героя. Писатель жизненно-правдиво, же сглаживая острых углов, обрисовал обстановку, в которой пришлось Давыдову делать первые свои шаги среди донского казачества. С трудноразрешимыми задачами столкнулся Давыдов. Хотя он приехал на Дон зрелым человеком, будучи воспитан в духе революционных традиций питерского рабочего класса и обладая уже немалым опытом борьбы, всё же многое тут ставило его в тупик. Творчество Шолохова всегда отрицает возможность прибегать к каким бы то ни было схемам при решении серьёзных жизненных проблем. Писатель обнажает сложность борьбы за новое, причудливость форм, которые зачастую принимает отражение этой борьбы в сознании людей, в их поступках, в судьбе той или иной личности. Идущим впереди приходится прокладывать пути ещё не изведанные, пробиваться сквозь препятствия, которые далеко не всегда можно распознать заранее, напрягать все силы ума и характера. Высокая цель достигается в суровой, непримиримой борьбе. Эти эстетические принципы, присущие творчеству Шолохова, получили яркое художественное выражение в образе главного героя «Поднятой целины».

Разумеется, писатель не смог бы передать всё величие победы Давыдова, красоту духовного роста и его самого, и его соратников, воспитанных им людей, если бы не провёл их через те испытания, которыми их встречала реальная действительность.

После демобилизации из флота Семён Давыдов девять лет работал слесарем на Путиловском заводе. И вот получил задание ехать в деревню уполномоченным райкома по проведению коллективизации сельского хозяйства. Уезжая в хутор Гремячий Лог, где он стал организатором, а впоследствии и председателем колхоза, «двадцатипятитысячник» Давыдов выслушал вместе с другими товарищами, разъезжавшимися по районам, наказ секретаря окружкома: «Авторитет рабочего класса — авангарда революции — в деревне надо держать на высочайшем уровне...»

Писатель вскрывает в своём произведении, сколь далеко от схем действительное течение жизни, какие сложные формы принимает классовая борьба и какие трудноразрешимые задачи вставали перед Давыдовым, когда он лицом к лицу столкнулся с жизнью донской деревни.

Шолохов ни на шаг не отступает от жизненной правды, не избегает сложных конфликтов, выдвигаемых действительностью. Он не старается уйти от острой темы или сгладить её остроту. Это придаёт огромную убедительность его проникновенному мастерству в раскрытии основных тенденций действительности, в изображении торжества новых идей.

Писатель поставил своего героя перед многими трудностями. Он столкнул Давыдова с упорным нежеланием большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества коллективного хозяйствования. Писатель не навязал Давыдову готового решения, показал постепенное развитие образа.

Давыдова изумляет, почему столько середняков в хуторе Гремячий Лог не хочет записываться, в колхоз. Загадки возникают перед ним одна за другой. Как получилось, что бедняк Тимофей Борщёв стал кулацким подпевалой, бывший красный партизан Титок Бородин сам переродился в кулака? Почему так настороженно-враждебно относится секретарь гремяченской ячейки к культурному хозяину Якову Лукичу Островнову?

Давыдов отлично знал, сколько пользы и государству и крестьянину принесёт коллективное ведение сельского хозяйства. И как непонятно ему было, почему же казаки среднего достатка поначалу наотрез отказывались от этого блага!

«Все гремяченские люди шли перед мысленным взором Давыдова... Хутор был для него — как сложный мо-

тор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряжённо пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном неустанном, напряжённом биении этой мудрёной машины...»

В начале романа писатель сразу осложняет интригу. В хуторе появляется Половцев — один из палачей, казнивших Подтёлкова. Контрреволюционная организация Половцева, готовящего восстание, вовлекает и Островнова. Бывший подчинённый Половцева, Островнов по его наущениям ведёт вредительскую, диверсионную работу в колхозе.

Столь потайными, скрытыми были действия врагов, что Давыдов мог только догадываться — какие-то вредящие делу пружины действуют в сложном механизме колхозной жизни. И это была лишь одна из многих трудностей, возникших на пути становления колхоза.

Канули в прошлое сословные предрассудки казачества. Оно всей массой уже пошло за Советской властью. Но коллективизация сельского хозяйства были глубоким революционным переворотом в экономике деревни и в сознании людей. Собственность — вот что определяло одну из коренных проблем нового этапа борьбы за социализм: проблему Кондрата Майданникова. Эту сложную проблему также должен решить Давыдов. А мы видим, как «нелегко давался Кондрату колхоз! Со слезой и с кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли...».

Писатель и здесь не облегчает пути Давыдову. Он снова и снова сталкивает героя с реальными явлениями во всём их многообразии и противоречивости.

А сколько психологических загадок поставили перед Давыдовым ближайшие его соратники Нагульнов и Размётнов!

Партизан-краснознаменец Макар Нагульнов, секретарь гремяченской ячейки, поглощённый идеей мировой революции, видит врага чуть ли не во всяком человеке, который «медленно поспешает» к пей, который не очистился ещё целиком от «коросты собственности». В своей горячности Нагульнов становится невольным виновником ряда перегибов...

Председатель сельсовета Андрей Размётнов, жестоко пострадавший от белых во время гражданской войны, потерявший любимую жену, замученную белыми, неожиданно оказывается

мягкосердечным и слабовольным в борьбе с врагами...

Враги ведут неустанную агитацию, используя любые трудности в строительстве новой жизни колхоза, сеют клевету, панические слухи, всеми средствами стараются возмутить народ против колхозных властей.

Жизненно правдиво обрисовал автор обстановку, в которой оказался Давыдов. Это и помогло ему создать убедительный, яркий образ достойного посланца рабочего класса в деревню. Писатель изобразил самый процесс, а не только результат развития характера Давыдова, ставшего в конце концов отличным председателем гремяченского колхоза.

В образе Давыдова раскрыты драгоценные качества коммуниста. Большое внимание уделил писатель Давыдову как воспитателю нового человека. Давыдов вырастает в руководителя и организатора, способного зорко всматриваться в людей, определять их возможности, проникать в глубокий ход их мыслей, распознавать самое сокровенное движение их душ, воспитывать из них подлинных советских патриотов. Давыдов умеет заставить людей почувствовать, что они душою, сердцем приросли к новой жизни. Твёрдо веря в советского человека, он сплачивает вокруг общего дела наиболее надёжных людей, опирается на них в повседневной работе с массой колхозников. Коммуниста Давыдова писатель показал как силу, направляющую рост Кондрата Майданникова, Любишкина, Демида Молчуна, кузнеца Ипполита Шалого и многих других.

Читатель оценивает спокойную мудрость Давыдова, проявляющуюся в тот момент, когда Демид Молчун заявляет о своём выходе из колхоза:

«Давыдов выглянул в окно: Молчун неподвижно стоял около крыльца. Закатное багряное солнце щедротно освещало его медвежковатую спину, могучую бурую шею, до самого воротника заросшую золотистой курчавейшей шерстью. Колхозный двор был залит талой водой. Огромнейшая лужа простиралась от крыльца до амбара. Со сходцев мимо плетня лежала протоптанная по рыхлому снегу, по грязи стёжка. Люди, обходя лужу, обычно шли по-над самым плетнём, придерживаясь руками за колышки. Демид стоял в тупой, тяжкой задумчивости. Потом качнулся и вдруг с пьяным безразличием шагнул прямо в воду, побрёл к амбару, медлительно и валко покачиваясь.

С интересом наблюдая за ним, Давыдов увидел, как Молчун взял стоявший на приклетке лом, подошёл к воротам.

– Это он, чертило, не громить ли нас задумал? — проговорил подошедший к окну Размётнов и засмеялся. Он всегда относился к Молчуну тепло, приязненно, питая непреоборимое уважение к его физическому могуществу.

Молчун приоткрыл ворота и с такой силой ахнул ломом по обледенелому сугробу, что разом отколол огромный кус льда, пуда в три весом. В ворота градом застучали ледяные комочки, и вскоре в проделанное ломом русло молчаливо ринулась со двора вода.

– Ну, этот опять в колхозе будет! — заговорил Размётнов, хватая Давыдова за плечо, указывая на Молчуна. — Приметил непорядок, исправил и пошёл. Значит, у него душа в нашем хозяйстве осталася! Верно я говорю?»

Давыдов нетерпим к людям, обманывающим колхоз и Советскую власть, вроде Атаманчукова. Революционный гуманизм, выразителем которого является в романе Давыдов, не имеет ничего общего с либерализмом и слюнтяйством. Это гуманизм ясных, осознанных целей.

Давыдов никогда не ограничивается хозяйственными заботами. Он неустанно трудится над воспитанием людей в советском духе, не отступая ни перед какими трудностями. Благодаря этому он разрешает самые сложные вопросы.

Внимание к человеку, забота о нём характерны для Давыдова. «Он как-то сумел и в Размётнова, обычно легко воспламенявшегося и столь же легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверенность».

Много размышляет Давыдов о Нагульнове, ищет верного решения. Он видит серьёзные недостатки Макара, понимает, что его всё время надо держать в руках, но видит и всю преданность Макара партии, делу революции, которому тот отдал весь жар своего беспокойного сердца. «Путаник, но ведь страшно свой же»! — думает о нём Давыдов. Он наставляет Нагульнова, остерегает его, стремится направить его кипучую энергию в верное русло. Давыдов упрекает Нагульнова за то, что Макар действует старыми, партизанскими методами, тогда как время новое, требующее не кавалерийских налётов, а позиционных боёв. «Все мы,– говорит ему Давыдов,– партизанщиной были больны, особенно наши, флотские,

ну, и я, конечно. Ты хотя и нервнобольной, но надо, дорогой Макар, себя того... обуздывать, а?» Давыдов учит Нагульнова присматриваться к умелой, талантливой работе молодого паренька Ванюшки Найдёнова, комсомольца из агитколонны, расторопного помощника коммуниста Осипа Кондратько.

Если для Половцева народ представляется «табуном овец», то Давыдов, сам сын народа, знает народ, верит в его силы, умеет их разбудить и направить на пользу народному делу. Судьбу каждого человека Давыдов обдумывает, стараясь найти ключ к его внутреннему миру и помочь идти вперёд.

В идейно-художественной системе романа крайне важное значение имеет то, что Давыдов способен передать людям радость своей мечты. Именно он помогает укрепиться в сознании Кондрата Майданникова могучим росткам нового, светлой мечте о будущем, радости освобождённого труда на благо освобождённому, строящему новую жизнь народу.

То, что Давыдову было так трудно ориентироваться в незнакомой ему обстановке донского хутора, то, что ни одно решение не давалось ему легко, и заставляет особенно ценить характерный для него, как для коммуниста, талант воспитателя, умеющего помочь росту всего лучшего в человеке, оказавшегося способным вывести казачью массу и каждого, кто частицей входил в эту массу, на верную дорогу. Этот «путиловский слесарек» сумел не только прижиться в донском казачьем хуторе — он стал своим среди казаков, люди доверили ему свои судьбы как представителю партии, как человеку, как «любушке Давыдову», наконец.

Для понимания образа Давыдова и того значения, какое видел в нём сам автор, когда приступал к работе над романом, весьма важен ответ писателя на вопрос, почему он выбрал своего героя из среды моряков-балтийцев. Вот авторское разъяснение:

«У Давыдова было несколько прототипов. Я встречался со многими моряками, беседовал с ними, видел, как они работают там, куда направляла их партия. И всюду они вносили в жизнь свои хорошие, морские, революционные традиции.

Ещё Владимир Ильич Ленин дал высокую оценку морякам после Октябрьских событий. Так же доблестно сражались они и в гражданскую войну, принимали самое деятельное участие в

строительстве Советской власти.

Это и зародило во мне мысль сделать Давыдова бывшим балтийским матросом. Ибо человек, приехавший на работу в деревню, должен был обладать отвагой, выдержкой, хорошим юмором, умением обращаться с людьми, чувствовать коллектив. Все эти качества, беззаветную преданность партии и делу коммунизма я видел у людей, воспитанных на нашем флоте».

Благодаря этим своим особенностям Давыдов постепенно завоёвывает доверие хуторян.

Отмеченное автором «умение обращаться с людьми» за недолгий срок привлекло к Давыдову прочные симпатии многих казаков из числа тех, кто встретил его появление в хуторе с естественной в условиях тех лет насторожённостью и даже отчуждённостью.

Будучи в 1961 году в гостях на заводе имени С. М. Кирова (бывшем Путиловском), писатель рассказал:

«Меня часто спрашивают, почему герой «Поднятой целины» Семён Давыдов — путиловец-кировец, в прошлом балтийский моряк?

Более тридцати лет назад я, тогда ещё молодой писатель, хотел таким образом выразить моё глубокое уважение к передовому рабочему классу Питера, к его славным революционным делам и традициям. Это мой первый нижайший поклон ленинградским рабочим, кировцам в особенности.

Второй мой поклон — славным морякам Балтийского флота, моё такое же глубокое уважение к его делам и революционным традициям».

«Когда первые книжки «Поднятой целины»,– сообщил один из сотрудников многотиражки завода имени С. М. Кирова,– сразу раскупленные, завёрнутые бережно в газету, передавались из рук в руки, краснопутиловцы искали Давыдова в своих цехах. Они вглядывались в лица товарищей, они обсуждали каждого».

Любопытно, что на заводе есть сверстник и однофамилец героя романа. К тому же он и работал слесарем (на сборке): Михаил Давыдов. Молодёжь и теперь спрашивает Михаила Яковлевича — не с него ли написан шолоховский Давыдов? В ответ ветеран завода, улыбаясь, напоминает, что одни Давыдовы помогали крестьянам колхозы

создавать, другие Давыдовы делали для этих колхозов тракторы...

Радостным апофеозом героя романа, рядового труженика Коммунистической партии, звучит светлая глава во второй книге «Поднятой целины», где описан обычный ясный день Гремячего Лога, когда к председателю колхоза идут то один, то другой с просьбой привезти фельдшера для роженицы, с приглашением разделить семейное торжество по случаю свадьбы... К нему идут как к необходимому, родному человеку. Он всюду оказался нужен, он дорог людям, все честные сердца открыты ему. И общее дело — дело его жизни, дело всего народа — успешно продвигается вперёд. Мог ли он мечтать о чём-нибудь большем как об итоге прожитой жизни!

С каким знанием человеческой души, с какой великой любовью писателя-гуманиста выписаны в романе образы хуторских коммунистов Макара Нагульнова и Андрея Размётнова и весь словно фольклорный, как будто целиком бережно перенесённый из сокровищницы народного творчества характер потешного горемыки деда Щукаря...

Мучительная ломка старого, привычного в сознании крестьянина, огромные социально-психологические трудности перехода от индивидуального хозяйствования к коллективному получили художественно совершенное выражение в образе казака-середняка Кондрата Майданникова. Нынешней и будущей молодёжи, которая захочет понять, как протекали процессы борьбы за строительство коммунизма на этапе, характерном для конца 20-х и начала 30-х годов нашего столетия, многие книги историков с успехом могут быть заменены несколькими главами «Поднятой целины», посвящёнными Кондрату.

Образу казака-середняка Кондрата Майданникова принадлежит в романе важная роль. С максимальной реалистической правдивостью и убедительностью создан писателем этот характер, вошедший в ряд лучших шолоховских образов, отличающихся сложностью и цельностью своего развития.

Автор рисует крестьянина-казака, одним из первых вступившего в колхоз, вскрывает психологическую трудность перехода от единоличного хозяйствования к колхозной жизни.

Не стяжательская жадность к своему добру — оно не

было нажито чужим трудом, как у кулака,– а совсем иная боль точила сердце Кондрата. Труженик, всю жизнь пе разгибавший спины, он сроднился со своим хозяйством, прирос к нему, хотя и видел убогие результаты собственного труда.

«...Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймёт так, как понял он, что путь туда — единственный, что это — неотвратимо? Что как ни жалко вести и кинуть на общие руки худобу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И подлюку жалость эту к своему Добру надо давить, не давать ей ходу к сердцу...

Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морща лоб, обрезанный полосою загара. Получилось:

«Товарищу Макару Нагульнову

в ячейку коммунистической гремяченской партии. Заявление

Я, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный.

К. Майданников».

Достаточно вспомнить «Тихий Дон», чтобы понять, как далеко ушёл Кондрат даже в первоначальных своих колебаниях от героев первого шолоховского романа, как далеко вперёд шагнула жизнь.

«Был он по отцу донским казаком, а теперь — колхозник». Автор оттеняет преемственность в тематике двух романов и в то же время глубину изменений, происшедших в жизни народа. Отец Кондрата в бытность на действительной военной службе вместе со своей сотней порол плетьми и ^рубил шашкой бастовавших иваново-вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. А вот Кондрат в 1920 году рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою Советскую власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей, от нашествия фабрикантов и их наймитов.

Он мог быть одним из героев ранних рассказов Шолохова. Он мог встретить Григория Мелехова, когда рывки путаного, полного противоречий пути Григория забрасывали того то в один, то в другой стан. И вот донской казак Кондрат, несмотря на всю тяжесть своей внутренней борьбы, твёрдо,

обеими ногами, стоит на советской земле. Для него нет сомнений в правоте колхозного дела, дела всего советского народа.

Кондрат знает свой самый крупный недостаток и зло борется с собою, мучительно изживая в своей психологии пережитки того, что прививал людям капитализм.

Отнюдь уже не сословные предрассудки владеют Кондратом. Жизнь, идущая вперёд, сняла эти противоречия в сознании трудового казачества. Но ломка старого уклада чрезвычайно сложна, и на каждом новом этапе ставит она перед людьми новые задачи, новые проблемы.

«Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему... Он — за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к Советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам... И не спится потому, что осталась в нём жалость-гадюка к своему добру, к собственной худобе, которой сам он добровольно лишился...»

Он вспоминает, как прежде радовалось его хозяйское сердце заботой о своём «добре», нажитом честным и упорным трудом. «Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно...» «Всё это оттого, что трудно наживалося».

Автор любовно рисует образ Кондрата, мужественную борьбу, приведшую его к победе. Это и есть коренная линия в творчестве Шолохова: показ раскрепощения человека, торжества в нём новой личности, осознавшей себя частицей великого народа, строящего коммунизм.

Ведущая идея произведения, раскрытая наиболее полно во взаимоотношениях Давыдова и Майданникова, получила отчётливое выражение и в самой композиции романа, в последовательном развитии его действия. Припомним, что опорной для обрисовки всех последующих событий является сцена рождения будущей артели. Это сцена, где показано, как казаки, жители Гремячего Лога, записываются в колхоз. Отметим, что именно здесь, в столь важный момент развития сюжета, автор и сводит впервые друг с другом основных героев произведения. Кондрат уже здесь образно выражает отношение казака-середняка к колхозу, а также к тем, кто противится вступлению в колхоз:

«Через то вы против колхоза, что за своей коровой да за своим скворешником-двором белого света не видите.

Хоть сопливое, да моё. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы, как слепой телок: его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается, и головой мотает... Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю».

Психологическим характеристикам образов Кондрата и Давыдова автор уделяет основное внимание и в другой важнейшей для развития действия главе, где казаки сдают на колхозный двор своих коней и быков.

Неизмеримо вырастает фигура Майданникова к концу книги. В описании первого колхозного сева писатель дал этому образу новую глубину идейного содержания. В оптимистическом, высокоромантическом изображении человеческого труда у Шолохова проявилась благороднейшая традиция советской литературы, идущая в творчестве наших писателей от Горького. Воодушевлённый Давыдовым, Кондрат становится ведущей фигурой в колхозной жизни, носителем коммунистического отношения к труду. Он пробуждается для творчества и обретает богатырские силы.

Вдвое выросла после сева гремяченская ячейка партии. В партию пошли, лучшие люди колхоза. И если в первой книге Кондрат Майданников ещё не решался вступать в ряды коммунистов, потому что не вполне «отрешился от собственности», «по своим быкам хворает душой», то читатель твёрдо был убеждён, что со временем Кондрат будет в партии, будет отличным коммунистом.

Мысли колхозника Майданникова не ограничены узким кругом личных интересов крестьянина. Его личным интересом стала судьба всей страны, всего трудового народа во всём мире.

«Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов: «Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев!.. Через чего до сё нету у вас Советской власти? Через чего вы так припозднились?.. Всё вы чухаетесь, никак не раскачаетесь, да как-то недружно, шатко-валко идёте... Али вы не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнём и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое!..»

Любопытно, что эти мысли Кондрата неожиданно сближают Кондрата и Нагульнова, таких не похожих друг на друга людей. Помните, как Макар изучает английский язык?..

Сохраняя всю реалистическую точность в передаче наивного выражения Нагульновым его мыслей, мыслей горячего партизана-краснознаменца, Шолохов сумел, не приукрашивая, не возвышая искусственно, не приглаживая своих героев, по существу, показать высокий строй их помыслов и чувств, истинную их человеческую красоту.

Процесс становления новой жизни очень сложен. Одно время жизнь в хуторе Гремячий Лог «стала на дыбы». Были выходы из колхоза по уговорам кулаков. Под воздействием вражеской агитации колхозники расхитили семенной хлеб. Бабы однажды избили Давыдова. Но на собрании Давыдов сказал тем, кто пошёл за кулаками: «Вы — качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза». И люди эти в конце концов поняли, что путь Давыдова, путь колхоза — это их путь, что им с Давыдовым «вместе жить».

Роман «Поднятая целина» показывает, как Великая Октябрьская социалистическая революция, Советская власть, колхозный строй навсегда выбили почву из-под ног Половцевых, Лятьевских, Листницких, Островновых и им подобных, как росло и крепло новое, советское, колхозное казачество, как велика сила новой, советской жизни, нового, советского патриотизма.

•

Значительное место отдано в романе изображению врагов. Каждый из них — резко очерченная индивидуальность, у каждого свои побудительные мотивы, движущие его поступками. Ни одного автор не лишил так называемых человеческих свойств. Тем беспощаднее черта, подведённая под итогом их бесплодной жизни, враждебной всему истинно человеческому. Писатель поведал о судьбах тех, кто самим ходом истории был обречён на крушение всех их усилий, всего, что составляло видимый смысл их существования.

Где-то неподалёку, как это ни странно, таится, вероятно, и гораздо более извилистая тропинка, что, как в сказке о смерти Кащея, ведёт к пониманию причин гибели Лушки, той прежней Лушки, которую мы знали по первой, да и почти по всей второй книге романа. Далеко не просты тут выводы. Мешает им не только дурманная привлекательность этой женщины, сбившая с толку и Макара и Давыдова, со стороны оценённая и Размётновым. Сложнее вопрос о том, как взвесить на весах общественных норм неукротимое и по-своему мужественное стремление Лушки к «горячей любви», такой любви, когда «кровя» не «ржавеют от делов». Интересным представляется в этом плане соображение критика Е. Книпович о том, что, «создавая образ Лушки, Шолохов — и не в первый раз — коснулся очень русской и очень горьковской темы человеческой силы, изуродованной и извращённой собственническим обществом».

Но суть решающих выводов всё та же — и для положительных, и для отрицательных персонажей романа, и для такой «штуки от ружья», по слову Нагульнова, как Лушка.

Когда судьба человеческая сливается с судьбой народной, жизнь человека становится наполненной, он обретает истинное счастье, раскрываются и умножаются богатства его души. Когда личность либо противопоставляет себя, либо хотя бы пытается обособиться от новой жизни общества, от народа, судьба личности терпит неизбежное крушение. Эти нормы эстетического кодекса, по которым писатель выносит приговор своим героям, получили яркое образное воплощение и в «Тихом Доне», и в «Поднятой целине».

Первая книга «Поднятой целины» уже много лет назад стала непревзойдённым образцом писательского слова о людях советской деревни в пору «великого перелома». Она рассказывает и будет рассказывать многим поколениям о том, как строили новую жизнь в суровые и прекрасные годы отцы, деды, прадеды.

По ней люди в самых далёких странах огромного мира узнавали правду о нашей стране тех бурных лет, о том, как шла борьба за новое и во имя чего она шла, как подымались богатырские народные силы, освобождённые революцией, какое душевное богатство и подлинное величие раскрыл в человеке свободный труд на общее благо.

•

После этой книги возникло окончание «Тихого Дона», множество очерков, статей, написанных Шолоховым в дни Великой Отечественной войны. Писатель опубликовал замечательные рассказы «Наука ненависти» и «Судьба человека», приступил к разработке новой темы в главах романа «Они сражались за Родину». И вот начиная с 1954 года в печати стали появляться главы второй книги «Поднятой целины». Завершена она была, как известно, в декабре 1959 года.

Начальные главы второй книги возвращают читателя к тому сюжетному узлу, который был завязан в финале первой, и события, описанные в последних главах, заканчивающих весь роман, относятся к лету и осени того же 1930 года. Созданный в Гремячем Логу колхоз с каждым днём крепнет. Но каждый день несёт с собою и новые трудности, заботы. Перед Давыдовым встают всё новые проблемы руководства жизнью колхоза, иной раз с совершенно неожиданной стороны раскрываются окружающие его люди.

И в этом — существенная особенность именно второй книги «Поднятой целины». Если в первой книге Давыдова мучило: как найти «ключ» к тому или другому человеку? как проникнуть в его тайное тарных? как уяснить себе его внутренний мир? — то здесь сплошь и рядом происходит нечто совсем иное. Разве не показательно, что такой замкнутый, осторожный человек, как хуторской кузнец Ипполит Шалый, скрывавший от всех окружающих участие Якова Лукича Островнова в убийстве Хопровых, решается рассказать об этом именно Давыдову, «пришлому» в хуторе, довериться ему? Шалый отлично знает, как опасно «охлаждаться» с Островновым, и всё же он считает необходимым предупредить Давыдова, раскрыть ему глаза на то, что творится совсем рядом. Более того — под воздействием давыдовских доводов он впоследствии решается выступить против Островнова на большом собрании колхозников, открыто бросить ему вызов. И тот же Шалый предостерегает Давыдова от опасности получить пулю из винтовки Тимофея Рваного, прямо высказывает недовольство связью Давыдова с Лушкой. Характерно, что он говорит не только от себя,– хуторяне думают о Давыдове, беспокоятся, заботятся о нём.

«Это, парень, не твоя беда,– говорит Давыдову Шалый,– а наша общая, колхозная. Ты небось думаешь, что ваши шашни с Лушкой шиты-крыты, а про вас в хуторе всё до нитки знают. Вот и мы, старики, соберёмся иной раз и маракуем промеж себя: как бы тебя от этой Лушки, лихоманка её затряси, отлучить? А почему? Да потому, что такие бабы, как Лушка, мужчиной не на работу толкают, а от работы таскают, вот мы и беспокоимся за тебя...»

И о прошлом своём вдруг рассказывает Давыдову старый колхозный кузнец, о своей пролетарской гордости, трогательно делится с ним своей любовью к «детишечкам» («не привёл господь на своих порадоваться»), стремлением «разных сиротков воспитывать и приучать к кузнечному делу».

Одна из вставных новелл, введение которых отличает некоторые особенности композиции «Поднятой целины», посвящена рассказу Ивана Аржанова о кровной мести за отца. Опять-таки характерно, что только перед Давыдовым приоткрыл уголок своего укрытого от других людей душевного мира этот молчаливый, нелюдимый пожилой человек. Не препятствовавший хуторянам считать его «слегка придурковатым», самобытный местный философ посвящает Давыдова в любопытные раздумья о природе человека, даёт смелые и острые образные определения характеров и самого Давыдова, и Макара Нагульнова, и Андрея Размётнова, всего колхозного руководства в Гремячем Логу.

В отношении хуторян к Давыдову проявилось самое дорогое, что может быть в общении руководителя с теми, кто избрал его своим вожаком,– потребность открыть перед ним сердце. Он чутко прислушивался к советам, которыми обогащал его опыт народ, и гремяченцы оценили это свойство. Силы Давыдова как руководителя колхоза всё более умножались.

Одна из драматичных ситуаций романа — столкновение Давыдова с Устином Рыкалиным. Вот где сказалась способность Давыдова быстро ориентироваться в положениях, требующих разгадки и преодоления, понять ошибку в собственном поведении, незамедлительно исправить её. Пришли ему на помощь и то самое «умение чувствовать коллектив», которое считал автор обязательным для героя этого романа, «хороший юмор», разрядивший напряжённую атмосферу и принёсший победу в состязании с бойким

казаком, признанным хуторским острословом. И вот позади ещё один барьер: добился Давыдов признания своего авторитета у ершистого Устина, завоевал его уважение, нерушимую впредь дружбу. И Устин становится ревнителем колхозного дела.

Поначалу в знойном воздухе летнего воскресного дня скопилось изрядное количество грозовых зарядов. И Давыдов прискакал в поле не в добром настроении, чуть было не сорвался, как могло бы это произойти с Нагульновым. И Устин демагогическими разглагольствованиями успел достаточно подогреть недовольство колхозников тем, что нм приходится работать в выходной день. А колючие реплики Рыкалйна в споре с Давыдовым едва не высекли опасную искру. Но, во-первых, взаимоотношения Давыдова с казаками установились к тому времени прочные и совершенно иные, нежели в пору, когда возможны были эксцессы. Во-вторых, Устин не был таким уж злостным смутьяном. Содержалось в его словах кое-что, что заставило, видимо, Давыдова прислушаться к некоторым его суждениям, несмотря на явное фрондёрство Рыкалтна по отношению и к нему лично как к председателю колхоза и как к представителю рабочего класса. Как было не выделить умному и чуткому Давыдову из потока задиристой брани, из едких подкалываний, явно провокационных выпадов такую, например, фразу Устина: «Он, народ-то, при Советской власти свою гордость из сундуков достал и не уважает, когда на него кидаются с криком». Внезапное согласие Давыдова «перекинуться» в подкидного, остроумный импровизационный поворот в рассуждениях о кулацкой кобыле произвели ошеломляющий эффект и сразу сняли напряжённость в обстановке.

Недаром хохочущий Тихон Осетров выступает как бы в роли арбитра схватки между Устином и председателем колхоза:

«Ложись, Устин, ниц и не подымай головы! Начисто стоптал тебя Давыдов!»

Да и сам Рыкалин, даже к некоторому удивлению Давыдова, искренне смеётся и непритворно признаётся:

«Ну, председатель, сразил ты меня... Не думал я, что ты так ловко из-под меня вывернешься».

И после этого Давыдову вполне понятны слова Устина, которыми завершается драматичный эпизод:

«Ты думаешь, что я согласился бы нынче косить, ежели

бы ты не остепенился? Чёрта с два! А ты себя укоротил несколько, сменил гнев на милость, в картишки с нами согласился перекинуться, поговорил толково, и вот уж я — весь тут! Голыми руками бери меня, и я на всё согласный: и в карты играть, и стога метать».

Горькое чувство недовольства собою, злую досаду на себя испытывает Давыдов, внимательно слушая то, что говорит Устин.

«А ведь, пожалуй, кое в чём он был прав, этот не в меру бойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что нельзя было ему, Давыдову, появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани и крика. Потому-то у него, как намекнул Устин, и вышла на первых порах осечка. Как же получилось, что он не сдержался? И Давыдов, не кривя душой, должен был сознаться самому себе, что незаметно он усвоил грубую, нагульновскую манеру обращения с людьми, разнуздался, как сказал бы Андрей Размётнов,– и вот результат... В одно ничтожное мгновение он мог зачеркнуть всю свою работу по созданию колхоза...»

Вспоминая, как увлекался игрою в «очко» в годы гражданской войны, он подыскивает такое образное определение для самого себя: «Перебор у меня вышел! Прикупил к шестнадцати очкам не меньше десятка, факт!» И находит в себе мужество преодолеть внутреннее сопротивление, взбудораженное самолюбие и в свою очередь признаться:

«Фактически я напрасно налегал на глотку, в этом ты прав, Устин! Но ведь обидно стало, что вы не работаете, как ты думаешь?»

Могла ли не покорить и Устина, и всех остальных, кто при этом присутствовал, такая искренность в суждении о самом себе, такая задушевная нотка, что прозвучала в словах Давыдова? Удивительно ли после этого, что Устин становится горячим помощником председателя в тонкой операции, когда Давыдову удалось «завернуть» баб, отправившихся на богомолье? Удивительно ли восхищение, с которым Устин оценивает своего недавнего противника в отшумевшей словесной перепалке, уже с явной симпатией и сочувствием наблюдая за его ухищрениями, приведшими к победе над такими опытными «агитаторами», как хуторские старушки, у кого сам Устин призывал Давыдова учиться этому искусству?

«Хитёр же ты, Давыдов, как бес!» Это уже свидетельство уважения, признания трудно завоёвываемого авторитета и зарок нерушимой дружбы.

Аналогично взаимное признание незаурядных достоинств в более мирной и весёлой беседе Давыдова и Аржанова: «А ты, дядя Иван, оказывается, гусь!» — «Ну, и ты тоже, Давыдов, гусь не из последних!»

Казаки оценили в характере своего председателя помимо всего прочего то, что называют перцем или изюминкой, как бы приписали балтийского моряка к казачеству, приняли в казаки.

И с какой же радостью много позже Давыдов размышляет о том, что этот самый Устин Рыкалин ввязался в драку, оберегая колхозное добро...

Это близко к тем чувствам, что испытал Давыдов, присутствуя при вступлении Ипполита Шалого в ряды коммунистов.

Радостно было ему и видеть рост ставших ему дорогими людей, и чувствовать, что есть в этом плоды его труда.

Два типа руководителей колхозов противопоставлены в романе — Давыдов и Поляница. Вышел и Поляница из рабочей среды,– казалось бы, у кого же ещё искать поддержки в решении острой проблемы, связанной с борьбой за нового человека,– а союзником, хотя и не очень умелым, оказался у Давыдова не он, а Устин Рыкалин, добровольно принявший участие в борьбе против Поляницы.

Если Давыдов был слесарем на «Красном путиловце», то Поляница — токарем на металлургическом заводе в Днепропетровске, он тоже «двадцатипятитысячник», а какие разные это люди, какое разное понимание у них своих задач! Давыдов сразу разгадывает тронутое гнильцой нутро этого деятеля, «по самые уши завязшего в мелкособственничестве», пропитавшегося кулацким духом, пускающегося на жульнические увёртки и нечистоплотные махинации, прикрывающего всё это болтовнёй о политической сознательности, о большевистской идейности. Самую главную опасность Поляницы Давыдов видит во «вредительском воспитании колхозников».

*

Поступки, помыслы и чувства Давыдова всегда ясны и чисты, он таков во всём — даже в том, что на первый взгляд может показаться слабостью, сдачей идейных позиций, чуть ли не падением. Речь идёт о досадном эпизоде в его жизни, связанном с Лушкой. Но стоит задуматься над тем, что это вовсе не было для него забавой, развлечением, он собирался соединить свою жизнь с Лушкиной, и ату, привлёкшую его к себе женщину перевоспитать, переломить её характер, раскрыть ей глаза на главное, интересное, подымающее человека, что он сам видел в жизни.

Ведь очень не просто сложилось то, что называют личной жизнью, и у Давыдова, и у Нагульнова, и у Размётнова. Трудной судьбой наделил их в этом плане автор. И, вероятно, наиболее важно здесь всё, что помогает ещё более углублённо раскрыть душу этих героев романа, выявить резко индивидуальное, что содержат в себе их портреты, и общее, что объединяет их как носителей самых светлых мыслей и чувств, присущих советскому человеку.

С первых глав второй книги писатель с большим мастерством художника-психолога ведёт своего героя к разрыву с Лушкой, ничуть не облегчая тяжести его переживаний и тяжести расставания. Давыдова мучат «постоянные мысли о ней, всякие мысли...» об этой «окаянной бабёнке», что «не в добрый час» перешла ему дорогу. В нём вызывали досаду её беспечность к собственной репутации, полное пренебрежение приличиями. Ему казалось, что Лушка, будучи разведённой женой секретаря хуторской партячейки, попросту щеголяет своей властью над сердцем председателя колхоза. Он никак не мог расценивать свои отношения с ней как «блудни», по её же, Лушкиному, выражению, и всё же ему было противно стремление Лушки выставлять эти отношения напоказ. Конечно, не желание «и грешить, и в холодке, в тени» остаться руководит им, а глубокая, целомудренная стыдливость, свойственная этому мужественному, сильному человеку. Ведь он уже много раз серьёзно раздумывал над тем, что подходит время для объяснения с Макаром, пора взять Лушку за себя замуж и сразу пресечь возможность каких-либо хуторских пересудов.

Любовно и иронически передаёт автор убеждённые и наивные размышления Давыдова: «Я её перевоспитаю! У меня она не

очень-то попляшет и оставит всякие свои фокусы! Вовлеку её в общественную работу, упрошу или заставлю заняться самообразованием. Из неё будет толк, уж это факт! Она неглупая женщина, а вспыльчивость её кончится, отучу пылить! Я не Макар, у них с Макаром коса камень резала, а у меня не тот характер, я другой подход к ней найду»,– так, явно переоценивая свои и Лушкины возможности, самонадеянно думал Давыдов».

Писатель подчёркивает, что сердце Давыдова было бесхитростно и не закалено в любовных испытаниях. Для характеристики Давыдова многое несёт в себе описание того, какой виделась ему самоуверенная и самовлюблённая Лушка. Конечно, в Лушке есть что-то, что способно затуманить голову. В первой книге дан очень выразительный портрет этой молодой женщины. Но один динамичный штрих, положенный автором уже во второй книге, вдруг необычайно усиливает это изображение, добавляя в него некую скользящую игру света и тени: «Удивительные глаза были у Лушани Нагульновой! Когда она смотрела немного исподлобья, что-то трогательное, почти детски-беспомощное сквозило в её взгляде, и сама она в этот момент была похожа скорее на девочку-подростка, нежели на многоопытную в жизни и любовных утехах женщину. А через минуту, лёгким касанием пальцев поправив всегда безупречно чистый, подсинённый платок, она вскидывала голову, смотрела уже с вызывающей насмешливостью, и тогда тускло мерцающие, недобрые глаза её были откровенно циничны и всезнающи». Поражает здесь прежде всего мастерство живописи словом, умение столь лаконично дать необычайно точный психологический рисунок образа. Но хочется отвлечься от этого колдовства художника и всмотреться в Давыдова. Способность Лушки мгновенно перевоплощаться была всё-таки, по-видимому, постигнутой во всех тонкостях школой кокетства, а романтик Давыдов видел в этом не что иное, как некое природное дарование. И разве не возвышает его образ то, что он склонен был так идеализировать свою возлюбленную!

Понимая, что безболезненно развязать тугой морской узел, в какой сплелись их отношения, не удастся и в конце концов этот узел надо разрубить, Давыдов испытывает острую душевную боль. Он ставит себе в пример Макара, и тут же подвергает этот пример сомнению: а может быть,

и Макару нелегко было, но только он виду не подавал? Наверное, так оно и было, но Макар умел скрывать свои переживания, а он, Давыдов, не умеет, не может...

Блестящей художественной находкой писателя явилась мысль натолкнуть в этот момент Давыдова в безлюдной степи на брошенное гнездо жаворонка и вызвать в своём герое грустные раздумья о том, что вот, дескать, всякая мелкая пташка и та гнездо вьёт, потомство выводит, а он ковыляет бобылём почти сорок лет, и ещё неизвестно, придётся ли ему посмотреть на своих маленьких...

Само желание поглядеть на маленьких жаворонят, которых не привелось ему видеть когда-нибудь в детстве, говорит о том, какая нежность спрятана в душе этого «братишечки»-моряка.

Видимо, опасаясь признаться в такой чувствительности самому себе, где-то в тайниках сердца мечтает он о чистой, прочной любви, о семье, о детях. Пусть он смеётся над пришедшей ему в голову мыслью о женитьбе, пусть он не может представить себя в роли отца многочисленного семейства — позднее всё это проявится в нём и заставит принять важное для всей его жизни решение.

Но прежде всё-таки надо было разрубить узел, завязанный Лушкой.

А когда узел развязался сам собою, долго не мог оправиться Давыдов от свалившегося на него удара, от тяжкого потрясения.

Сцена разговора Нагульнова и Давыдова после ухода Лушки из хутора принадлежит к сильнейшим в романе по чисто шолоховской мужественности слога, отточенному владению диалогом, умению выразить множество оттенков отношений между людьми в тонком и точном психологическом подтексте. Здесь писатель передал и жгучую боль, которую каждый переносит по-своему, и стремление настоящих мужчин скрыть это, и попытки как только возможно оберечь товарища, помочь ему справиться с бедой.

И тут оказывается, что гораздо лучше знал цену Лушке и понимал её характер Макар. Причудливо сочетаются в его отношении к ней и совершенно трезвая оценка природы этой взбалмошной, в общем-то пустой женщины, и глубокая привязанность к ней. Давыдов в конце концов проклинает себя за опрометчивость, твердит себе, что в

его истории с Лушкой не было даже маленькой капли любви, что вся эта история похожа на плохое незаконченное письмо, оборванное на полуслове. Правда, это не облегчает его состояния, он чувствует, что ещё долго не сможет оторвать от себя Лушку, память о ней,– но любит-то по-настоящему Лушку Макар, сильной и странной в этом аскетическом по всему своему складу человеке любовью.

•

Главы второй книги последовательно показывают, как та скрытая пружина, присутствие которой в жизни хутора Давыдов ощущал уже давно, сжимается до предела — вот-вот она распрямится для смертоносного удара...

Реалистически точно рисует автор «Поднятой целины» контрреволюционное подполье. Густая тень обречённости лежит на образах Половцева, Лятьевского, Островнова и тех, кто орудует заодно с ними. В то же время каждый из них в отдельности и особенно все они вместе очень опасны.

Объединившие свои усилия для одной злой цели, они совершенно различны по индивидуальным чертам характера.

В поведении Половцева всё чаще проступает чёрная «романтика» контрреволюции. Он даже сентиментален, этот палач. Он, видимо, исповедует некие «идеалы», как ни трудно применить это слово к такого рода понятиям. Он одержим страстью борьбы до того самого момента, когда убеждается, что игра проиграна, что надо платить сполна. Лишь тогда он расписывается в собственном бессилии и выдаёт советскому правосудию своих сообщников.

Лятьевский — циник до мозга костей. Его разъедающий цинизм отлично помогает сорвать красивые покровы с высокопарных фраз Половцева, обнажает убогую их изнанку, страшную внутреннюю пустоту, скрывающуюся за эффектной позой, тщету предпринимаемых усилий. В то же время он, вероятно, наиболее опасен из всех участников заговора. Действует он холодно, расчётливо и точно. Понимая бесполезность борьбы, он всё же борется отчаянно, просто питому, что иного пути у него нет.

Островнов, яростно ненавидя Советскую власть, вес то новое, что принесла она в жизнь народа, колеблется в выборе средств борьбы, форм своего личного участия в ней,

срока, когда надо приступать к активным действиям. При всём этом он послушно и ловко выполняет все приказы своего бывшего командира, а ныне подпольного руководителя — Половцева.

Соучастие в зверском убийстве Хопровых бледнеет перед новым страшным преступлением, на которое оказался способным степенный завхоз, «культурный хозяин» Яков Лукич Островнов,– перед чудовищным умерщвлением собственной матери. Некоторые читатели первой книги ещё могли сомневаться, нет ли своего рода двойственности в характере Островнова: с одной стороны, это злобный враг, а с другой — он, как человек хозяйственный, начинает словно бы заинтересовываться постановкой дела в колхозе, невиданным размахом, какой может оно обрести. И, может быть, не исключена возможность прозрения Якова Лукича и перевоспитания его? Во второй книге писатель сразу поставил все точки над «и». Он раскрыл во всей омерзительности нутро Островнова, показал единственно возможное направление, в котором эволюционировал этот характер. Глубина осуждения Островнова читателем многократно возрастает оттого, что Шолохов ввёл в повествование разительное противопоставление материнской любви, неведения жертвы и жестоко рассчитанного медленного убийства. Смертный приговор Островнову вынесен, собственно говоря, уже в этой главе. Дальнейшие его преступления могут лишь увеличить счёт мерзостям, за которые он должен ответить. И ничто уже не загладит хоть в какой-то мере его вину. Вероятно, поэтому, поскольку образ вполне завершён, в последующих главах Островнову отводится роль лишь второстепенная, он уходит с авансцены.

Другое дело — развитие характеров Половцева и Лять-евского. Мера их виновности предстанет в полном своём тяжком весе перед судом читателя лишь в финальной главе романа. А пока писатель даёт нам возможность пристально всматриваться в эти натуры, чтобы лучше понять, что порождает подобные явления в жизни общества, осмыслить социальную природу этих характеров, наконец, ощутить всю безысходность их ненависти, беспомощность в попытках повернуть ход истории вспять. Лятьевский, собственно говоря, и не возлагает на это надежд. Он просто огрызается в лютой злобе и не упускает любого случая, чтобы чем-нибудь навредить тем, кого он смертно

ненавидит. Может быть, это не совсем точно сказано: не чем-нибудь он старается вредить, он с обычным для него барским пренебрежением и высокомерием расспрашивает Островнова о его «диверсионерской» деятельности, его шляхетские руки созданы для оружия, его «профессия» – убийство. Лятьевский не создаёт себе никаких иллюзий, не рисует возвышенных целей, не верит в конечный успех,– но это вовсе не размагниченный интеллигентик, хватающийся за пистолет лишь в припадке истерии, это один из самых жестоких и сильных врагов, показанных в романе. Стоит присмотреться к тому, как описано преображение этого охотника за людьми, когда он спешит в засаду, готовя убийство чекистов, вслушаться в его рассказ Половцеву о своём побеге из тюрьмы и способе, каким он не побрезговал воспользоваться, чтобы сохранить себе жизнь.

Холодному скептицизму Лятьевского, убийцы, претендующего на аристократизм, претит всё в Половцеве – плебейское происхождение, «театральные жесты» (как в великолепно написанном эпизоде и диалоге, в котором участвуют эти соратники поневоле, когда Половцев целует присланную ему старую его офицерскую шашку), провинциальность вкусов. Половцев же открыто в свою очередь высказывает ненависть к «скоту», «шляхтичу», позволяющему себе глумиться над всем, что считает бело-казачий есаул своими идеалами и «честью». Больше же всего бесит Половцева растлевающее действие холодных и по-своему трезвых суждений Лятьевского о нём самом как ревнителе того, в чём он, Половцев, видит «идею» контрреволюционного движения. Половцев считает себя знаменосцем, а Лятьевский плюёт на его «знамя». Потому-то Половцев и жаждет момента, когда можно будет — а возможным это ему представляется после столь желаемого им свержения Советской власти — разделаться по заслугам с бывшим своим соратником.

Писатель справедливо подчёркивает, что эта взаимная неприязнь, это отвращение друг к другу до крайности усиливаются долгим вынужденным совместным сидением взаперти, заставляющим обоих вариться в собственном соку. Но корни вражды лежат глубже, и роман со всей очевидностью выявляет это.

Однако Шолохов не был бы Шолоховым, если бы ограничился однолинейностью в изображении. В романе

описаны моменты, когда что-то в поведении одного из этих персонажей способно даже растрогать другого. Наиболее запоминаются в этом смысле два эпизода: напутствие Половцева Лятьевскому, когда тот идёт в засаду, чтобы расправиться с чекистами, и реакция Лятьевского на это напутствие; сцена в том же островновском курене после появления там Лятьевского с принесёнными им цветами. Но и тот и другой эпизоды, сообщающие гораздо большую глубину и живость писательскому рисунку, делающие его во много раз убедительнее и ярче, в характеристике взаимоотношений обоих персонажей представляют собой лишь исключение, подтверждающее общее правило.

И есть во второй книге действующее лицо, появление которого добавляет остро выразительный штрих в картину контрреволюционного лагеря,– полковник Седой-Никольский. В нём показаны силы, которые руководят действиями таких исполнителей, как Половцев и Лятьевский. Даже видавшего виды Половцева приводит в смятение претензия на властность в принятии решений, не подкреплённая никакими реальными основаниями, леденящее безразличие к судьбам тех, кто призван выполнять приказы. Половцев, в первой книге внушавший Островнову представление о народе как о «быдле», которое надо вести за собою, выбирая за него направление, сам внезапно оказывается в положении «быдла», которое гонят — это очевидно для него — на бойню, при этом пощёлкивая кнутом и похлопывая по холке.

Лагерь тех, кто ненавидит и презирает друг друга, лагерь людей с опустошёнными душами, рой фигурок, ещё двигающихся по некоей инерции исторического процесса, объединённых лишь безудержной, общей для них ненавистью к народу, к власти этого народа,– вот каким предстаёт в изображении Шолохова стан контрреволюции в 1930 году.

Нельзя, однако, забывать, сколь кровавы планы, которые вынашивали эти злобные пигмеи.

Действиям врагов самой историей был уготован провал. Но борьба не на жизнь, а на смерть не может обойтись без жертв и сопряжена в реальной жизни с тяжёлыми утратами.

Всё более нарастает к концу романа напряжение, всё более ощутима необходимость драматической развязки. И в заключительной главе эта развязка наступает. Люди

мирного труда Давыдов и Нагульнов, как воины революции, гибнут в вооружённой схватке с заговорщиками. Кара настигает их убийц — одного немедленно, другого спустя недолгий срок.

С подлинно шолоховской глубиной решены, художественные задачи, связанные с завершением книги.

Любовь автора к своим героям как бы прорывается в коротком, но исполненном чувства «лирическом отступлении»:

«...Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака... Вот и всё!»

Драматический финал «Поднятой целины» несёт в себе, при всей своей сложности, как это обычно бывает в шолоховских произведениях, жизнеутверждение. Крахом окончилась отчаянная попытка контрреволюции поднять восстание против Советской власти на юге страны. Идя бок о бок с Давыдовым по трудному пути борьбы за новую жизнь, возмужали как бойцы, созрели как граждане и руководители своих товарищей-односельчан Андрей Размётнов, Кондрат Майданников. Они заступили на вахту взамен ушедших. Важно, что эти вожаки массы колхозного казачества, выросшие уже здесь, на месте, прошли большую школу, накопили драгоценный опыт. Подрастает молодая поросль — комсомолец Ванюшка Найдёнов, Варя Харламова.

•

Во второй книге читатель видит живое развитие характеров многих героев.

И, может быть, особенно показателен в этом отношении путь, который проходит Кондрат Майданников. Мы видели в первой книге, в начале её — ставшее как бы хрестоматийным — описание того, как Кондрат, вступая в колхоз, прощался с имуществом, которое наживалось долгие годы тяжёлым трудом. Даже став «ударником» колхозного труда, как назвал его Давыдов, Кондрат не решается ещё совершить самый важный шаг в своей жизни — вступить в ряды коммунистов, поскольку он чувствует, что не совсем ушла до самой последней поры из души его боль за «своё» добро, переданное в общее пользование, что не вполне ещё изжил он в себе предрас-

судки, порождённые прошлой жизнью крестьянина, видевшего возможность своего хотя бы относительного благополучия лишь в укреплении собственного единоличного хозяйства. Таким оставался Кондрат в первой книге, хотя читатели и догадывались, что в конце концов этот человек придёт в партию и будет образцовым коммунистом: залогом того были и труд его в колхозе, и всё развитие его характера, и сама серьёзность, с какой он решал этот вопрос.

Вторая книга показывает, как шёл угадывавшийся прежде дальнейший рост сознания Кондрата, как всё отчётливее определялась его личность.

В качестве важного итога одного из этапов развития образа воспринимается отношение Кондрата к тревожной ситуации, создавшейся в Гремячем Логу и во всей округе в связи с тем, что вражеские силы приступили к активным действиям. На реплику Давыдова о том, что враг начал поднимать голову, Майданников отвечает: «Что ж, это хорошо, пущай подымает. Поднятую голову рубить легче будет».

Обострение борьбы, угроза, нависшая над людьми, которые стали дороги Кондрату, над всем новым укладом жизни, за который сражался Кондрат в годы гражданской войны и который сам вместе с миллионами других людей труда создавал, стремясь к счастью всех, кто прежде подвергался жестокой эксплуатации и у кого, несмотря ни на какие усилия создать себе сносную жизнь, ничего «путного» не получалось,– вот что словно сигналом боевой трубы позвало Кондрата на передовую линию фронта, прекратило его самоаналитические колебания, стало если не решающим стимулом, то, во всяком случае, последним толчком, который был нужен ему для окончательного оформления уже созревшего в его мыслях решения.

Агафон Дубцов, рассказывая Давыдову о том, как он сам, младший Бесхлебнов и Кондрат Майданников порешили подать заявления с просьбой принять их в партию, так передаёт одну из происходивших между ними троими бесед: Кондрат «говорил, будто ты, Давыдов, давно шло приглашал его в партию, по он отказался тогда из-за приверженности к собственным быкам. А зараз он же и говорит: «Какая тут может быть приверженность, ежели кулацкие сынки за оружие берутся и хотят всё на старый лад повернуть. Душевно отрекаюсь от всякой жалости к

собственным быкам и прочей живности и записываюсь в партию, чтобы, как и десять лет назад, стоять за Советскую власть в одном строю с коммунистами».

Выдающееся значение в композиции романа имеет сцена открытого партийного собрания гремяченцев, на которое пришёл весь хутор. Собрание, посвящённое приёму нового пополнения в партию,– великое по своему значению событие в жизни всех основных героев романа. Это находит индивидуальное, очень точно схваченное писательским глазом выражение в психологическом состоянии и поведении каждого из них.

Кондрат Майданников провёл не одну бессонную ночь, прежде чем написать заявление на вырванном из ученической тетради листке. Кондрат на собрании необычно смущён, он бледен, волнуется так, что на лбу выступает крупными каплями пот и всё лицо кажется «словно бы обрызганным дождём».

Твёрдый и спокойный во время открытого выступления против Островнова, Ипполит Шалый, когда люди аплодируют ему, проголосовав за то, чтобы он был принят в партию,– стоит, растерянно моргая, оглядывая хуторян повлажневшими глазами.

Простое сопоставление этой картины с изображением первых собраний в Гремячем Логу, когда ставился вопрос об организации колхоза, подчёркивает, какие изменения произошли здесь, какие щедрые плоды принесла скромная и героическая работа Давыдова. Нагульнова, Размётнова, всех, кто помогал им в их благородном труде.

Писатель заставляет нас вглядеться в лицо Макара Нагульнова, почувствовать, что происходит в просветлённой душе этого человека. Недаром подчёркнуто в описании необычного собрания, что разительную перемену во внешнем облике человека можно было увидеть даже не у тех, кого только что приняли в партию, а у самого секретаря ячейки: «Таким Давыдов ещё никогда не видел его. Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастёрку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые, мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расползались в какой-то по-детски трогательной улыбке, и так необычна была она на аскетически суровом лице Макара...»

Может быть, здесь и преувеличение, может быть, где-то уже видели и читатель и Давыдов Макара Нагульнова улыбающимся, но бесконечно прав автор в своём художественном утверждении. Пусть это будет гипербола. Важно другое, самое главное,– ведь это были для Макара минуты настоящего счастья, возможно впервые пережитые им.

Мы должны быть благодарны художнику, который перед тем как увести своих любимых героев из жизни и навсегда- оставить их в нашей памяти, в наших сердцах, показал нам их в .эти минуты счастья, осознания того, что жизнь прожита не напрасно.

Таков Давыдов в свой «светлый день», таков Макар на этом собрании. Такими и запомнит их читатель, в который раз обдумывая их жизненный путь и постигая высокую романтику простого и великого подвига их жизни.

В комплекс представлений о Давыдовском «светлом дне» хотелось бы включить и прелестную сценку с Федоткой Ушаковым в школе. Вот где раскрылось что-то неуловимо обаятельное во всём поведении и внутреннем облике Давыдова, этого скупого и робкого на выражение чувств человека, привыкшего, как и Нагульнов, где-то глубоко прятать нежность своей души.

Книга убеждает в том, что её герои, люди суровых лет, мужавшие в боях и отдававшие себя целиком борьбе, прожили очень полную жизнь. Путь их требовал многих лишений, самоограничения, иной раз отказа от самого, казалось бы, необходимого. Но смысл их существования, их дел был прекрасен, и прекрасно было то драгоценное, что несли они людям, что раскрывалось в них самих. И они были по-настоящему счастливы, эти простые и неисчислимо богатые душою, своей любовью к жизни люди.

•

Очень много тонких оттенков и штрихов положено автором во второй книге на портреты знакомых нам героев. Всякий раз приходится отмечать удивительное свойство шолоховского творчества — раскрывать читателю всегда нечто новое и зачастую неожиданное в, казалось бы, хорошо известных людях. Писатель как будто учит нас внимательно, с интересом вглядываться в окружающий мир, в людей, которых мы встречаем на каждом шагу и, случается,

так и не узнаем ничего об их внутреннем мире. Человеколюбивое и жизнелюбивое творчество Шолохова открывает нам, как много драгоценного для писателя, для нас, читателей, таит в себе жизнь едва ли не каждого человека, если к ней как следует присмотреться. Не было бы этого пристального и заинтересованного взгляда — и разошлись бы своими путями двое людей, сидевших на берегу речки Бланки в ожидании переправы, и не раскрылась бы собеседнику судьба Андрея Соколова, героя рассказа «Судьба человека». Да и там, где характер человека как будто уже до мелочей известен, где можно ожидать лишь дальнейшего движения событий, то и дело узнаём мы что-то новое именно в самом его характере.

Взять, к примеру, Нагульнова. И счастливая улыбка его на собрании, и трагическое прощание с Лушкой, и раздумья его о Давыдове — всё это позволило нам гораздо глубже проникнуть в тайники его души, сроднило нас с ним. А тут ещё потешная и чуть горькая дружба со Щукарем, ночи, которые они проводили вместе, занимаясь каждый на свой лад «самообразованием», слушая петушиные хоры и, опять-таки каждый на свой лад, восторгаясь тем, что слышалось в этих хорах именно ему. Что заставило Щукаря потянуться к Макару, которого ему по всем статьям полагалось бы побаиваться и обходить стороной? Что заставляло Макара терпеть около себя старика, которого он иначе не называл, как «балабоном», «треплом»? Наверное, не всегда нужно критику рассекать ланцетом живую ткань произведения и искать точного ответа. Может быть, это было одиночество, может быть$_{а}$— сочувствие друг к другу. Может быть, «пустяковый старичишка» Щукарь оказался по-своему мудрым и зорким, чтобы разглядеть в Макаре что-то, не видное другим. Может быть, Макар так тянулся к дружбе, что не оттолкнул Щукареву? Так пли иначе, но теперь читателю уже кажется, что по-другому и быть не могло. И как много потеряли бы мы, если бы не увидели и не сохранили в памяти так причудливо поставленные рядом фигуры Макара и Щукаря, идущих по главной улице хутора после собрания; не услышали и не запомнили дребезжащий тенорок разволновавшегося Щукаря и успокаивающий хрипловатый басок Макара; не проводили взглядом двух друзей до самой калитки нагульновского куреня, куда они и в этот раз вошли вместе.

Вообще об образе Щукаря во второй книге надо поговорить отдельно.

Вот образ, наделённый своей совершенно особой литературной судьбой. Казалось бы, ничем не связан он с развитием основного сюжета романа, не будь его — и ничто существенно не изменилось бы в ходе событий, во взаимосвязях остальных персонажей... Как и в жизнь обитателей Гремячего Лога, так и в композицию романа, если понимать её формально, он вносит скорее путаницу. А Размётнов, как и другие, немало претерпевший от Щукаревых чудачеств, говорит Майданникову, замечая, что старик сильно постарел, и опасаясь, что недалёк уже конец его жизни: .«Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется». Дело, конечно, не только в том, что к Щукарю привыкли. Но какое действительно горе было бы для нашей литературы, как много она потеряла, если бы в «Поднятой целине» (представим себе на минуту такую возможность) не возник этот образ!

Дед Щукарь стал одним из любимейших героев у читателей. Позже вернёмся к попытке уяснить значение его в художественной ткани романа — в образной системе, в композиции,– а пока посмотрим, что могло завоевать ему такую необычайно широкую популярность.

Комическое в характере и злоключениях деда Щукаря дало возможность в полную силу проявиться шолоховскому юмору — глубоко народному, то солоноватому, то согретому тёплой усмешкой и так часто очень близкому к тому, что Шолохов называет «грустинкой».

Уморительны и характер Щукаря, и положения, в которые он попадает, и манера рассказывать о его жизни — и у самого Щукаря, и у автора. Кто не смеялся до слёз над неумолимой последовательностью нелепостей, сопутствующих бедняге-неудачнику с первых дней появления его на свет? Кто не наслаждался сокровищами художественного слова, обильно почерпнутыми писателем из неиссякаемых богатств живой народной речи и послужившими для создания этого образа? Разве можно не почувствовать, как мил русскому сердцу этот персонаж, при всей его уникальной своеобычности кровно родственный характернейшим созданиям фольклорного творчества, чисто национальным героям устных народных рассказов, сказок, бывальщин?

Это образ, корнями глубоко ушедший в прошлую жизнь народа. Критика уже не раз справедливо отмечала, что в изображении судьбы смешного старика очень много серьёзного, печального и трогательного. В «прошлой бытности» не было ему, горемыке-бедняку, да и не могло быть удачи. Не было у него ни прочного места в жизни, ни малейшего просвета впереди, ни права на хотя бы уважительное отношение со стороны окружающих. Но в природе своей национальный русский характер из глубины веков пронёс неистребимую способность и склонность к жизнелюбивому юмору, к незлобивой шутке, скрашивавшей во многом безрадостные стороны жизни и отдельного человека, и целого народа. И всегда хранил народ мечту о лучшей судьбе, о справедливом устройстве жизни. Не эти ли свойства получили своеобразное преломление в биографии и чертах характера деда Щукаря?

Даже его потешное фанфаронство, приписывание собственной личности далеко не присущего ей значения в ходе развёртывающихся событий, нелепо преувеличенное представление о своём месте среди окружающих — всё это возникло, с одной стороны, как неуклюжая и неосознанная форма протеста против униженного своего состояния и, с другой стороны, как выражение характера неунывающего, стремящегося к жизни активной, приметной, способной снискать признание и внушить людям уважение к самому себе.

Лишь в колхозе горемычный Щукарь начинает обретать то, чего ему так не хватало всю жизнь. Недаром весело признаётся он: «Жизня эта мне, братцы, начала дюже нравиться!»

Лишь советская действительность указала таким людям, как Щукарь, выход из тупика, помогла им стать на ноги, вернула им отнятое эксплуататорским строем право на человеческое достоинство.

Изображено это в романе отнюдь не прямолинейно. Ничто не даётся злополучному Щукарю так уж просто. Читатели помнят, как кобель Титка Бородина отомстил деду за попытку проявить общественную активность и участвовать в раскулачивании. Едва ли не большее фиаско потерпел Щукарь в роли колхозного кашевара, когда он, казалось бы, нашёл работу на общее благо по своим силам и приложил к ней максимум рвения. Даже тихая дружба с Макаром Нагульновым и штудирование толкового словаря в надежде

стать «культурным стариком» привели к «геройскому ранению» щепкой.

В этом смысле Щукарь остаётся и во второй книге самим собой, меняются лишь ситуации, в которые он попадает благодаря неизменным свойствам своего характера и фатальному нагромождению бед, что валом валятся на его весёлую, неунывающую голову. Но ведь это лишь поверхностная сторона явлений. И разве можно заявлять, хотя бы с любыми оговорками, как это делали некоторые критики, что Щукарь-де продолжает своё существование во второй книге «по инерции», что характер этот не претерпевает существенных изменений?

А как быть с другими довольно очевидными фактами? Можно ли не видеть, сколько нового, неожиданно серьёзного и красивого проступает сквозь чудачества, балагурство и задорное самовозвеличение невезучего деда? «Бесцветно-голубые старческие глазки», оказывается, способны видеть поэзию в картинах природы, «душонка» отзывчиво воспринимает мир, а недалёкий ум погружается в элегические философские размышления. Исполнено поэтической прелести описание мыслей Щукаря, порождённых зрелищем отцветших терновых зарослей, встреченных в степи: «...жизня протекает, как вода скрозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберётся... Давно ли проезжал я по этой Червлёной балке! Тогда терны цвели во всю ивановскую, белой кипенью вся балка взялась! Дунет тогда, бывало, ветер, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится, как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрытая белым, и пахло лучше любой бабьей помады, а зараз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно! Вот так и моя никудышняя жизня под старость взялась чернотой...» Уж не это ли «инерция» в обрисовке столь памятного нам образа? Полно, могли ли мы прежде заподозрить, подобный откровению, этот поворот в изображении характера Щукаря! Щемящую грусть и радость узнавания нового испытываем мы, вглядываясь в прежде не известные нам уголки внутреннего мира так полюбившегося нам человека.

Щукарь оказался гораздо зорче, а натура его гораздо глубже, чем это можно было предполагать. Сумел же он почувствовать новизну колхозной жизни и то, что несёт она народу. Сумел же он — по-своему, по-щукаревски — почуять, что за люди строят эту новую жизнь, всей душой

привязаться к Нагульнову и Давыдову, с самозабвенной преданностью полюбить этих людей. Если в первой книге ему доставляло невинное удовольствие хвастать своей мнимой близостью к «товарищу рабочему», председателю гремяченского колхоза, и решениями, которые они якобы сообща принимали по колхозным вопросам, то теперь перед нами нечто совершенно иное. Пусть по-прежнему смешит нас трогательное подражание Макару и Давыдову в способе выражать свои мысли — в устах Щукаря звучат уже и Макарове «задача ясная?», и излюбленное давыдовское словечко «факт». Но сколько глубокого чувства раскрылось в Щукаре после гибели Нагульнова и Давыдова! Кто мог думать, что так близко к сердцу примет он уход их из жизни, что это так сразу состарит его самого, что он способен на переживания такой силы.

«Похоронив своих друзей, заметно сдал и неузнаваемо изменился дед Щукарь: он стал нелюдим, неразговорчив, отце более, чем прежде, слезлив... После похорон пролежал дома, не вставая с кровати, четверо суток, а когда поднялся — старуха заметила, не скрывая своего страха, что у него слегка перекосило рот и как бы повело на сторону всю левую половину лица.

– Да что же это с тобой подеялось?! — в испуге воскликнула старуха, всплеснув руками.

Немного косноязычно, но спокойно дед Щукарь ответил, вытирая ладонью слюну, сочившуюся с левой стороны рта:

— А ничего такого особого. Вон какие молодые улеглись, а мне давно уж там покоиться пора. Задача ясная?»

Дед Щукарь, тот самый дед Щукарь, который, кажется, знаком и известен был до каждой шерстинки его бабьей шубы, вдруг предстал перед нами в совсем ином свете. Нелюдимый, неразговорчивый, обретший спокойствие мудрости.

А чего стоит его признание Кондрату Майданникову: «...подкосили меня Макарушка с Давыдовым, уняли у меня жизни... С ними-то, может, и я бы лишних год-два прожил, а без них что-то тошновато стало на белом свете маячить...»

«Своими родными» называет он Макара и Давыдова и рассказывает Размётнову:

«Детей у меня сроду не было, Андрюшенька, а тут — будто двух родных сынов сразу потерял... И щемит проклятое сердце день

и ночь, и никакого мне покою от него нету!»

А сколько душевного такта и деликатности находит писатель в своём герое, когда заставляет его оставить Варю одну у могилы Давыдова и ещё объяснить свой уход самыми обыденными заботами.

С высоким совершенством написан и последний диалог Щукаря и Вари, когда Варя тихо благодарит деда за то, что он дал ей побыть тут одной, а он спрашивает, как она «теперича будет», ласково обращаясь к ней: «милушка»; когда дед выражает сомнение по поводу её решения бросить учёбу и замечает, что «Сёма наш» был бы недоволен, по его, Щукаря, разумению, и когда в конце звучат слова:

«Не советчик я тебе, милушка моя, гляди сама. Только ты его не обижай, ведь он любил тебя, факт!»

Обратим внимание и на такую деталь, со счастливым вдохновением найденную писателем: прощаясь с дедом Щукарем, последним мы слышим от него то самое давыдовское словечко, которое здесь оказывается необычайно ёмким по своему подтексту и ставит столь необходимую в художественном отношении точку, заканчивающую повествование о чудесном, смешном и трогательном, неудачливом и нашедшем что-то драгоценное в жизни, прежде болтливом и пустоватом, а под конец спокойном и мудром старике, милом всем нам человеке.

•

Читателю запомнились столкновения Давыдова и Нагульнова с бюрократом и карьеристом Корчжинским. Страницы, где описаны встречи Давыдова с новым секретарём райкома партии, вводят в роман образ хотя и эпизодический, однако воплотивший в себе большое содержание.

Иван Нестеренко знает жизнь, людей. Это человек недюжинного ума, мужественный и скромный, естественно простой в обращении, чуткий и требовательный.

И у него, как и у Давыдова, за плечами годы труда, годы гражданской войны: он сражался с бандами басмачей в Узбекистане. Тут они равны. Но Нестеренко лучше знает сельское хозяйство, поскольку родом он из Ставрополья и начинал свою трудовую жизнь как хлебороб. И опыт

партийной работы у него больше. Это и даёт ему серьёзные преимущества перед Давыдовым. Хотя внешне держатся они и беседуют как товарищ с товарищем, очевидно, что старший из них двоих — не только но партийному своему положению, не только по возрасту — Нестеренко.

Он от души любуется Давыдовым, но отлично видит и недостатки председателя гремяченского колхоза. Мягко и в то же время решительно помогает он Давыдову обдумать всё, что упущено в колхозной работе, найти пути исправления. Он умеет подойти к человеку открыто, с весёлой шуткой, порою с хитринкой, не обижая назидательностью советов, чутко подмечая его состояние, а там, где заходит речь о вопросах принципиальных, твёрд и неуступчив.

Оба сразу оценили друг друга, прониклись взаимной симпатией. Так и должно было получиться. Понимают они всё с полуслова. Это люди, отлично идущие в одной «упряжке».

Простота в обращении и ум Нестеренко сразу завоёвывают ему симпатии и Давыдова, и Нагульнова, и даже стряпухи Куприяновны. К каждому человеку у него свой подход, потому что он сам всё время в гуще жизни, всё время среди людей.

В галерее образов коммунистов, созданной Шолоховым, читателю несомненно запомнится портрет Ивана Нестеренко — скромного и талантливого труженика партии, одного из тех, кто во все времена составлял и ныне составляет надёжную её опору, её гвардию.

•

Из образов людей, с которыми познакомил нас писатель во второй книге, новым не только для этого романа, но и вообще для творчества Шолохова явился чудесный образ Вари Харламовой. Ведь это она, юный погоныч из майданниковской бригады, девушка-казачка, несущая на себе бремя забот об овдовевшей матери и младших ребятишках в семье, познавшая цену труду, тянущаяся к свету знания, и произвела такой благодатный перелом в личной судьбе Давыдова. Варюха-горюха помогла ещё больше раскрыться для читателя душе любимого им героя, её появление в книге дало возможность читателю осмыслить по-новому образ этого человека.

Чувство печали вызывает то, что так и не состоялся брак Давыдова и Вари, но ведь только безвременная смерть помешала ему. Сжимается сердце читателя, когда на последних страницах он видит Варю, стоящую в молчании на коленях у изголовья давыдовской могилы, но поистине прекрасна их любовь, их вера в жизнь, радостного утверждения жизни были полны их планы совместной, плечом к плечу, будущей работы в колхозе, ясно виден путь, по которому пойдёт Варя в дружной колхозной семье. Колхоз обеспечит её учёбу, вырастит из неё своего агронома, а главное — человека свободного, осмысленного труда, труда на благо родного парода.

•

Немало нового по сравнению с первой книгой романа заметно в композиции второй книги. Обращают на себя внимание гораздо большая неспешность действия, частые его замедления, большая пространность описаний, углубление во внутренний мир героев. Следует ли искать этому одно какое-либо объяснение? С одной стороны, видимо, сказывается то, что в самой жизни Гремячего Лога за несколько месяцев произошли серьёзные перемены. Когда колхоз только ещё создавался; когда кипели страсти вокруг основного вопроса — быть или не быть колхозу, как сложится жизнь по-новому; когда делались первые шаги на этом пути, совершались и исправлялись на ходу ошибки; когда были и выходы из колхоза, вспыхнул «бабий бунт», враги сколотили контрреволюционную организацию,– жизнь в Гремячем Логу «становилась на дыбы». А потом наступило время, когда эти острые проблемы были решены, встали новые задачи и перед всеми хуторянами, и перед руководителями колхоза, жизнь уже входила в новое, широкое русло. Соответственно изменился и ритм повествования. Его течение стало более плавным, открылся простор для новых наблюдений художника, для изображения более детализированного, сосредоточенно-внимательного и углублённого. Может быть, так. Может быть, дало себя знать и то, что автор обратился к своим старым героям спустя долгое время. Вглядываясь в них более чем через двадцатилетие, а в некоторых главах и по прошествии четверти века, он, обогащённый историческим опытом родной страны и собственным жизненным опытом,

смог сделать их образы ещё более ёмкими, нежели прежде, ощутил потребность наполнить их новым содержанием, сохраняя всю природу их характеров, логику развития этих характеров, всё глубже проникая в душу человека.

Надо напомнить, что возвращение к прерванной работе сказалось лишь в том, как именно строится повествование во второй книге. Замысел же её в общих своих чертах остался совершенно неприкосновенным.

Поэтому вызвали в своё время справедливый гнев писателя измышления американского журналиста Солсбери, попытавшегося изобразить для зарубежных читателей дело совсем по-иному. Ещё в 1959 году в газете «Нью-Йорк тайме» была помещена статья этого журналиста, где он, ссылаясь на якобы имевшие хождение в «московских литературных кругах» слухи, утверждал, будто «Поднятая целина» уже давно закончена и Давыдов, дескать, через несколько лет умирает в советской тюрьме. Из-за этого, по утверждениям Солсбери, вторая книга и не печатается... Когда же окончание романа было опубликовано, появилась новая статья Солсбери, озаглавленная: «Герои Шолохова умирают новой смертью». И снова журналист повторил прежнюю свою версию относительно будто бы существовавшего другого финала романа, «уточняя» её: «...Давыдов был злонамеренно обвинён советской полицией, арестован и заключён в тюрьму, гд», как рассказывают, застрелился». В своём ответе, напечатанном в «Правде» 1 марта 1960 года, Шолохов пишет: «Всё остальное в статье Солсбери на таком же уровне...» Писатель задаёт вопрос: если мистера Солсбери действительно интересовал конец романа, то почему оп не обратился к самому автору хотя бы в 30-х годах, после выхода первой книги? Уже тогда ему могла быть несколькими фразами рассказана развязка. «А эта развязка,– напоминает М. А. Шолохов,– как была задумана в ходе работы ещё над первой книгой, так и завершена теперь, безо всяких изменений и переделок. Секрета из этого я никогда не делал».

Может быть, стоит добавить к этому следующее. В седьмом томе изданного Гослитиздатом собрания сочинений Шолохова читатель найдёт примечания, где имеется выдержка из беседы писателя с корреспондентом «Литературной газеты», опубликованной в феврале 1934 года. Там приведены слова автора «Поднятой целины»: «Вторая книга, как и первая, покажет становление колхозной

деревни. Она охватывает примерно тот же период (1930— 1931 годы), но более поздний его этап».

К сожалению, американские газеты продолжали дезориентировать своих читателей. В Соединённых Штатах Америки вышел в свет перевод на английский язык второй книги «Поднятой целины». Вскоре после этого, в феврале 1961 года, в течение одной недели появилось несколько статей в таких газетах и журналах, как «Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Тайм», «Ньюсуик», «Сатердей ревью». Не говоря уже о том, что, как правило, в этих выступлениях давалось совершенно искажённое толкование произведения и отдельных сторон творчества писателя, они в той или иной форме, с теми или иными оговорками повторяли Солсбери, иной раз попросту ссылаясь на «международные сплетни», как это сделал журнал «Ньюсуик».

Писатель по многу раз возвращался к каждой главе второй книги, дописывал и сокращал, перерабатывал текст, прежде чем сдавал главу в печать. Но ничто не менялось в основе. Уточнялись характеристики персонажей, расцвечивались новыми красками эпизоды, каждая фраза шлифовалась, отсекалось лишнее. Автор добивался наибольшей гармоничности целого и его частей.

•

Вторая книга «Поднятой целины» стала достойным завершением вдохновенного труда над этим классическим произведением советской литературы. Давно любимый миллионами читателей, роман Шолохова обрёл новую силу.

В заключение — об одном из весомых компонентов художественного целого, накрепко связующем обе книги романа воедино.

В романе-эпопее, посвящённом такому важному, переломному этапу в жизни советского крестьянства, как коллективизация советского хозяйства, естественно, занимают значительное место и играют первостатейную роль в композиции произведения массовые, народные сцены.

Выдающийся мастер реалистической прозы пишет каждую из этих картин так, что она сама по себе представляет некое законченное художественное целое. Но ещё

существеннее то, что эти эпизоды — неотъемлемые и неразъёмные звенья в широком и мощном развитии сюжета.

В этих сценах — и движение исторических событии народной жизни; и развитие образов главных героев произведения; и решение серьёзнейшей темы — взаимоотношений питерского коммуниста Давыдова с массой казачьего населения донского хутора; и формирование характера хуторских коммунистов, а также рост нового сознания казаков-колхозников.

Первой может быть названа сцена, где решается вопрос о создании колхоза в Гремячем Логу. Она вводит читателя в сложную, ещё полную загадок для Давыдова и для самих хуторян, наэлектризованную атмосферу донского хутора той поры. Приехал сюда посланец рабочего класса, посланец партии, «двадцатипятитысячник». И сюда же прокрался бывший белый офицер, контрреволюционер Половцев. Орудует здесь вредитель-кулак Островнов. Да и не он один...

Половцев — враг свирепый и опасный. Но его карта бита самой историей. Попытка организовать мятеж, открытое выступление против Советской власти, проваливается. Один из уроков, преподанных Половцеву жизнью, новой действительностью донских станиц и хуторов, виден в эпизоде, где казаки, записавшиеся было в контрреволюционный «Союз освобождения Дона», говорят есаулу, что разошлись пути у них с организаторами мятежа бесповоротно.

Гораздо больший эффект даёт тщательно замаскированная, руководимая тем же Половцевым вредительская деятельность хитрого, жестокого Островнова.

Кто из читателей не запомнил яркие, стремительные эпизоды, связанные со вспыхнувшим в Гремячем Логу «бабьим бунтом»! Поддавшись вражеской агитации, науськиванию Островнова, казачки-хуторянки избивают Давыдова... Автор мастерски передаёт последовательные изменения в настроении толпы. Столь же мастерски очерчивает он каждый образ в многофигурной композиции. Поведение каждого участника — всегда сообразно с его характером, уже известным читателю ранее, по предыдущим гла-

В сценах бунта очень колоритны жена Банника, жена Атаманчукова, Настёнка Донецкова, которых вскоре читатель видит

в совсем иных обстоятельствах и в ином качестве. Противопоставление контрастно и предельно убедительно. Художник-психолог проводит анализ состояния своих героев с безукоризненной точностью. Речь идёт о сцене, в которой показан столь просто, столь почеловечески тепло апофеоз победы Давыдова, быстрое и надёжное завоевание им поверивших ему, доверившихся ему сердец хуторян. С этого-то дня, пожалуй, хуторяне и признали Давыдова окончательно «своим», «приняли в казаки».

Это не значило, само собою разумеется, будто дальше всё пошло гладко, без потрясений и опасностей.

Умение общаться и обращаться с людьми, недюжинная смекалка потребовались, как мы знаем, от морячка-балтийца, когда пришлось раскусывать такой крепкий орешек, каким оказался Устин Рыкалин. Сумел Давыдов найти ключ к совсем не простому решению «проблемы Устина». И вскоре они уже вместе переубедили и перехитрили казачек, устроивших нечто вроде религиозного саботажа.

Народные сцены в «Поднятой целине» полны красок самой жизни. Редкостно сочна здесь живопись. Исключительно богат язык и автора, и героев, и самых, казалось бы, третьестепенных персонажей. Он изобилует подлинными сокровищами, добытыми писателем в живой, образной, яркой народной речи.

Ряд картин окрашен столь характерным для этого писателя народным юмором — то задушевно мягким, то озорным, то грустным, то безудержно весёлым. Возникают подобные мотивы порою совсем, казалось бы, неожиданно...

Кто мог бы предположить по началу эпизода, где показан приезд Давыдова в полевую бригаду, чтобы выправить положение с пахотой, кто мог бы предположить, что течение событий здесь будет на некоторое время прервано и нарушено фейерверочным взблеском народного комизма и причиной этого окажется дед Щукарь!..

Читатель заметит, как по-разному реагируют разные люди на происходящее, какое пёстрое множество характеров, индивидуальностей проявилось в ошеломляющей своей неожиданностью ситуации.

Жизненная правда раздумий и чувствований, разнообразие колорита, чёткое завершение индивидуальных судеб характерны для последней развёрнутой народной сцены в

романе: того самого, столь памятного, колхозного собрания, которое было посвящено приёму новых членов партии. Как сияют здесь живые краски, как глубок психологизм в описании этого собрания!

Вскоре Давыдов и Макар падут от руки злобных убийц — Половцева и Лятьевского. Тем внимательнее даёт нам присмотреться автор к окрепшему в дружбе с Давыдовым Размётнову, к неторопливо, основательно закалившему себя для партийной работы Кондрату, к зёрнышку будущей сельской интеллигенции в донском хуторе — Варюхе-горюхе. Видно отчётливо, что дело Давыдова, дело партии, народа победило теперь окончательно. Драматический финал в судьбе даже самых дорогих сердцу автора героев не может помешать уже неодолимому движению народа вперёд по его историческому пути.

Это — важнейшее, завершающее звено в цепи народных сцен, составляющих главную опору в композиции произведения.

Надо упомянуть ещё одну народную сцену, как бы непосредственно предшествующую этой: торжественный момент в жизни гремяченского колхоза — чествование сельского пролетария, кузнеца Ипполита Шалого за его ударный труд. Бушуют эмоции в могучей груди Ипполита, полон радости Давыдов, воински, рыцарски подтянут Нагульнов...

Всего несколько сцен, а в них изображено движение народной жизни. В них мы видим первые шаги колхоза, сопротивление многих казаков новому в деревенской жизни, мучительную борьбу с пережитками прошлого, въевшимися в душу. Видим, как рождение коллективного труда, коллективного сознания поднимает людей, даёт им силы, как расправляются их плечи, расцветают их таланты, какое душевное богатство раскрывается в них.

А ведь это и есть едва ли не самое главное и ценное в содержании, в сюжете «Поднятой целины» — высвобождение, раскрепощение «человеческого в человеке».

«Поднятая целина» принадлежит к самому совершенному, что создано советской литературой. С горячим одобрением встретили миллионы людей в нашей стране и во всём мире высшее признание заслуг её автора перед родным народом — присуждение Михаилу Александровичу Шолохову Ленинской премии.

В СРАЖЕНИЯХ ЗА РОДИНУ

Оставалось два года и три месяца до вторжения гитлеровских войск в нашу страну. Работал XVIII съезд партии. Радостное ощущение подъёма, огромных достижений во многих и многих областях коммунистического строительства, характерное для нашего общества того времени, омрачалось надвигавшейся тенью мировой войны.

На партийном съезде выступил писатель Михаил Шолохов. Его слова остались в памяти людей как клятва:

«Советские писатели, надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов... Если враг нападёт на нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и правительства отложим перо и возьмём в руки другое оружие... В частях Красной Армии, под её овеянными славой красными знамёнами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал... Разгромив врага, мы ещё напишем книги о том, как мы этих врагов били. Книги эти послужат нашему народу и останутся в назидание тем из захватчиков, кто случайно окажется недобитым...»

Так всё и сбылось.

Сменил писатель перо на другое оружие. Но перо его продолжало нести свою службу.

Михаил Шолохов — писатель, в чьём творчестве получает отражение жизнь родного народа на рубежах, которые становятся историческими вехами.

Одна из наиболее ярких — драматичных и героических — глав летописи борьбы и побед советских людей связана с жестокими испытаниями, которым подвергалась прочность самих устоев социалистического строя,– с годами второй мировой войны.

Люди, выросшие в стране Советов, воспитанные в духе идей и идеалов коммунизма, построившие под руководством партии новое, небывалое в истории общество, сумели в смертной битве с сильным и яростным врагом — германским фашизмом, завладевшим чуть ли не всей Европой, оказаться победителями и освободить, возродить к новой жизни многие европейские народы и государства.

Глубоко патриотическая тема — подвиг советского человека в Великой Отечественной; войне — закономерно заняла на долгое время главенствующее место в произведениях народного писателя.

Любовь и ненависть питают содержание и этих его произведений: горячая любовь народа к своему социалистическому отечеству и ненависть к его врагам.

«Тихий Дон» — произведение, которое будит ненависть к проклятым силам прошлого. В «Поднятой целине» гневное перо художника заклеймило тех, кто пытался задержать движение советского народа вперёд, повернуть его вспять. Произведения Шолохова, посвящённые Отечественной войне, проникнуты ненавистью к лютому врагу советского народа — фашизму, вознамерившемуся вновь поработить свободные творческие силы народа, в кровавой бойне физически уничтожить всё самое сильное в нём и сломить дух тех, кто уцелеет.

От очерков первых месяцев войны до «Науки ненависти» и появления в печати глав нового романа «Они сражались за Родину» мы видим всё более углублённое развитие основной темы: яркое проявление могучего советского патриотизма, рост мужества народа и его воинского умения, выявление лучших черт характера советского человека.

Страстной любовью к родине, скорбью о её ранах, гневным сердцем вдохновлено своеобразное, новое для Шолохова по форме произведение «Наука ненависти», появившееся в газете «Правда» в первую годовщину войны —22 июня 1942 года.

Избрав новый для себя жанр рассказа, до предела насыщенного публицистикой, Шолохов показал, как в ходе жестокой схватки не на жизнь, а на смерть, крепла в нашем народе «наука ненависти» к врагу, вооружившая воинов Советской Армии и тружеников тыла могучей волей к победе. Герой этого произведения повторяет в своей манере идею, высказанную писателем в первом же его военном очерке. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком, замечает лейтенант Герасимов и приводит изречение великого русского баснописца о коне и трепетной лани, которых в одну телегу впрячь не можно... «А вот у нас они впряжены и здорово тянут!..» —добавляет он.

Горечь пережитого в первые месяцы войны, гнев против врага, вторгнувшегося на нашу землю, действительно были для советского народа великой школой мужества и ненависти. Лейтенант Герасимов, продолжая свою мысль, говорит:

«...Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощённые в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю,– закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но всё ещё сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть её было невозможно, как я ни старался».

С подлинно шолоховской силой дано в образе лейтенанта Герасимова олицетворение могучей ненависти нашего народа, день ото дня крепнувшего в жестокой борьбе, закалявшего свою готовность к решающим сражениям за победу над гитлеровским фашизмом.

•

Одновременно с работой над остро злободневными произведениями, непрестанно обогащаясь тем жизненным материалом, который послужил и для их создания, вызревал, видоизменялся, приобретал постепенно очертания романа-эпопеи замысел нового большого художественного полотна.

Эпическая тема находит развитие и в этом романе. Снова на первом плане судьбы людей, за которыми видны и через которые высвечены огромные события в жизни парода. Писатель заставляет полюбить своих героев, вместе с ними идти путём борьбы, переживать с ними горечь и боль утрат, жгучую ненависть к врагу, жить их светлой, мужественной верой в победу. И в этом романе он показывает в малом большое, в отдельном явлении, отдельной: судьбе — отражение величественных процессов народной истории.

Главы романа «Они сражались за Родину» публиковались «с ходу», немедленно, как только они выходили из-под пера писателя, печатались посреди самых актуальных,

насущной важности материалов в общесоюзных и военных газетах.

Слово писателя стало доходчивым и властно воздействующим средством агитации, оружием, пополнявшим собою духовный арсенал народа, сражавшегося за свою социалистическую Родину.

Зачитывались номера газет с главами шолоховского романа и на фронте и в тылу буквально до дыр. Поток писем, в которых находили отзвук чувства благодарности и восхищения, устремлялся к автору из всех уголков великой страны.

Главы были напечатаны в «Правде», «Красной звезде», «Комсомольской правде» и позже изданы отдельными брошюрами. К ним добавилась вводная глава, опубликованная в восьмом номере «Ленинградского альманаха» за 1954 год, а в 1959 году журнал «Москва» предоставил читателям возможность получить все эти главы собранными воедино. Затем они были изданы в «Роман-газете». Значительно позже добавились к ним главы, рисующие ещё предвоенные события, в том числе самый канун войны, и относящиеся к началу книги.

Уже те главы, которые опубликованы, захватывают художественной силой и правдивостью изображения. В них видны присущие Шолохову знание жизни, любовное внимание к простому советскому человеку. Писатель говорит о войне во всей её реальности, рисуя потрясающие картины, но так, что его произведение дышит побеждающим оптимизмом, верой в советского человека в наш –могучий народ.

Незаконченное произведение преждевременно было бы подвергать обстоятельному разбору. Однако уже прочерчены основные линии повествования, позволяющие составить предварительное суждение о книге в целом.

!)то суровое повествование о первых, наиболее тяжёлых, этапах войны. Горько было Николаю Стрельцову, Петру Лопахину, Ивану Звягинцеву и их боевым товарищам отступать всё дальше и дальше на восток под натиском превосходящих сил гитлеровской армии. Но они сражались доблестно, как подобает верным сынам великого народа.

«На синем, ослепительно синем небе — полыхающее огнём июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге — широкие

следы танковых гусениц, чётко отпечатанные в серой пыли и перечёркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полёгшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шёл в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров — остатки жестоко потрёпанного в последних боях полка — шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завёрнутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезённого в полк откуда-то из недр второго эшелона, и всё так же. не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой...»

Мужественные характеры людей, сражавшихся за советскую родину, раскрывает писатель и в дальнейшем.

«...На минуту Николай тревожно подумал: «А что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»

Но настолько сильна была горечь перенесённого поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на всё рукой, он с весёлой злостью подумал: «Э, да чёрт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться — на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство — коммунисты, и капитан хорош,– продержимся!»

Писатель вскоре даёт превосходное описание героического, победного боя, который ведёт полк Николая против гитлеровских танков.

Вот в каких условиях происходит близкое наше знакомство со сдержанным, молчаливым Николаем Стрельцовым, насмешливым, злым на язык весельчаком Петром Лопахиным, с медлительным пожилым Поприщенко, с Иваном Звягинцевым и многими другими.

Свёл этих людей вместе гражданский долг перед родиной, которую они пошли защищать с оружием в руках. До войны пути их были разные: Стрельцов работал агрономом, Лопахин — забойщиком в шахте, Звягинцев — комбайнёром. И собрались они из самых разных мест: широкоплечий, ладный бронебойщик Борзых — сибиряк, Поприщенко и повар Лисиченко — родом с Украины, автоматчик Павел Некрасов оторвался от родного гнезда, оставленного на курской земле, под Лебедянью.

Без какой бы то ни было искусственной приподнятости живописует автор портреты всех этих людей, картины их фронтового быта. В повествовании много любви к ним и горечи, вызванной тяжестью доли, лёгшей на их плечи, и юмора, который столь свойствен и русскому и украинскому национальному характеру и проявляется даже в самые трудные минуты, свидетельствуя о неиссякаемом оптимизме и нерастраченном запасе душевных сил.

То и дело балагурят, подзуживают друг друга Лопахин со Звягинцевым, или с неповоротливым широколицым Александром Копытовским, или с добродушно-спокойным Лисиченко, Звягинцев с молодым Утишевым.

Самые обычные это люди, и ведут они себя как самые обычные люди. У каждого свой характер, свои привычки, манера держаться среди окружающих, разговаривать, их не спутаешь друг с другом, но нет ни в одном из них черт исключительности, поднимающих над массой. Каждый из них — частица этой массы, тот, кого часто называют незаметным тружеником в мирной или военной жизни.

И, однако, все они вместе — герои, и каждый из них в отдельности — герой. Их героизм — это героизм всего нашего советского народа, нашей армии.

Агроном Николай Стрельцов с его нерадостной любовью, по-мужски немногословный, глубоко и остро чувствующий. Его друзья, с которыми свела военная судьба: умеющий развеселить людей в самую трудную минуту,

задиристый и жизнерадостный шахтёр-забойщик Пётр Лопахин. Человек земли, жизнь которого неотрывна от её трудовых забот и праздников, комбайнёр Иван Звягинцев. А добродушный повар Лисиченко, отважный бронебойщик Борзых, умудрённый годами и верой в свой народ старшина Поприщенко, увалень Копытовский, юный воин Утишев... Сколько своего, индивидуального в каждом из них! И в то же время в любом повторилась хоть одна чёрточка национального — русского ли, украинского ли — характера, развитая и облагороженная советским строем жизни. И ненавязчиво, исподволь в живой мозаике самых разнообразных людских характеров вырисовывается нечто огромное, великое — художественный портрет народа, сражающегося за родную землю, за избранный им самим и построенный уклад жизни, за советскую Отчизну.

Вполне рядовые люди выведены писателем, но их ратная жизнь — подвиг, который будет изумлять потомков, вызывая чувство преклонения. Внешне автор ничем не подчёркивает этого. Однако тутто и получает выражение светлая мысль книги, сказывается её благородное воспитательное воздействие.

Хочется, чтобы читатель задержал своё внимание на таких, например, страницах, где приведён разговор оглохшего после контузии Стрельцова с Лопахиным — простой, но берущий за душу рассказ Николая другу о том, почему не смог он долечиться в госпитале, когда полк находится в очень тяжёлом положении, когда людей в полку осталось очень мало и найти себе место в сильно поредевших рядах боевых товарищей способен и потерявший слух солдат...

Нарастает напряжение действия романа, и мы видим, что сердца этих людей принимают в себя слова капитана Сумскова, призывающего держаться до последнего, хранить честь полка. И, несмотря на большие потери, воины сохраняют полковое знамя.

Мы становимся свидетелями подвига комсорга ефрейтора Кочетыгова в ожесточённом бою с гитлеровскими танками, героической гибели Борзых, без колебаний отдавшего свою жизнь за родину, видим, как идут в контратаку Звягинцев, лейтенант Голощеков, знаменосец Любченко, как рвётся в бой умирающий капитан Сумсков.

Шесть яростных атак отразили бойцы соединения, которому было приказано прикрыть подступы к важной переправе.

Только тогда установилась недолгая передышка. И снова бой.

Характерная для страниц романа мужественная простота, строгая сдержанность изображения, мощная живопись художника, исполненная любви к человеку, восхищения перед величием массового героизма, перед величием всенародного подвига советских людей в годину беспримерных испытаний, закономерно сочетается с героической романтикой прощания воинов с последним офицером в полку, когда старшина Поприщенко говорит над свежей могилой:

« — Мы, сынки, отступали, но бились как полагается, вон сколько нас осталось — раз, два и обчёлся... Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... только и радости, что не стыдно, но и не легко! От земли в гору нам глаза подымать пока рано. Рано подымать! А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: «Мы идём кончать то, что начали вместе с вашим сыном и отцом, за что он — ваш дорогой человек — жизнь свою на Донщине отдал...» «...Пополнится наш полк людями, и вскорости опять пойдём мы хоженой дорогой, назад, на заход солнца. Тяжёлыми шагами пойдём... Может, и вы, товарищ лейтенант, ещё услышите нашу походку... Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины...»

Сердце Лопахина, слушающего исповедь Николая Стрельцова, наполняется гордостью за Человека. Это же чувство возникает у читателей ко всем людям, что выведены в книге.

Равен подвигу воинов и подвиг тех, кто трудится для спасения их жизней, для облегчения их страданий,– курносой санитарки с неказистым лицом, молодой женщины-врача, санитара, военного хирурга.

В ключе высокого пафоса написана сцена, в которой раненый командир дивизии встречает приведённых под Сталинград старшиною Поприщенко бойцов, принёсших с собою знамя полка.

«С крыльца Марченко сходил, медленно и осторожно ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила, и когда грузно ступил на землю,– в строю глухо и согласно щёлкнули

двадцать семь пар стоптанных солдатских каблуков.

Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю подошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина Поприщенко молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно-взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника.

Остановившись, он оглядел лица бойцов одним незабинтованным и сверкавшим, как кусок антрацита, чёрным глазом, неожиданно звучным голосом сказал:

- Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка — знамя.— Полковник волновался и не мог скрыть волнения: правую щеку его подёргивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил снова:

- С этим знаменем в тысяча девятьсот девятнадцатом году на Южном фронте сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя видел на Сиваше товарищ Фрунзе. Развёрнутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Будённый...

Полковник поднял над головой сжатую в кулак смуглую руку. Голос его, исполненный страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натянутая струна:

– Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами!.. Вы принесёте ваше знамя в Германию!.. В последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамёна нашей... нашей великой Армии Освободительницы!.. Спасибо вам, солдаты!

Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшем над древком тяжёлыми, литыми складками. Полковник тихо подошёл к знамени, преклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело опёрся пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни...

Сжав челюсти, Лопахин стоял не шевелясь и лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, задавленный всхлип, — слегка повернул голову: у старшины, у боевого служаки Поприщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам

руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие, светлые слезы. Но, покорный воле устава, он не поднимал руки, чтобы вытереть слёзы, и только всё ниже и ниже клонил свою седую голову...»

Как это присуще творческой манере автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины», и в этом романе изображение остродраматических положений, порою трагических человеческих судеб сочетается не только с задушевной теплотой, возвышенным лиризмом речи повествователя, с героической романтикой, характерной для него,– но и также с подлинно народным юмором, который придаёт столь своеобразный колорит характерам многих шолоховских персонажей. Достаточно упомянуть сцену, в которой Звягинцев старается отвлечь Стрельцова от грустных раздумий, неназойливо помочь другу, развеселить его...

Читатель имел возможность пока познакомиться лишь с главами, рисующими, как мы знаем, первый этап войны — много тяжёлого рассказано в них, и, однако, они целиком проникнуты твёрдым и страстным предощущением великой победы. В суровые годы войны они служили воспитанию в народе веры в своё дело. Читатели глубоко чувствовали ту правду, которую им передавал в художественном изображении писатель.

•

С годами войны своим содержанием неразрывно связано произведение, в котором писатель с новой силой поднял темы войны и мира и в безупречной чистоте, в подлинном величии и могуществе показал душу самого обыкновенного советского человека, такого, каких миллионы.

Рассказ был впервые опубликован в новогодних номерах «Правды» — 31 декабря 1956 года и 1 января 1957 года и сразу завоевал необычайно широкую популярность в пашей стране и за рубежом.

С тех пор он много раз публиковался и отдельными изданиями, и в томах собрания сочинений писателя; артисты читали его с эстрады и по радио; он переведён на множество языков мира; его иллюстрировали лучшие графики и живописцы; по его мотивам поставлен фильм и написана опера.

Читатели, зрители с любовью приняли произведение,

которое даёт возможность так остро почувствовать, что такое душа русского советского человека наших дней.

Автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» — больших романов-эпопей — на этот раз обратился к совершенно иной форме повествования. Целая жизнь героя проходит перед нами в небольшом по объёму произведении. Рассказ насыщен психологизмом: герой делится воспоминаниями и раздумьями о том, что им было пережито, и все события, люди, возникающие перед глазами читателя, показаны так, как их воспринимает этот человек.

Чем же так значительно это произведение? Почему читатели так полюбили его героя? Здесь много объяснений. Шолохов умеет проникать в самые сокровенные уголки человеческого сердца. Он умеет писать беспощадно правдивые картины жизни, изображая явления трагические,– и всегда то, что он создаёт, исполнено гуманизма, светлой и мужественной любви к человеку. Своим устремлением к прекрасному его проза сродни самой высокой поэзии. Но не только эти качества писателя привлекли «толь живое внимание к «Судьбе человека». Это рассказ о том, что такое война, какие бедствия она несёт людям. Это рассказ о советском человеке. О том, что, будучи по всей своей природе человеком мирным, тружеником, он с готовностью и беспримерной стойкостью выносит любые испытания. Это несгибаемый боец, способный на чудеса героизма, если враг заставляет его взяться за оружие. И это человек, которого кошмары войны, самые чудовищные её жестокости никогда не смогут превратить в убивающего робота. Сквозь все физические и моральные испытания, которые вернее назвать пытками, он пронёс свою чистую, широкую, открытую всему доброму душу.

Рассказ построен подчёркнуто просто. Автор неторопливо ведёт разговор с читателем о трудностях путешествия по степи в пору весеннего бездорожья. Обилие бытовых деталей нарочито делает чуть скучноватым затянутое введение. Читателю сообщается, когда именно и куда выехал в недалёкую дорогу автор со своим безвестным спутником, сколько километров им надо было одолеть, как они то ехали в бричке, то слезали с неё и шли пешком, сколько часов понадобилось, чтобы добраться до переправы через речку Бланку. Ещё не сосредоточенное внимание останавливается на паре сытых лошадей, в струну натягивающих постромки, еле тянущих тяжёлую бричку, на колёсах брички, проваливающихся по ступицу

в месиво из песка, снега и льда, на хлопьях пены под ремнями сбруи, на запахе конского пота и разогретого дёгтя.

Дальше читатель узнаёт, что спутник автора остался с вещами на берегу Бланки, у переправы, что лошади были отпущены, что на другом берегу речки стоял в колхозном сарае старенький «виллис», что эта машина осталась там ещё с зимы. В том же строе продолжается повествование о переправе в лодке вместе с шофёром через речушку, разлившуюся в ольховой пойме на целый километр, о том, как пришлось конопатить днище лодки, вычерпывать воду. Потом шофёр отправляется в обратный путь за человеком, оставшимся на том берегу, и за вещами.

Так объясняется, почему автор оказался на берегу Бланки, неподалёку от хутора Моховского, почему ему надо было часа два ожидать там в одиночестве, пока вернутся его спутники, почему он уселся на поваленном плетне, занялся просушкой на солнце вымокших во время переправы папирос, стал бездумно следить за плывущими в небе облаками.

Все эти, на первый взгляд незатейливые, подробности как бы подчёркивают сугубую обыденность обстановки, в которой произошла встреча, давшая содержание рассказу, в которой возникло повествование о жизни случайно встреченного человека, потрясающее душу. И думается, это введение в рассказ помогает понять одну существенную особенность творческого замысла: судьба каждого человека, кровно связанного с жизнью народа, достойна высокого искусства; иногда случайное общение, случайно завязавшаяся беседа, острый взгляд человека, способного глубоко чувствовать и, наблюдая, воспринимать движения души, дают возможность увидеть то, что зачастую скрыто за обыденной внешностью, но что бесконечно дорого художнику, человеческому сердцу. Писатель как бы говорит читателю: вглядывайтесь в людей, которые могут пройти и то и дело проходят мимо вас,– жизнь каждого из них полна своих надежд и мук, драматических потрясений и борьбою добытых радостей, судьба каждого прибавит вам познания того, что такое жизнь людей на земле, как надо пройти в этой жизни свой путь.

И конечно, не только бытовыми подробностями изобилует введение в это повествование. С присущей шолоховскому перу поэтической силой входят в рассказ полные символического смысла

картины буйной первой послевоенной весны. Они и контрастны по отношению ко всему мрачному, казалось бы — безысходному, что обрушила на Андрея Соколова война, и в чём-то столь же глубоко отвечают его трудному, мужественному возвращению в жизнь.

Именно так, во всей сложности и тонкости своей поэзии, воспринимаются в рассказе описания взломавших лёд, разлившихся степных речек; тишины, раскинувшейся над степью, тишины, «какая бывает в безлюдных местах только глухой осенью и в самом начале весны»; лёгкого ветерка, который нёс с дальних «тонувших в сиреневой дымке тумана» прихопёрских степей «извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли».

А начало встречи опять-таки очень простое. На дороге показались устало бредущие мужчина и мальчик лет пяти-шести. Увидев, что у берега сидит человек, а в нескольких шагах стоит машина, подошли. Мужчина принял сидящего за шофёра, обманувшись его одеждой. Завязался самый обычный разговор между усевшимися перекурить путниками. И только взгляд писателя успел отметить деталь, показавшуюся странной: простую, но добротную одежду мальчика, заботливо и умело положенный шов на места, где когда-то был разорван рукав, и небрежно, грубо, по-мужски, залатанный ватник отца, прожжённый в нескольких местах, изъеденные молью носки. «Ещё тогда я подумал: «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой».

Даже когда разговор коснулся войны, трудно было предположить, чему он послужит началом.

«Я хотел было спросить, куда он идёт с ребёнком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

– Ты что же, всю войну за баранкой?

– Почти всю.

– На фронте?

– Да.

Кто знает, как сложился бы разговор, если бы не то, что писатель почему-то не рассеял заблуждения собеседника насчёт его профессии. Во всяком случае, именно тут, в самой простой обстановке, родилась и та простота общения, которая заставляет иногда русских людей раскрыть перед незнакомым человеком самое заветное.

Вот тут-то в плавные, неторопливые тона повествования и самой

беседы и вторглась, как в симфонии после спокойного вступления, тревожная, настораживающая внимание нота:

«Ну и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше...»

И вслед за этой нотой возник такой мощный аккорд, который сразу перевёл всю только ещё как бы пробуждающуюся симфонию в совершенно иное звучание, полное драматизма. Так начинается рассказ о трагической и прекрасной судьбе человека.

«Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника».

Что же сделало их такими, эти глаза? Глаза эти — самый страшный след войны.

Мастерски определено место для возникновения этого аккорда, мастерски разработана вся художественная ткань рассказа, столь близкая музыкальному ладу где-то в своей глубинной основе.

Всё внимание читателя собирается отныне в едином фокусе, властно приковывается к судьбе Андрея Соколова, к каждому слову его рассказа-исповеди.

То, что художник угадал в глазах своего героя, раскрывается на протяжении всего повествования, непосредственно связано с его идейным смыслом. Проклятие войне, разрушающей мирную жизнь людей, фашизму, человеконенавистничеству, неотвратимое обвинение поджигателям войны несёт в себе этот рассказ — беспощадно правдивое свидетельство жизни, произведение большого гуманистического искусства.

Остро прочерченный портретный штрих дополняется незабываемыми словами героя:

«Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!»

Андрей Соколов — уже пожилой человек. И жизнь его, начатая трудно, постепенно входила в спокойное, надёжное русло и, видимо, текла бы мирно и счастливо — в трудовом довольстве, в душевном мире и радости большой

рабочей семьи, если бы не война, которую навязал нашему народу фашизм...

«Поначалу жизнь моя была обыкновенная». Действительно, всё было по внешности малопримечательным в довоенной биографии Андрея Соколова. Молодым он, как многие, прошёл сквозь битвы гражданской войны, пережил вместе со всей страной голодный год. Батрачил у кулаков на Кубани. Когда вернулся, узнал, что осиротел,– продал хатенку, перебрался из деревни в город, в Воронеж. Плотничал, на заводе выучился на слесаря, впоследствии стал шофёром, водил грузовую машину. Краткие, почти анкетные данные.

Встретил Андрей Соколов девушку, которую полюбил. Слова его рассказа об этом очень безыскусны и сердечны:

«Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, весёлая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней её, не было на свете и не будет!»

Точно передан писателем строй рассказа-воспоминаний. Здесь нет непрерывного сюжетного движения, последовательного развития образов. Память рассказчика выхватывает из прошлого картины, сохранённые ею то в неожиданных и чётко проступающих подробностях, то лишь в неких главных, общих контурах, видных словно сквозь дымку, оставленную годами, другими, нахлынувшими потом мыслями и чувствами, рождённую дальностью этих событий-видений от того, чем окружён был человек, вырванный судьбою из этого мира, ушедшего в давно пережитое.

В семье Соколовых родился сын; потом появились одна за другой две дочки. За десять лет семейного житья-бытья удалось скопить денег, чтобы построить себе «домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком». В хозяйстве были две козы, чтобы дети могли есть кашу с молоком. «...Крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, всё в порядке». Дети учились в школе. У сына обнаружились недюжинные способности к математике. Всё шло хорошо, всё согревалось в этом доме тёплом чуткого, любящего далёкого сердца, радостями, которые давала жизнь, спетом, который

несло этим — и взрослым ц маленьким — людям будущее.

И время текло незаметно. «Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет? Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать километров — и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна»пашню от травокоса...»

Для всего рассказа характерно сочетание предельной, классической простоты с проникновенной лиричностью переживания. Умение с такой безупречной точностью передать состояние человека, движения его души, едва уловимые оттенки, необходимые для полной правдивости в изображении чувств, даётся не только совершенным знанием психологии, огромным реалистическим мастерством, но -в не меньшей степени — любовью к людям, сердцем, которое ранит чужая боль, которое страстно хочет людям счастья и потому так бьётся, чутко отзываясь на всё — и тяжёлое и светлое,– что несёт с собою жизнь.

Снова находят писатель и его герой простые-простые слова для рассказа о том огромном, чужеродном, что вломилось в большой дом советского народа и в Соколовский «домишко об двух комнатках»:

«А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон».

И снова читатель не может изгладить из памяти образ Ирины, которую Андрей грубовато оттолкнул при прощании на вокзале, раздражённый её безутешным отчаянием, её предчувствием, что они разлучаются навсегда. Много здесь как будто простых, но единственно верных деталей психологического портрета: распухшие от слёз губы, выбившиеся из-под платка волосы, мутные, как у помешанной, глаза, мелкие шажки после того, как она устояла на ногах, протянутые к мужу руки...

Писатель слышит, как что-то клокочет и булькает в горле у Соколова, рассказывающего об этом, искоса взглядывает на него, но ни слезинки нет в потухших глазах Андрея. Только дрожь — в больших, сейчас безвольно повисших руках, в подбородке, в твёрдых губах.

Завершается сцена последним, в полную меру ощущаемым ударом. Звучит странно изменившийся, вдруг охрипший голос Андрея:

«До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда её оттолкнул!..»

Прошла эта сцена, одна из самых волнующих в рассказе, с нею ушла давняя мирная жизнь героя.

«Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые, как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперёд клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слёз... По большей части такой я её и во сне всегда вижу...»

Писатель заставляет нас всмотреться в образы этой женщины, её детей, сохранить их в сердце. Потому что больше ни Андрей Соколов, ни читатель не увидят никого из них живыми.

Сообразуясь со своим постоянным чувством художественной меры, Шолохов сцены наивысшего напряжения чередует, как и в романах, с суховатым изложением хода событий, с бытовыми эпизодами, иной раз окрашенными юмором. Так и здесь следуют почти бесстрастные фразы Андрея о месте формирования мобилизованных, о том, как он получил ЗИС-5 и поехал на фронт. А в эпизоде с отправкой писем родным раскрывается мужественная, скупая на выражение чувств душа Соколова, душа суровая и чуткая, принимающая близко к сердцу долю женщины в тяжёлые военные годы.

Герой рассказа и в первые месяцы войны не совершает ничего необычайного. Автор всё время подчёркивает, что перед нами самый рядовой человек. Быть может, он сделал в ту пору даже меньше других. Водил машину по фронтовым дорогам, два раза был легко ранен.

А дальше начались те чрезвычайные, исключительные с точки зрения нормальной человеческий жизни события, которые подвергли душу Андрея Соколова тягчайшим испытаниям.

Контуженный, оглушённый разрывом снаряда, Соколов попадает в гитлеровский плен. Этот добрый, мирный человек видит на каждом шагу, как убивают любого попавшегося под руку —

или за то, что он от слабости не может поспеть за шагающей по дороге колонной пленных, или за то, что он комиссар, коммунист; как убивают за попытку к бегству, за волосы, похожие на еврейские, как травят людей собаками, расстреливают из автоматов, морят голодом, подвергают изощрённой психологической пытке, как терзают живое человеческое тело и живую человеческую душу.

Автор выделяет ту неподдельную скромность, с какой советский человек совершает героические поступки и рассказывает о них. Характерно, что «внутренние монологи» Соколова значительно более развёрнуты и ярки по содержанию, нежели его скупые, лаконичные реплики. Примером может служить эпизод, где видны обстоятельства, при которых Соколов попал в плен.

Во время наступления гитлеровских войск наша гаубичная батарея осталась почти без снарядов. Стремясь поскорее выручить товарищей и помочь им задержать прорвавшегося врага, Андрей сам вместе с другими солдатами нагружает свою машину снарядами, работает так, что «гимнастёрка к лопаткам прикипала». Путь был крайне опасен. Настолько опасен, что командир автороты не ограничился приказом, а спросил: «Проскочишь, Соколов?» Не только верность солдатскому долгу, как можно было бы судить по ответной реплике Соколова, заставляет его без промедления принять решение. Вот его краткий ответ командиру: «Какой разговор!.. Я должен проскочить, и баста!» А вот что кроется за этим ответом — его мысли, мысли советского патриота, чувствующего свою ответственность за судьбу других защитников родины, готового без раздумья пожертвовать собой, рисковать жизнью ради спасения попавших в беду наших воинов: «Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду?»

Мог ли такой человек остаться безучастным при виде готовящегося предательства? Среди пленных оказался негодяй, решивший выдать фашистам взводного командира, чтобы спасти свою шкуру. Опять-таки слова Соколова в этот момент раскрывают лишь его готовность к немедленному действию, а мысли его показывают, с каким презрением, с какой ненавистью судит советский человек того, кто изменяет родине, изменяет нашим идеалам, кто ставит своё существование выше чувства товарищества, которое сплачивает, объединяет любой самый маленький коллектив советских

людей — в любых самых сложных условиях, в любых испытаниях. Соколов думает о Крыжневе: «Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель!» После того как своими руками Соколов убил этого отщепенца, ему захотелось вымыть руки: «Будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил...»

В рассказе нет развёрнутого изображения других характеров, кроме Соколова. Персонажи появляются и исчезают, ни один не проходит сквозь всё повествование. Но каждый из них помогает проявиться чему-то очень важному в образе главного героя, и каждый введён в обстоятельствах, художественно необходимых именно для него, каждый обрисован с редкой выразительностью. Таковы и расстрелянный фашистом-караульным богомолец, и убитый Соколовым предатель Крыжнев, и военный врач, поразивший Андрея тем, что он и в плену, в потёмках разбитой церкви, куда согнали на ночь пленных, «своё великое дело делал».

Любопытно отметить некоторую близость этого произведения по содержанию и по жанровым особенностям к другому шолоховскому рассказу — «Наука ненависти». И там перед нами рассказ-монолог, выслушанный писателем, и там один основной герой, судьба которого испепелена войною.

Многие сближения просто разительны, они распространяются даже на детали. Можно было бы не говорить здесь о частностях, если бы сходство не касалось более существенного. Оба — Герасимов и Соколов — попадают в плен при совершенно сходных обстоятельствах. Сцепы эти в обоих рассказах почти тождественны. Когда раненый Герасимов увидел приближающихся к нему гитлеровцев, он подумал: «Вот и смерть». По-своему, но та же самая мысль выразилась у более простого Соколова: «Вот,– думаю,– и смерть моя на подходе». Герасимов собрал все свои силы и встал сначала на колени, касаясь земли руками, в конце концов выпрямился,– потому что ему «не захотелось умирать лёжа». И Соколов сел, а затем встал: «неохота лёжа помирать». Того и другого гитлеровцы, издеваясь над их беспомощным положением, со смехом отправляют сначала без охраны в плен... Обоих после мытарств в разных лагерях посылают на строительство укреплений. Обоим именно оттуда удаётся бежать. Оба, каждый по-своему, но очень похоже, рассказывают о пережитом. «Кто этого на

своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука»,– говорит Соколов. «Вы думаете, можно рассказать словами обо всём, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому»,– как бы вторит ему голос Герасимова. Рассказывая об одном из лагерей, Герасимов говорит: «Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били» так просто, от скуки или для развлечения». Из уст Соколова мы слышим: «И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадётся, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево. Били за то, что ты — русский, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернёшься. Били запросто для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся последней своей кровью и подох от побоев». У обоих жжёт душу ненависть к фашистам, к тем, кого Соколов называет «богом проклятыми гадами и паразитами». Писатель, в такой степени сближая линии изображения, быть может даже слишком сохраняя сходство в деталях, стремился, видимо, показать на двух разных характерах как бы два варианта единой в своей основе судьбы — судьбы мирного человека, ввергнутого фашистским нашествием в трагедию войны.

И, отметив некоторое сходство в изображении судьбы Герасимова и Соколова, гораздо важнее присмотреться к тому, как развивается основная тема в рассказе «Судьба человека». Рассказ «Наука ненависти» был написан в разгар войны, его герой остался в гуще битвы против фашизма, на полях сражений. В образе Андрея Соколова читатель увидел, каким этот простой советский человек вышел из войны после победы над гитлеровской Германией, что он пронёс в своём сердце сквозь все испытания, как стал он заново строить свою жизнь, поднимая её словно из пепла, словно из обугленных развалин. Андрей Соколов, как, впрочем, и Герасимов, продолжает сражаться против фашизма уже в ином качестве — как литературный образ, воплотивший в себе всю ненависть писателя-гуманиста к фашизму, к противоестественной для человечества войне, всю любовь его к человеку мирного труда.

Писатель не ставил своей задачей натуралистически воспроизвести картины гитлеровских изуверств. Предметом изображения

служит внутренняя жизнь Соколова, его восприятие всего, что совершалось вокруг него и с ним самим. Соколов был в Саксонии на силикатном заводе, откатывал уголь на рурской шахте, изнывал в непосильном труде на земляных работах в Баварии, был в Тюрингии, и всюду приходилось выполнять такую работу, «что ломовой лошади и то не впору», а у человека, который делал эту работу, уже одна кожа оставалась на костях, «и кости-то свои носить было не под силу». Каждый из этапов, через которые прошёл здесь герой шолоховского рассказа, мог бы послужить основой для главы, подобной изображению одного из кругов дантова ада... Автор «Судьбы человека» избрал другой путь.

В рассказе есть сцена, ставшая кульминационной среди картин лагерной жизни героя. В ней с удивительной силой показаны черты характера русского советского человека. Это, конечно, сцена в комендантской у лагерфюрера Мюллера.

Образ Мюллера один из самых приметных в рассказе. Белобрысый («...и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белёсые, навыкате») лагерфюрер славился своей, так сказать, методической жестокостью. Это он ежедневно на «аппеле» бил в лицо каждого второго в шеренге свинцовой прокладкой, надетой под перчатку, называя своё издевательство над людьми «профилактикой от гриппа».

Правда, в обрисовке этого персонажа, вернее, в описании реакции пленных на некоторые детали его поведения, писателю единственный раз в рассказе изменило, на мой взгляд, чувство художественного такта. Дело в том, что Мюллер не только хорошо говорил по-русски, но даже любил щегольнуть познаниями в области матерной ругани. Делал он это, чтобы распалить себя перед тем, как приступить к «профилактике». Минут десять каждый раз изощрялся он в матерщине. И вот здесь-то юмор автора представляется мало удачным: получается в рассказе так. что от этой матерщины лагерфюрера пленным становилось легче: «вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает...». Но это в конце концов частность, хотя, по-моему, и досадная.

Вызов к Мюллеру означал смерть. Андрея Соколова вызвали к Мюллеру, которому стала известна злая и горькая фраза Андрея

о порядках в лагере. Андрей явился в комендантскую.

Автор привёл своего героя к этой сцене, всемерно обострив его положение, до крайности отяжелив меру, которой должна была быть измерена его стойкость. Пленные работали в ту пору на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили камень. Измождённые люди должны были выполнять ежедневную норму по четыре кубометра. Из ста сорока двух человек за два месяца такой работы погибло восемьдесят пять. Охранники в лагере каждый день пили шнапс, горланили песни, празднуя пришедшее в лагерь известие о том, что армия Паулюса одержала победу и движется в Сибирь, что исход войны решён. В такое время почти умирающий от голода Соколов, приготовившийся к одному — «глянуть в дырку пистолета бесстрашно», уже попрощавшийся с товарищами, предстал перед Мюллером.

Он увидел всё лагерное начальство, собравшееся на штрушку. Ему стоило тяжкого усилия оторвать глаза от стола, заставленного разной снедью. Полупьяный Мюллер, играя пистолетом, сообщил, что сейчас собственноручно его расстреляет, и предложил выпить перед смертью стакан водки и закусить салом.

Необыкновенно точно передал писатель здесь и во всём последующем развитии сцены все переходы в состоянии и мыслях Андрея. Соколов взял стакан и закуску, но услышал, что ему предлагается пить за победу вражеского оружия. Он сказал тогда, что он непьющий.

Началась психологическая игра Мюллера; Он предложил Андрею выпить «за свою погибель». И лагер-фюрер потерпел поражение. Ни после первого, ни после второго и третьего стаканов водки почти умирающий от голода пленный не набросился, как ожидали эсэсовцы, на еду. Он чувствовал, что должен показать врагам: хотя он изнемогает от голода, он не возьмёт подачку, у него своё, русское, советское, достоинство, которое им не под силу выбить никакими пытками, никаким глумлением, ни при каких самых тяжких условиях, когда человеку как будто внутренне и опереться не на что, чтобы собрать хотя бы остатки физических и душевных сил. Даже Мюллер оценил это мужество солдата.

И на этот раз, как потом рассказывал Соколов, смерть мимо прошла, только холодком от неё потянуло...

После долгих дней плена Соколову удалось бежать и даже привезти с собою в машине захваченного им гитлеровского инженер-майора из организации «Тодта».

Выше всего для нашего человека его сыновняя любовь к советской родине. Шолоховский герой задушевными словами говорит об этом, раскрывая самое заветное в своём сердце. Когда он оказался поблизости от линии фронта, он «окончательно разучился» спать: и днём и ночью думал, как бы, бежать к своим, на родину. В Полоцке он впервые после того, как был оторван от товарищей по оружию, продолжавших сражаться, услышал грохот нашей артиллерии. «...И, знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой ещё ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало!»

И даже тут он думает не только о своём спасении. Он обдумывает, как бы лучше послужить родине, тщательно разрабатывает план захвата в плен инженер-майора с его важнейшими документами, касающимися строительства оборонительного пояса. Таков Андрей Соколов, этот верный сын советского народа, в своих поступках, в своих побуждениях.

В сценах подготовки к побегу, самого побега повествование становится очень динамичным. Напряжение разряжается сдержанным и волнующим описанием того, как перенёсший столько мук и испытаний советский солдат Андрей Соколов, пробившись под обстрелом к своим, падает на родную землю и целует её.

Два года пробыл Соколов в фашистском плену. Смерть ходила по пятам за этим человеком каждый час, каждую минуту. Но самое страшное было не в этом. В нём, как и в других, старались убить душу, растоптать его идеалы, надругаться над его человеческим достоинством, превратить его в нечто подобное рабочему скоту. Выдержать муки фашистского изуверства было, казалось бы, почти невозможно. Но эти люди выдержали. Ничто не сломило их.

Устояв, не сломившись под самыми жестокими ударами, они могли очерстветь, окаменеть сердцем. И чья совесть осудила бы их за это?.. Но они не стали людьми с каменным сердцем. Андрей Соколов, как и его товарищи, с высокой честью вышел из неравного единоборства с обрушившейся на него судьбой.

Однако этим не исчерпалась мера его страданий.

Бежав из плена. Андрей Соколов в госпитале получает письмо, из которого узнаёт, что ещё в июне второго года

войны тяжёлая бомба оставила только глубокую яму на месте, где стояла его хатенка. Спасся лишь сын, которого в тот день не было дома.

«Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, ещё тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете... Была семья, свой дом, всё это лепилось годами, и всё рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные. не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мёртвыми разговаривал?!»

Что же осталось от прежней жизни у этого человека?

Сын! Великая, никакой мерой неоценимая поддержка и опора в его искалеченной жизни. И сын нашёлся. Он ушёл добровольцем в армию, доблестно сражался, стал командиром, награждён многими орденами и медалями. Счастливая гордость за первенца сплелась в сердце отца с уже стариковскими мечтами: кончится война, вернётся мир, у сына будет семья, и будет в этой новой семье дед на склоне лет нянчить внучат... А война действительно подходила к концу. Было начало мая 1945 года.

Вскоре Андрей Соколов увидел своего Анатолия. Это было в День Победы, девятого мая. Он увидел сына в гробу. Утром девятого мая Анатолия настигла пуля гитлеровского снайпера.

Удары судьбы обрушиваются на Соколова один за другим, всё более и более тяжкие. Суровые тона шолоховского повествования заставляют читателя со всей силой прочувствовать последнюю утрату Соколова, понять, что творилось в душе этого человека, когда он стоял перед мёртвым сыном. И здесь, как во всём рассказе, писатель достигает максимальной психологической углублённости.

«Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далёкий путь, и словно что-то во мне оборвалось...»

Андрей Соколов не смог вернуться в тот город, где когда-то жили они все вместе. Вот это было бы уже выше его сил,

И в городе Урюпинске произошла встреча, раскрывшая всё сохранённое, не тронутое ужасами войны душевное богатство этого русского человека.

Около чайной, куда заезжали перекусить шофёры, он увидел маленького оборвыша, бездомного, которого тоже осиротила война. Парнишку из жалости подкармливали шофёры.

С проникновенным мастерством описывает Шолохов, тончайший Знаток человеческого сердца, как постепенно пришло к Андрею решение усыновить этого мальчишку, соединить его судьбу со своей. Не поддаются пересказу разговоры между Андреем и Ванюшкой, описание того, как Соколов выдал себя за пропавшего на войне Ванюшкиного отца...

Заканчивается рассказ шофёра Соколова случайно встреченному собеседнику, посидевшему и покурившему с ним на берегу весенней реки. Заканчивается рассказ одного из тысяч людей, которых мог видеть и видел писатель.

Тем, кто любит только лёгкое чтение, тем, кого не волнуют судьбы современного нам мира, не надо брать в руки эту книжку.

Те, кого поразил рассказ Хемингуэя «Старик и море», кого глубоко взволновал роман Ремарка о второй мировой войне «Время жить и время умирать», оценят роднящую эти три произведения мировой литературы человечность, запечатлённую в них боль за людей, которые ведь рождаются на земле, по слову русского классика, для счастья, как птица для полёта.

Эти читатели оценят и внутреннюю полемичность шолоховского рассказа по отношению к обоим названным произведениям.

Завершение рассказа несёт в себе философскую мысль о том, что к последним вехам своего жизненного пути надо прийти, выстояв во всех испытаниях, посылаемых судьбой, с той великой и щедрой силой души, которая заставляет любить жизнь, любить мир, растить около себя человека для нового пути мужества и побед, для высшего добра и счастья, доступного людям.

Около Андрея Соколова растёт новый человек, новый его сын, найденный где-то на дорогах жизни и ставший родным. Образ этого мальчика с ясными, «как небутко», глазами, его доверчивая радость, его нежность к толу, г, кого он поверил, как в отца,– щемяще печальное,

светлое и возвышающее завершение трагической симфонии, с которой только и можно сравнить этот шолоховский рассказ.

Уже перед финалом, в обобщённом изображении, вновь с могучей закономерностью вступает в художественный строй повествования тема весны, тема вечно возрождающейся жизни. С чисто шолоховской философской глубиной вновь обращается художник к картине «безбрежного мира, готовящегося к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни».

Небольшой по размеру шолоховский рассказ показывает нам высокую трагедию человеческой судьбы с её очищающим, облагораживающим душу финалом.

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

Идеями революционной борьбы за благо человека, идеями коммунистическими проникнуто всё творчество Михаила Шолохова: все его художественные произведения, а также то, что можно объединить при несколько расширительном толковании термина словом «публицистика»,– выступления в печати, выступления устные...

В 1931 году молодой писатель опубликовал на страницах «Правды» очерк «По правобережью Дона»: горячо и с глубоким знанием дела писал он о злободневных задачах сельскохозяйственных работ, о состоянии и перспективах этих работ, указывая на то, что мешает правильной постановке дела.

На следующий год он выступил в «Правде» с гневной статьёй о падеже совхозного скота, о причинах и виновниках этого бедствия. Статья называлась «Преступная бесхозяйственность».

Статья «За честную работу писателя и критика» (1934) была направлена против брака в работе литераторов. В дискуссии, развернувшейся в связи с критикой М. Горьким языка произведений Ф. Панфёрова, Шолохов решительно стал на сторону Горького, остро полемизировал с Панфёровым, Серафимовичем; осуждал таких литературных критиков, которые заражены групповщиной.

Полемично и предисловие, написанное для издания «Тихого Дона» в Англии. Здесь автор получившего уже мировую известность романа-эпопеи характеризует замысел этого произведения

и нового своего романа «Поднятая целина», разъясняет ошибочность бытовавшей среди зарубежных читателей и критиков заинтересованной, по неверной трактовки его творчества. Характеристики, содержащиеся в краткой статье, и поныне помогают исследователям шолоховского творчества в их стремлении проникнуть в самую глубину творческого замысла писателя.

В 1934 году, через месяц после того, как состоялся Всесоюзный съезд писателей, с большой речью о литературе как части общепролетарского дела выступает Шолохов перед рабочими и железнодорожниками Ростова-на-Дону.

Статья, требующая поднять культурный уровень колхозника до уровня рабочего, заметка о героической истории хутора Подкущевка в годы гражданской войны, о его людях, составивших ядро созданного здесь колхоза, чередуются с выступлением на собрании студентов и учителей, состоявшемся в связи с кончиной Максима Горького, с материалами, посвящёнными памяти Николая Островского, Сулеймана Стальского.

Советские люди выдвигают писателя депутатом в Верховный Совет СССР. Выступления Шолохова перед избирателями содержат глубокие мысли об истинной и мнимой любви к Родине, об истории, проверяющей людей по их поступкам, а не по словам, об исторических судьбах донского казачества, о его новом пути, о советском патриотизме.

Затем — приветствие к двадцатой годовщине Ленинского комсомола, где говорится о том, что молодёжь под руководством партии била врагов на фронтах гражданской войны, строила колхозы, шла в первых рядах создателей нашей промышленности, подняла знамя социалистического соревнования; о том, что семена большевизма высеяны на благодарную почву.

Приветствуя совсем молодого юбиляра — театр колхозной казачьей молодёжи в станице Вёшенской — но случаю его двухлетия, писатель говорит о нём как о «ярком огоньке искусства», который зажёгся в донской станице и которому предстоит разгораться в районных центрах области, чтобы искусство всё больше и больше проникало в широкие массы.

Подводит итоговую черту первому периоду шолоховской публицистики известная речь писателя на XVIII съезде партии. В этой речи Шолохов говорил о творчестве

поэтов и писателей братских национальных республик, прежде мало известном русскому народу, а теперь ставшем достоянием общенародным, о свежих голосах национальных писателей, которые слились с голосом русской литературы, обогатили её и сделали подлинно интернациональной. Шолохов упоминал об «эпических, мужественных в своей простоте» песнях Джамбула, о «пленительной сладости» стихов грузинских поэтов, об «узорных, певучих» строках Сулеймана Стальского. Тогда же сказал писатель о взаимоотношениях между советскими писателями и читателями:

«Народ, которому мы служим своим искусством, ежедневно говорит о нашей работе устами читателей. Нас критикуют, ругают, хвалят, когда мы этого заслуживаем, и каждый из нас постоянно чувствует около себя эту направляющую исполинскую трудовую и ласковую руку народа-созидателя».

Писатель с гордостью говорил о себе и о многих других делегатах съезда, впервые ставших участниками съезда партии, как о первых ростках взращённой партией советской интеллигенции, о том, что за ними последуют десятки миллионов приобщившихся к культуре людей.

Приобщившихся к культуре людей!.. Этот путь приобщения — особенно на первых своих этапах — был порою тернист и требовал самоотверженной» решимости.

Вернёмся, однако, на короткий срок к двадцатым и тридцатым годам. Первые литературные опыты будущего писателя, увидевшие свет,– фельетоны «Испытание», «Три», «Ревизор» — непосредственно связаны с жизнью советской молодёжи начала двадцатых годов, и фельетоне «Испытание» завязка сюжета основана на поручении, которое даёт некоему Тютикову секретарь укома РКСМ, а связано это поручение с секретарём волостной ячейки Покусаевым. Отголосками жизни большого мира возникают в диалоге мотивы, рождённые деятельностью тогдашних «комсомолистов» по части антирелигиозной пропаганды и агитации, комсомольской инициативой в строительстве воздушного флота... «Ревизор» повествует о том, что получилось из командировки отличного комсомольца Кособугрова »а работу среди батрачества, к чему привели недоразумения, вызванные крайней рассеянностью Кособугрова. А прелестный рассказ о трёх пуговицах («Три») даже начинается авторским посвящением «Рабфаку имени Покровского».

И проступает сквозь чуть ли не сказочный строй повествования, сквозь милую его иронию образ вихрастого комсомольца-рабфаковца с упрямым лбом и весёлыми глазами, который между занятиями таскал на вокзале кули и распевал «Молодую гвардию»... Это был сверстник молодого Шолохова, чем-то напоминающий его самого в те годы. И вихры похожи, и лоб, и глаза, и то, что между занятиями умственным трудом грузчиком работал.

Через пятнадцать лет писатель не только имеет право, но и в-какой-то степени вынужден говорить с молодёжью комсомольского возраста хотя и улыбчиво, но как старший, как «переросток», которому хотелось бы и «помолодеть»: – Дорогие юноши и девушки нашей страны! Ленинский комсомол празднует свою двадцатую годовщину. На этот праздник молодости я не мог не прийти. Так старик, идущий мимо веселящейся молодёжи, на минутку останавливается, слушает певучие переборы гармошки, с улыбкой смотрит на молодые счастливые лица — и сам словно молодеет. Вот так же молодею и я, думая о вас. мои дорогие читатели, и мне становится немного грустно оттого, что мне уже тридцать три года и что я на вашем замечательном празднике буду выглядеть «переростком»...

...В годы войны публицистическое слово писателя наполнилось иными темами, приобрело иной накал, но сохранило многие присущие ему черты.

В статьях, очерках Шолохова речь идёт, как правило, о проблемах остроактуальных. В них органически сочетаются такие признаки, какие в художественной литературе свойственны жанрам эпическим: широко охватывают они события народной жизни, и одновременно художник внимательно, вдумчиво всматривается в то, что составляет внутренний мир его героев, рядовых людей, участников и творцов этих исторических событий.

Весьма часто наносит писатель даже в статье, не только в очерке, какой-либо очень приметный и очень оживляющий изображение или повествование штрих. Подобным штрихом может быть передано увиденное непосредственно в жизни, он может выразить нечто характерное для судьбы или поведения отдельного человека, помогающее уяснить некое обобщение той или иной черты характера народа, советского человека.

Статьи, посвящённые важнейшим событиям и явлениям в жизни родного народа, наиболее волнующим разум и сердце народа

фактам современной действительности, заключают в себе всегда чётко выраженное, порою образно показанное отношение гражданина социалистической страны к этим событиям, фактам, явлениям.

Ясности мысли, оценок, характеристик, яркой эмоциональности, глубокой народности содержания, партийной принципиальности гармонически отвечает в этих произведениях внешняя простота формы, делающая содержание понятным для любого читателя, доступным, доходчивым для самых широких читательских кругов. Писатель обращается к многомиллионной аудитории, говоря о том, что волнует его самого, говоря об этом с завоёвывающей сердца искренностью, умножая воздействие своего слова могучей образностью.

Газета «Большевистский Дон» в своём номере за 26 июня 1941 года привела слова Михаила Шолохова, сказанные им на проводах казаков, уезжавших из родных хуторов и станиц на фронты Великой Отечественной войны. 24 июня на этих проводах писатель-патриот напомнил землякам, взявшим по зову Родины в руки оружие, о героических и победных традициях, которые завещаны им историей. Познакомил их также с содержанием своей личной телеграммы, отправленной в Наркомат обороны: этой телеграммой он просил зачислить в фонд обороны присуждённую ему за «Тихий Дон» Государственную премию первой степени и сообщал, что в любой момент готов стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину.

...С первых дней войны стали появляться в газетах «Правда», «Красная звезда», «Комсомольская правда» очерки, статьи Михаила Шолохова.

Очерк «На Дону», опубликованный в газете «Правда» 4 июля 1941 года, заканчивался словами, которые стали на долгое время некоей доминантой шолоховского творчества:

«Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к Родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживёт до окончательного разгрома врага».

Война ещё только начиналась. Со всей силой убеждённости, веры в родной народ прозвучало уже в первые военные дни: «Великое горе будет тому, кто разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!»

Писатель, выдающийся художник слова, стал военным корреспондентом. Материал, непосредственные впечатления для творчества получал на фронте. Он не умозрительно рисовал себе своих героев, он видел их в бою. Был рядом с ними.

«Вооружённые карандашами, записными книжками и ручными пулемётами, мы едем на автомобиле к линии фронта...» — так начинался один из очерков, написанных Шолоховым как военным корреспондентом. «В качестве военного корреспондента я был на Южном, Юго-Западном и Западном фронтах»,– сообщает он в своём «Письме американским друзьям» к концу второго года войны.

Последнее обращение — документ чрезвычайной выразительности. Писатель рассказывает в письме, что пишет роман о Великой Отечественной войне и хочет в нём показать тяжесть борьбы советских людей против гитлеровского нашествия. А пока роман недописан, он намерен обратиться к американским друзьям не как писатель, а просто как гражданин союзной страны.

Наверно, даже в далёком далеке будущего историк, изучая природу такого давно для его современников исчезнувшего явления, как война, не сможет без того, чтобы у него — по-нашему, понынешнему — не сжалось сердце, читать слова, с которыми через океан — в буквальном и фигуральном смысле слова — обращался писатель одного народа к сынам другого народа.

«В судьбу каждого из нас,– писал он,– война вошла всей тяжестью, какую несёт с собой попытка одной нации начисто уничтожить, поглотить другую. События фронта, тотальной войны в жизни каждого из нас уже оставили свой нестираемый след. Я потерял свою семидесятилетнюю мать, убитую бомбой, брошенной с немецкого самолёта, когда немцы бомбили станицу, не имевшую никакого стратегического значения, осуществляя свой разбойничий расчёт: они попросту хотели разогнать население, чтобы люди не могли увести в степи скот от надвигавшейся немецкой армии.

Мой дом, библиотека сожжены немецкими минами. Я потерял уже многих друзей — и по профессии, и моих земляков — на фронте. Долгое время я был в разлуке с семьёй. Мой сын тяжело заболел за это время, и я не имел возможности помочь семье. Но ведь в конце концов это личные беды, личное горе каждого из нас. Из этих

тяжестей складывается всенародное, общее бедствие, которое терпят люди с приходом в их жизнь войны. Личное наше горе не может заслонить от нас мучений нашего народа, о которых ни один писатель, ни один художник не сумели ещё рассказать миру».

Война — тогда война, когда в ней участвуют все силы, напоминает писатель. Нельзя из такой войны, как эта, выйти, не запачкав рук. Она требует пота и крови, иначе она возьмёт их втрое больше. Последствия колебаний могут быть непоправимы, предупреждает он. И словно не написаны, а выжжены на бумаге слова:

«Вы ещё не видели крови ваших близких на пороге вашего дома. Я видел это,– и потому я имею право говорить с вами так прямо».

Писательница Ольга Берггольц сохранила для истории — истории нашего народа, истории литературы, истории гуманизма, наконец — краткое обращение автора «Тихого Дона», «Поднятой целины» и романа «Они сражались за Родину» к сынам и дочерям города-героя Ленинграда, прозвучавшее по радио в дни блокады:

«Родные товарищи ленинградцы! Мы знаем, как тяжело вам жить, работать, сражаться во вражеском окружении. О вас постоянно вспоминают на всех фронтах и всюду в тылу. И сталевар на далёком Урале, глядя на раскалённый поток металла, думает о вас и трудится не покладая рук, чтобы ускорить час вашего освобождения; и боец, разящий немецких захватчиков в Донбассе, бьёт их не только за свою поруганную Украину, но и за те великие страдания, которые причинили враги вам — ленинградцам... Мы жадно ждём тот час, когда кольцо блокады будет разорвано и великая Советская страна прижмёт к груди исстрадавшихся, героических сынов и дочерей овеянного вечной славой Ленинграда».

Когда пришёл день и час великой победы советского народа, крупнейшего всемирно-исторического события, писатель написал статью «Победа, какой не знала история». Она была напечатана в «Правде» 13 мая 1945 года. «Если в мировой истории не было войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941 — 1945 годов,– говорится в статье,– то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одерживала побед более блистательных, и ни одна армия, кроме нашей армии-победительницы, не вставала перед изумлённым

взором человечества в таком сиянии славы, могущества и величия...

Пройдут века, но человечество навсегда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии».

В послевоенную публицистику Шолохова входят всё более настойчиво темы борьбы за мир, темы социалистического, воинствующего гуманизма. Аспекты, в которых рассматриваются эти темы, материал, на котором они разрабатываются, поводы для их постановки чрезвычайно разнообразны, философская же направленность, решающая концепция, принципиальные позиции автора всегда едины.

По силе воздействия и по идейно-эмоциональной насыщенности одно из самых ярких выступлений писателя в публицистических жанрах — очерк, названный «Слово о Родине».

Он написан в 1948 году. Ещё неполных три, а поточнее — два с половиной года прошло после окончания войны. Ещё свежа память о ней, ещё кровоточат раны на теле родной земли... Вот начало очерка:

«Зима. Ночь.

Побудь немного в тишине и одиночестве, мой дорогой соотечественник и друг, закрой глаза, вспомни недавнее прошлое, и мысленным взором ты увидишь:

...Холодный, белёсый туман призрачно клубится над лесами и болотами Белоруссии, над пустыми, давно покинутыми блиндажами, заросшими пожухлым папоротником, над обвалившимися траншеями и налитыми ржавой водой стрелковыми ячейками. Тускло мерцают на дне их позеленевшие от времени гильзы винтовочных патронов...

Под густым северным ветром клонят вершины и глухо шумят иссечённые осколками сосны Смоленщины и Подмосковья.

Споро идёт белый, пушистый снежок, словно спешит прикрыть истерзанную войной, священную для нашего народа землю в окрестностях бессмертного города Ленина.

Солнечные тени скользят по воскресшим полям Украины, много раз перепаханным снарядами, всё ещё помнящим громовые гулы невиданных боёв.

Возле Курска и Орла, возле Воронежа и Тулы, над исконной русской землёй, три года стонавшей под тяжестью десятков тысяч танков, стелется косая метель; падают с деревьев последние,

сожжённые заморозком листья, и всюду — в полях, на большаках и просёлках, вдоль и поперёк, шаг за шагом исхоженных терпеливыми ногами нашей лучшей в мире пехоты,– краснеют они, как выступающая из-под снега кровь...»

Реквием: «...где бы, мой друг, ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-родины могилы погибших в сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной Советской власти, и величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу ц независимость нашей родины!»

Величие подвига, величие просторов родной земли. Великая мера её страданий. И рядом, как продолжение, как естественное развитие темы,– напоминающая самые взволнованные строки «Тихого Дона» или «Поднятой целины» почтительная дань уважения перед лицом тех, кто были близкими людьми для героя, а теперь навсегда простились с ним. «В эту долгую и просторную для воспоминаний ночь не одна вдова, потерявшая в войне мужа, оставшись наедине с собой, прижмёт к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слёзы; не одно детское сердце, на всю жизнь раненное смертью то^о, кто, верный воинскому долгу и присяге, погиб в бою за социалистическую родину, сожмётся перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской». Вдова, дети, старики... «А быть может, будет и так: в маленькой комнате, где грустная тишина живёт уже годами, подойдёт старик к своей седой жене-подруге, без слёз оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете, материнское страдание выжало все слёзы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: «Ну, полно, мать, не надо... Ну, не надо же, прошу тебя! Не у нас одних такое горе...» — и, не дождавшись ответа, отойдёт к окну, покашляет, проглотит короткое, как всхлип, сухое старческое рыдание и долго молча будет смотреть в затуманенное стекло невидящими глазами...»

Зачем так властно, так беспощадно заставляет нас писатель заново пережить уже пережитое, зачем прикасается к уже затянувшимся ранам в человеческих душах? Да затем, чтобы никогда не забывалось то, о чём надо

помнить вечно. Да потому, что ещё не наступило время, когда можно будет забыть об угрозах новых войн. Для того, чтобы люди осознали всю жизненную необходимость борьбы за мир...

В этом очерке, как обычно у Шолохова, темы любви и ненависти переплетаются друг с другом; любовь к Родине рождает ненависть к её врагам, любовь к человеку и человечеству рождает ненависть к поработителям, к нелюдям.

Произнося своё Слово о Родине, писатель показывает на разительных контрастах, как изменилась жизнь трудящихся в нашей стране за годы Советской власти, какие огромные изменения произошли в экономике, в духовной жизни человека, в его характере. Он говорит о Коммунистической партии, воспитавшей в народе качества борца-героя, поведшей его на беспримерные подвиги, о «единственно справедливой» Советской власти, которую «народ ценою долголетних страданий и великой революционной борьбы нашёл для себя... со всей решительностью и мужеством утвердил её своею кровью, своим трудом», о том, что никакие силы не смогут поколебать веру парода в эту власть.

В очерке «Слово о Родине» есть и такие проникновенные слова:

«Поистине невиданно могущественна партия, сумевшая организовать, воспитать, вооружить и повести за собой народ на свершение небывалых в истории подвигов! Поистине велик и непобедим народ, сумевший не только отстоять свою независимость и разгромить всех врагов, но и стать светочем надежды для трудящихся во всём мире!

Быть верным сыном такого народа и такой партии — это ли, мой друг, не самое высокое счастье в жизни для нас и наших современников? И не нас ли, ныне живущих, окрыляет на неустанный труд и новые подвиги суровая ответственность за судьбы отчизны, за дело партии, ответственность, которую мы несём не только перед грядущими поколениями, но и перед светлой памятью тех, кто сражался и шёл на смерть, защищая родину».

Писатель-гуманист страстно откликается на события в Испании, в Корее, во Вьетнаме... В его публицистике нередко возникают тона и краски памфлета.

Роль и место художника в современном мире, задачи писателя, его ответственность перед родным народом и

судьбами человечества — темы, закономерно встающие в ряде выступлений писателя, как печатных, так и устных. Этому посвящены во многом его речи и выступления на съездах партии, на писательских съездах, обращения к различным конференциям литераторов. Возникают эти темы и в статьях, написанных о видных общественных деятелях, о деятелях передовой культуры.

В речи на Втором Всесоюзном съезде писателей Шолохов произнёс слова, ставшие классическим определением партийности советского художника:

«О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии ц родному народу, которым мы служим своим искусством».

Очень интересна формула, в которую облёк автор знаменитых романов-эпопей свои мысли о жизненности жанра романа. Он принял участие в сессии Всеевропейского сообщества писателей и заговорил о романе в связи с распространившимися к тому времени в модернистских кругах разговорами о чуть ли не отмирании романа как жанра, как формы. Придав своему высказыванию оттенок острополемический, хотя по форме выражая как бы сугубо личную точку зрения, Шолохов искусно, с высоким чувством собственного достоинства подчеркнул тем самым нелепость, надуманность самой постановки вопроса. Он заявил, что хотел бы оставить за собой право выступить снова, если на совещании «начнут строгать доски и готовить гроб для того, чтобы похоронить роман. Лично для меня вопрос о том, «быть или не быть роману», не стоит, так же как перед крестьянином не может встать вопрос – сеять или не сеять хлеб. Вопрос может быть поставлен в такой плоскости: «Как сеять и как вырастить урожай получше?» Точно так же и для меня, как романиста, может возникнуть вопрос: как получше сделать роман, чтобы он с честью послужил моему народу, моим читателям?»

Эту мысль о значении жанра романа для современной литературы и для себя как художника писатель впоследствии развивает. Так, в интервью, данном мне как корреспонденту «Правды» после присуждения Нобелевской премии 1965 года, он сказал, что, разумеется, доволен

этим присуждением, но просит понять его правильно: это не самодовольство индивидуума, профессионала-писателя, получившего высокую международную оценку своего труда; тут преобладает чувство радости от того, что он – хоть в какой-то мере — способствует прославлению Родины, партии, в рядах которой находится более половины своей жизни, прославлению советской литературы. И добавил: есть тут чувство удовлетворения и тем, что «жанр романа, сама закономерность существования которого в современных условиях некоторыми литераторами ставилась под сомнение, получил как бы своё утверждение».

И в дни «Нобелевской недели» в Стокгольме, как мы знаем, он снова вернулся к вопросу о романе, подчёркивая связи этого жанра с реалистическим методом изображения.

Неоднократно возникают в шолоховской публицистике последних лет вопросы, связанные с сущностью социалистического, революционного гуманизма.

Гуманист тот, кто борется, кто помогает отвести руку убийцы, обезвредить его злую волю,– это слова из письма Шолохова участникам встречи писателей в Баку в 1966 году.

Письмо напоминает о том, что понятия гуманизма, любви к человеку, к человечеству разные люди склонны трактовать очень поразному, применительно к тому, какие силы общества они представляют.

Советские писатели, говорится в письме, согласно своим коммунистическим убеждениям считают, что, если убийца, грабитель, занёс руку над жертвой, не тот гуманист, кто только жалеет бедную жертву и сокрушается по поводу того, что убийство существует на земле...

«Наша сила, сила писателей,– подчёркнуто в заключительной части письма,– страстное слово, овладевающее умами и сердцами, пробуждающее энергию, умножающее волю, поднимающее на борьбу за человека, за человечность, за свет свободы и братства народов...»

В августе 1968 года писатель отправляет в Ташкент участникам международного литературного симпозиума телеграмму. В ней говорится о содружестве литераторов на благородном поприще борьбы за мир во всём мире, за прогресс человечества.

Представляет значительный интерес беседа писателя с группой французских туристов в агентстве печати «Новости» (1966). Он заявил:

– По-человечески я глубоко рад развитию широкого сотрудничества между нашими странами. Я донской казак. Полтора столетия назад донские казаки были в Париже. Будучи виноградарями, они привезли оттуда саженцы, виноградную лозу. Она прижилась на донской земле. Мои земляки очень тепло к вам относятся.

Писателя спросили, кто из французских авторов ему нравится больше всего. Он сказал:

– На подобные вопросы всегда трудно отвечать. О мёртвых можно говорить очень хорошо. О живых это не всегда удобно. Но если говорить серьёзно, то русская, великая русская литература многое почерпнула от общения с вами. Это взаимное обогащение. Толстой и Стендаль неотделимы. Мало ли что у нас было на протяжении истории... Но у нас была последняя совместная война, война с фашистской Германией, и кровь, пролитая французскими и советскими людьми, сблизила наши нации по-настоящему.

Был задан ещё вопрос: в чём видит он главное достоинство советской литературы?

– На протяжении всей истории Советской власти мы жили верой и правдой. Нашей правдой,– ответил писатель.— Как мы выполнили это? Я считаю без похвальбы, что мы многое сделали.

С высокой трибуны XXIV съезда партии прозвучали слова писателя о том, что представляет собою советская литература:

«Если говорить о нашей литературе в глубоком плане, то можно с гордостью сказать, что начиная с дней становления Советской власти она честно и преданно служила своему народу, и голос её, как говорил наш великий русский поэт, поистине

Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Голос её и в прошлом и в настоящем далеко слышен за пределами нашей Родины, и, как прежде, так и теперь он будит трудовое человечество и взывает к разуму и

сердцу каждого труженика в борьбе за подлинный прогресс, за мир, за коммунизм — самую передовую и самую надёжную из надежд для всех мыслящих людей на нашей планете.

Без ложной скромности можно сказать, что сделали мы очень много в смысле перевоспитания человека, средствами искусства воздействуя на его духовное пробуждение и рост. Общепризнано, что наша литература — самая идейная литература. А назовите такую страну, чья литература могла бы соперничать с нашей в этом плане! Смело можно утверждать, что, нет в мире такой страны и нет такой литературы!»

Ряд статей посвящён Шолоховым памяти выдающихся деятелей Коммунистической партии, передовой культуры нашей эпохи.

Если в шолоховской публицистике начального периода прочерчивались с первых же лет два основных её тематических направления,– во-первых, широкий круг жизненных проблем современности, в том числе и насущные нужды нашего хозяйства, людей, трудящихся на колхозной земле, а во-вторых, вопросы культуры духовной, литературы и искусства,– то, как мы видели, война в значительной мере свернула эту тематику, вызвав к жизни статьи и очерки в общем ключе любви и ненависти — любви к социалистической Родине и ненависти к её врагам,– публицистику, непосредственно отзывавшуюся на события военных лет, а впоследствии, по окончании войны,– тему борьбы за мир во всём мире.

В послевоенное время вновь отчётливо проступают, занимают своё место тематические круги, которые намечались в раннем публицистическом творчестве писателя. С годами всё определённее возникает в публицистике Шолохова тема молодёжи, традиций, передаваемых от поколения к поколению, коммунистического, патриотического воспитания молодых талантов. Подобно тому как чаще и чаще, особенно в последние годы, происходят встречи писателя с молодёжью, умножаются и выступления его в печати со словом, обращённым к самым различным слоям советской молодёжи.

На Третьем съезде писателей Казахстана Шолохов наиболее яркую часть своего выступления посвящает вопросам воспитания молодых литераторов и обеспечения

для них возможности творчески трудиться. Слово Шолохова проникнуто отеческой заботой о тех, кто ещё в самом начале пути, и высокой требовательностью к ним. Многим писателям и читателям памятен образ, осветивший эту речь писателя высокой символикой: «Мне рассказывали, как беркут воспитывает своих птенцов, когда они начинают летать. Подняв их на крыло, он не даёт им опускаться, а заставляет набирать высоту и гоняет их там до полного изнеможения, заставляя подниматься всё выше и выше. Только при таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить в поднебесье... Своих молодых писателей мы должны учить таким же способом, должны заставлять их подниматься всё выше и выше, чтобы впоследствии они были в литературе настоящими беркутами, а не мокрыми воронами, не домашними курами. Но беркут не ломает крыльев своим птенцам, не умеющим или боящимся на первых порах подняться на должную высоту. Наша критика не должна и не имеет права «ломать крылья» начинающим писателям».

Шолохов выступает на творческом семинаре молодых писателей Ростовской и Каменской областей, говорит с ними о высокой чести творить для парода, выступает на Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей, обращается со страниц «Правды» с приветствием к съехавшимся в Москву участникам VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Словно строками из стихотворения в прозе прозвучало обращение писателя к молодёжи в его приветствии XIII съезду Ленинского комсомола, опубликованном «Комсомольской правдой»:

«Родные мои, комсомольцы и комсомолки, моя ушедшая молодость, оправданная надежда родины и партии, накануне вашего съезда разрешите мне поклониться вам, обнять вас и пожелать вам — гордости моей страны -успехов и счастья в труде, учёбе, личной жизни».

На Третьем Всесоюзном съезде колхозников Шолохов в заключительной части своей речи говорит о советской молодёжи как о нашей гордости и надежде, говорит о литературной молодёжи, отмечая, что среди молодых литераторов много подлинно талантливых людей, от кого, естественно, в первую очередь следует ожидать произведений значительных и весомых.

•

В станицу Вёшенскую поступают кипы корреспонденции, адресованной просто: «М. А. Шолохову». Она стекается со всех концов страны.

Ему пишут о вопросах, имеющих значение государственное и сугубо личных. Нужны его совет, помощь, внимание. У иных- возникает потребность поделиться с этим мудрым, любящим людей человеком своими раздумьями, рассказать о своей жизни, как кому-то очень близкому. Пишет молодёжь, в том числе молодые литераторы.

Много корреспонденции строго деловой. Издательство прислало корректуру книги, где собраны ранние рассказы писателя. Киностудия интересуется, когда можно привезти для просмотра жителям Дона новую киноленту с экранизацией произведения писателя. Театр приглашает приехать, чтобы вместе обсудить приготовленную инсценировку...

Летят письма и телеграммы из-за границы — от издательств, от общественных: организаций: думает ли писатель в скором времени совершить одно из своих путешествий, которые так полезны для плодотворного культурного обмена, для улучшения взаимопонимания между народами?

В годы войны Михаилу Александровичу писали со всех фронтов, со всех концов страны. Фронтовики сообщали, что номера газет с его произведениями переходили буквально из рук в руки, что бойцы с нетерпением ожидали каждого нового выступления Шолохова в печати. Приходили коллективные письма за многими подписями офицеров и бойцов, передовых рабочих, колхозников, представителей интеллигенции. Люди рассказывали писателю о том, что его слово воодушевляет их на новые подвиги во имя родины. В иных письмах были стихи, сочинённые фронтовиками. «Пиши почаще нам, родной»,– говорилось в одном из таких стихотворений, написанном неумелой рукой, но продиктованном искренним и глубоким чувством. «Наш фронтовой друг» — так называет писателя автор письма. Живая переписка советских людей со своим писателем открывает не только отношение читателя к произведениям Шолохова. Она свидетельствует о том, какое огромное место в духовном богатстве советского народа занимает литература, как велика,

почётна и ответственна роль художника слова в общественной жизни нашей страны каким доверием облекает его народ и какой любовью платит ему.

Письма, обращённые к Шолохову, обнаруживают, сколь требователен к произведениям литературы советский читатель, ищущий в творчестве писателя прежде всего глубокой мысли, ответа на наиболее важные вопросы современности. Читатель требует от писателя правды изображения, умения передать черты характера советских людей, их дела и думы так, чтобы художественный образ Звал человека вперёд, воодушевляя его в борьбе за строительство новой жизни. И велика признательность народа писателю, который жар своей души, силу своего таланта отдаёт народу, вместе с ним мыслит и чувствует, вместе с ним борется за общее дело.

С 1932 года Михаил Александрович Шолохов член Коммунистической партии.

Служа народу всем своим творчеством, Шолохов верно служит ему и как государственный деятель. Он депутат Верховного Совета СССР всех созывов.

В 1939 году писатель избран действительным членом Академии наук.

XXII съезд Коммунистической партии ввёл Михаила Шолохова в состав Центрального «Комитета КПСС.

Выезжая за границу, писатель выступает с докладами и речами о советской литературе, встречается с зарубежными литераторами.

Он — активный участник могучего движения современности, борьбы за мир во всём мире. Речь его на Всесоюзной конференции Сторонников мира, очерк «Свет и мрак», острая статья-памфлет «Не уйти палачам от суда народов» оставили яркий след в памяти читателей. Писатель — гражданин социалистического отечества нашёл пламенные слова для того, чтобы раскрыть значение Советского Союза как несокрушимого оплота мира во всём мире.

МУЗЫ

Творчество большого писателя, как правило, обогащает своим содержанием смежные искусства. Сильно и благотворно сказалось в этом направлении воздействие произведений Михаила Шолохова.

Существенно, что с течением времени этот процесс отнюдь не ослабевает, не исчерпывает возможностей для своего развития, не локализуется в какой-то или в каких-то из наиболее благоприятных для него областей искусства. Наоборот — он растёт вширь, захватывая всё большие плацдармы, находя для себя благоприятные условия на любой почве. Он растёт и вглубь, находя в каждом искусстве всё более интенсивные средства контакта, часто даруемые развитием самого искусства (например, развитие кино — от немого к звуковому, цветному, широкоэкранному).

Первыми из людей искусства приобщились к миру шолоховских образов, естественно, художники-графики, которым довелось иллюстрировать «Тихий Дон», «Поднятую целину». Из множества книжных иллюстраций должны быть названы работы Дементия Шмаринова, Алексея Лаптева, своеобразная галерея, созданная Орестом Верейским, серия рисунков к «Судьбе человека», выполненная Кукрыниксами. Обратили на себя внимание также работы Юрия Реброва, Бориса Алимова, оформившего книгу прозы военных лет, Николая Усачёва, сделавшего иллюстрации к «Донским рассказам».

Если в ранних изданиях знаменитых шолоховских романов художники порою увлекались свежестью вошедшего в литературу нового жизненного материала, своего рода экзотичностью быта донского казачества или остротою и романтичностью сюжетных столкновений, то впоследствии их искусство всё глубже стало отражать многообразие мастерства писателя в создании человеческих характеров, гуманистическое содержание шолоховской прозы, её высокую поэтичность.

Получили зримый облик шолоховские герои и на сцене драматического театра. Начальные опыты инсценировок «Поднятой целины» относятся уже к тридцатым годам. По первой книге романа были сделаны сценические композиции драматургами Н. Крашенинниковым (1934) и В. Чуркиным (1940). В более позднее время драматург Теодор Лондон осуществил попытку дать новое сценическое прочтение произведения Шолохова. А ещё позже в ряде театров пошли спектакли, в основу которых легла инсценировка П. Дёмина по 2-й книге «Поднятой целины». Над образами шолоховских героев работают актёры,

режиссёры, театральные художники во многих городах страны. «Поднятую целину» в разных инсценировках показали на своей сцене Центральный театр Советской Армии, Московский театр имени А. С. Пушкина, Ленинградский Большой драматический театр имени М. Горького и т. д., и т. д., постановка осуществлялась в разное время такими крупными и резко отличающимися друг от друга по своему творческому почерку режиссёрами, как Алексей Попов, Георгий Товстоногов, Борис Равенских. Например, Георгий Товстоногов в присущей ему манере сделал попытку решить современными сценическими средствами постановку спектакля, содержание и жанр которого близки народной драме. Спектакль в постановке Бориса Равенских задуман в ином ключе. Индивидуальность и режиссёрский темперамент постановщика проявились в выпуклом выделении образов Давыдова и Нагульнова и в придании всему спектаклю звучания героико-романтического.

Любопытно высказывание и свидетельство японского режиссёра — художественного руководителя токийского театра «Мингэй» Дзюкити Уно (опубликовано в «Неделе», № 29 за 1973 год):

– Успех, большой успех выпал на долю «Поднятой целины» Шолохова. Поначалу я побаивался, что тема коллективизации будет не совсем понятна японскому зрителю. Слишком уж далека обстановка и по времени, и по своему содержанию. Но тревога оказалась напрасной. Образы Нагульнова, Щукаря полюбились зрителю.

Отрывки из произведений Шолохова украшают репертуар мастеров художественного чтения, исполняются актёрами на концертных эстрадах, в передачах радио и телевидения. Шолоховское слово прозвучало в чтении актёра большого трагического дарования Николая Мордвинова, комедийного актёра Владимира Дорофеева, актёра лирико-драматического склада Сергея Лукьянова и не поддающегося исчислению множества других артистов театра и эстрады.

Широкое признание у слушателей встретила проникновенная, исполненная вдохновения, насыщенная духом глубокой народности интерпретация, которую получили главы шолоховских романов в чтении артиста Дмитрия Орлова. О его мастерстве теперь можно судить, к сожалению, лишь по сохранённым фонограммам.

Режиссёров, актёров привлекают в произведениях Шолохова

яркие характеры героев, глубина мыслей, психологическая насыщенность, блестящее владение диалогом, умение пользоваться сокровищами народного языка, драматичность действия, бескомпромиссная правда в изображении действительности, многообразие жизненных красок, сочный юмор, человечность, народность.

Инсценированы для театра «Тихий Дон» и главы романа «Они сражались за Родину».

Видно, недаром Каллиопа, муза — покровительница эпоса, считалась старшей среди своих сестёр. Вслед за Мельпоменой обратила свой взор к произведениям выдающегося писателя и Евтерпа. Музыке всегда сродни высокая поэзия. А поэзией наполнена проза Шолохова в избытке.

По мотивам шолоховских книг создано немало музыкальных произведений. Возникали сюиты, представлявшие собою музыкальное сопровождение спектаклей, кинокартин. В этой работе участвовали композиторы Василий Соловьёв-Седой, Георгий Свиридов, Юрий Левитин, Вениамин Баснер, Олег Каравайчук, Борис Мокроусов и другие. Но дело отнюдь не исчерпывалось этим. Создаются самостоятельные произведения крупных форм, содержание которым дало творчество Шолохова.

Ленинградским композитором Иваном Дзержинским написаны оперы «Тихий Дон» (1936), «Поднятая целина» (1937), «Судьба человека» (1960). Первая из них возникла, когда роман «Тихий Дон» ещё не был закопчён, в её основу легли 1-я и 2-я книги романа. Опера «Поднятая целина» также создана по 1-й книге одноимённого романа. Обе оперы заняли почётное место в репертуаре лучших советских театров. Создавая свои оперы по шолоховским романам, композитор стремился опереться на их народную основу и потому сконцентрировал свои усилия на том, чтобы выделить и разработать в музыке этих опер песенное начало. На этом пути он и добился наибольшего успеха. Правда, значительно менее содержательны и интересны оказались к них, по сравнению с хоровой и сольной песней, музыкальные характеристики не только многих действующих лиц, но и главных героев. Следует сказать, что в работах И. Дзержинского выразилось одно из течений в музыкальной мысли тех лет. связанное с поисками средств воплощения современной тематики и образа современного героя на оперной сцене.

Каждое искусство находит в шолоховских произведениях то, что ему всего ближе, что ему более созвучно. Театр — драматическое содержание, музыка — поэзию. Не является ли это ещё одним нагляднейшим свидетельством удивительной многогранности творчества Шолохова!

Особенно полно и плодотворно проявило себя воздействие мира шолоховских образов на искусство художественного кинематографа. Это естественно, если учесть ни с чем не сопоставимую массовость искусства кино, а также наибольшую его способность передать на своём языке то, что столь характерно для писательской индивидуальности Шолохова,– эпичность его произведений.

Сценаристам и режиссёрам, которые работали над экранизацией шолоховских книг, открылись во всей полноте «кинематографические» качества его прозы — в дополнение ко всему, что даёт этот благодарный материал театру, редкостная динамичность в развитии сюжета, острота конфликтов и наличие «внутренней драматургии» во множестве эпизодов, их необычайная ёмкость, увлекательные возможности выразительного монтажа, мастерски достигнутое единство живописных, психологических, речевых, пластических характеристик, блестящая разработка каждого компонента массовых сцен, гармония во взаимодействии всех элементов художественного синтеза.

Очень важно обратить внимаете на существенную особенность эстетических концепций этого художника. Правда, то, о чём сейчас пойдёт речь, имеет прямое отношение и к театру, но не меньшее — к драматургии кино. Шолохов — писатель, владеющий драгоценной тайной самого многообразного воздействия на эмоции, пробуждаемые в читателе или зрителе. Причём воздействие каждого элемента единого целого, как правило, строго выверено художником-психологом, писателем-сердцеведом. Стадии напряжения и необходимого расслабления «мускулатуры» сюжета, эпизоды, эмоционально насыщенные до предела, и то, что именуется ретардацией, затяжкой действия, чередуются в тонко определяемой последовательности, с отличным ощущением их восприятия.

Многие события, развёртывающиеся в произведениях Шолохова, столь драматичны, что требуют немедленной художественной разрядки. Античная эстетика утверждала в завершении трагедии необходимость «катарсиса», «очищения». Этот высокий эстетический принцип глубоко проявляется

в творческом стиле Шолохова. Поскольку же композиция романа весьма далека от «единства действия» классической трагедии, то очень верным представляется и рассредоточение катарсиса, проникновение его во многие звенья сложно развивающегося сюжета со множеством кульминаций и разрядок драматического напряжения. Можно было бы назвать это принципом «разлитого» катарсиса. Большое художественно-эстетическое значение у Шолохова имеют в этом смысле спокойные по манере выполнения картины всё время идущей вперёд жизни, тот подлинно народный юмор, которым окрашены многие страницы, главы и образы, порою, наоборот, переход к суховатому изложению событий. Могучими, возвышающими аккордами звучат столь характерные для этого писателя величественно простые и вдохновенные описания природы, насыщенные глубоким содержанием авторские «отступления». Впечатления окружающего мира, вступающие в сознание и героев и читателя, разряжают крайнее напряжение и рассредоточивают ощущения. Писатель как бы широко распахивает душу читателя для восприятия огромного мира природы, человеческих чувств после нагнетания художественных средств, устремляющих всё внимание к одному исключительно напряжённому событию. Это и создаёт ощущение, освобождающее, очищающее от всего только что пережитого. Всем этим достигается гармония целого, соразмерность его частей, естественное распределение света и тени на художественном полотне, совершенная композиция, верный, правдивый тон всего произведения. Художник как бы поднимает нас над судьбой отдельного человека или группы людей к большому миру, крупицей которого они являются, заставляет прислушаться к поступи истории, постигать величие хода жизни, вбирающего в себя все этапы борьбы, жестоких столкновений, но в целом представляющего картину величавого, широкого развития. Это яркая особенность искусства жизнеутверждающего, философски углублённого, человечного, а потому — истинно прекрасного.

Как же могли бы советские художники экрана не обогатить своё искусство драгоценным художественным опытом крупнейшего мастера литературы!

В ту пору, когда кино было ещё немым, режиссёры Эльга Преображенская и Иван Правов первыми экранизировали «Тихий Дон» (1930. Операторы —Д. Фельдман

Начало всех начал. Домик в хуторе Кружилином на верхнем Дону. В этом домике жила семья Шолоховых. Здесь 24 мая 1905 года родился будущий писатель.

Детские, отроческие, юношеские годы (с 1910 по 1925) протекли вот здесь, в домике на одной из улиц станицы Каргинской. Тут писались «Донские рассказы», рождался замысел романа «Тихий Дон».

Автор «Донских рассказов», «Тихого Дона» был с давних лет желанным гостем московских рабочих

Избиратели в Новочеркасске пришли поздравить своего депутата

Пишется «Тихий Дон».

Простор.

На охоту.

Донской воздух. Такими были мы в начале 30-х годов. (В центре М. Шолохов, справа — секретарь Вёшенского райкома партии П. Луговой, слева — Ю. Лукин.)

Писатель видел войну вплотную.

Великая Отечественная война. Писатели : Е. Петров, М. Шолохов, А. Фадеев — военные корреспонденты.

И здесь встреча с читателями.

Улица Вёшенской

Родные края. Уголок станицы Вёшенской.

Дон у станицы Вёшенской.

Всегда с людьми.

Катер приближается к хутору Калининскому,
И внешние приметы которого взял писатель для изображённого
в «Тихом Доне» хутора с вымышленным названием Татарский.

Прогулка по Дону с гостями из Грузии.

Встретились депутат и его избиратели в Таганроге.

Балтиец Семён Давыдов.

Снимается фильм «Судьба человека».

Высокая награда. Н. В. Подгорный поздравляет писателя со званием Героя Социалистического Труда.

Четвёртый Всесоюзный съезд писателей. В президиуме съезда.

Венгрия. Беседа с Яношем Кадаром,

ГДР. Встреча с Вилли Бределем.

ГДР. Автора «Тихого Дона» и «Поднятой целины» приветствует Анна Зегерс.

В день 60-летия М. А. Шолохова его поздравляет финский друг Мартти Ларни.

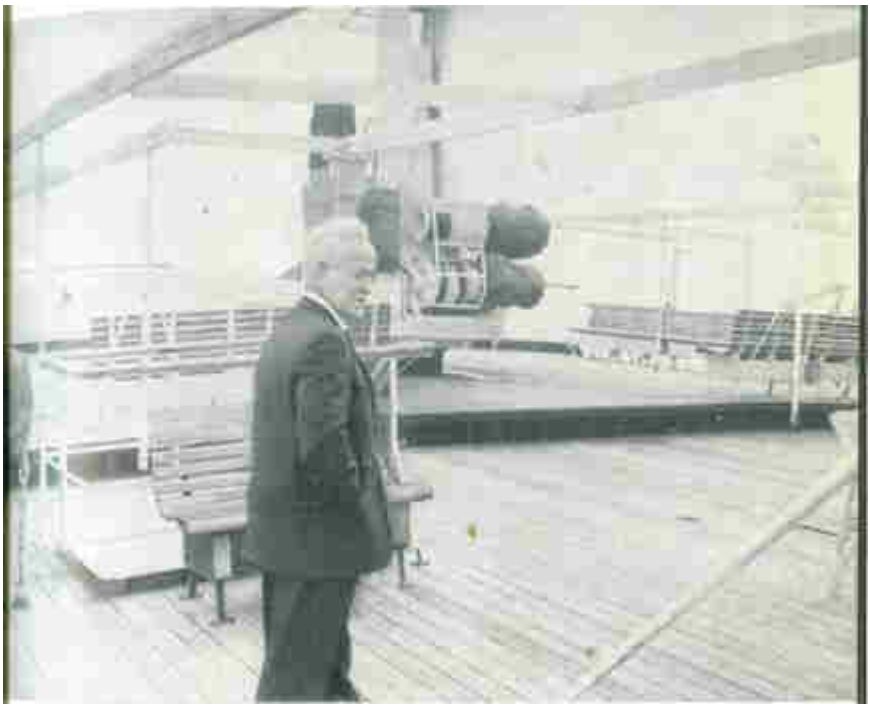
Немецкие учёные профессор Э. Брюнинг и доцент Э. Хексельшнайдер в Вёшенской вручают М. А. Шолохову диплом почётного доктора философии Лейпцигского университета имени Карла Маркса.

М. А. Шолохов в редакции газеты «Правда».

Мчась к востоку, воздушный лайнер
стремительно обгоняет время.

Весть о присуждении ему Нобелевской премии
застала писателя в казахстанских степях.

Директор Хабаровского краеведческого музея В. П. Сысоев преподносит] писателю подарок — корень женьшеня.



Из бухты Находка корабль «Байкал» отплыл
к берегам Японии.

Тайга неподалёку от бухты Находка.

Япония. Писателя интересуют условия **труда** крестьян-рисоводов.

Автографы любимого писателя с волнением получают юные читатели и у нас в стране — и в далёкой Японии.

В местности Никко на японском острове Хонсю.

В гостях у писателя знатные грузинские чаеводы из колхоза, где М. А. Шолохов — почётный колхозник.

Путешествуя по Японии.

В Вёшенской гостят молодые коллеги писателя.

Годы шестидесятые.

В донской степи автор «Тихого Дона» и первый космонавт.

На родном Дону.

В гостеприимном шолоховском доме —
писательская молодёжь из разных стран.

В самолёте-«такси».

Этот поезд получил имя «Тихий Дон».

Дома.

М. А. Шолохов выступает на Третьем Всесоюзном съезде колхозников,

и Б. Эпштейн). Сюжет фильма опирался на содержание существовавших тогда 1-й и 2-й книг романа. Это содержание предстало в кинокартине значительно обеднённым. Её авторы положили в основу своего произведения любовь Григория и Аксиньи. Огромное социальное содержание романа осталось, по сути, за кадром.

И всё же, хотя к зрителю проникла из-за возведённой без всякой нужды плотины как бы лишь одна струя могучего и широкого потока, можно было залюбоваться и ею, поскольку и она сама по себе прекрасна. Зрители полюбили фильм, в котором увидели образы молодых Григория и Аксиньи. Много способствовали этому счастливые внешние данные и темпераментная игра тоже молодых тогда актёров — Андрея Абрикосова и Эммы Цесарской. Два эти образа и вошли в историю советского киноискусства на одном из ранних этапов его развития.

Новый вариант экранизации «Тихого Дона» был создай через 27 лет режиссёром Сергеем Герасимовым (он же написал и сценарий) на Московской киностудии имени Горького (1957. Оператор — В. Рапопорт). Кино уже стало звуковым, цветным. Три серии фильма охватили содержание всего романа. Иной здесь Григорий — много повидавший, передумавший и переживший. Роль Григория была поручена актёру Московского драматического театра имени Станиславского Петру Глебову, роль Аксиньи — Элине Быстрицкой. Наряду с ними в фильме создали яркие образы своих героинь Зинаида Кириенко (Наталья) и Людмила Хитяева (Дарья). Много удач было и в работе над персонажами второго плана. Можно упомянуть роли Пантелея Мелехова (Д. Ильченко), Бунчука (Пётр Чернов), молодого Листницкого (Игорь Дмитриев), есаула Калмыкова (М. Глузский). В этом фильме виден широкий фон народной жизни, воссоздана социальная атмосфера бурных лет гражданской войны, показаны страстные метания Григория Мелехова в поисках правды. Картина прошла на экранах страны с большим успехом.

Примерно подобным же образом обстояло дело и с экранизацией «Поднятой целины».

Впервые её герои появились на экране в звуковом фильме режиссёра Юлия Райзмана (ПНО. Оператор Л. Косматов). 2-я книга романа ещё не была написана. Да и материал 1-й книги был подогнан под те специфические требования, которые, к сожалению, часто сказы-

вались на произведениях искусства в те годы. Участвовали в съёмках прекрасные актёры Московского Художественного театра Б. Добронравов (Давыдов) и М. Болдуман (Нагульнов). Но ни их игра, ни работа мастера режиссуры не могли спасти картину. Пострадало и её общее содержание, и образ Давыдова, даже образ деда Щукаря, сильному искажению подверглась роль Лушки. Характер Давыдова оказался в фильме прямолинейным, лишённым противоречий, избавленным от столкновений со многими трудностями. Дед Щукарь потерял свой юмор, стал персонажем почти уже не комедийным, скорее — носителем идеи коллективизации и механизации сельского хозяйства. Лушка стремительно осознала нежелательность своего легкомыслия и исправляется. В довершение всего лента заканчивалась приписанным благополучнейшим, плакатного характера финалом, как и все изменения, внесённые в сюжет, совершенно чуждым духу творчества Шолохова.

Через двадцать лет появился на экранах новый фильм «Поднятая целина», поставленный на Ленинградской студии «Ленфильм» режиссёром Александром Ивановым (1960—1961. Оператор — Вячеслав Фастович). Фильм был, как и вторая экранизация «Тихого Дона», звуковым, цветным, вдобавок широкоэкранным. Он также опирался на произведение, завершённое писателем.

В 1975 году Сергей Бондарчук поставил фильм «Они сражались за Родину», где в главных ролях вместе с ним снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин.

Актёр кино, заглянувший в глубины шолоховского творчества, увлечённый яркими характерами, познавший силу и красоту шолоховского языка, прикоснувшийся к этим огромным художественным богатствам, с грустью расстаётся с созданным им образом, когда работа над фильмом заканчивается. Это ведь не театр, где актёр порою долгие годы живёт в образе своего героя, заново и заново возвращаясь к нему, внося новые и новые оттенки в исполнение роли. С другой стороны, участие в фильме по шолоховскому произведению предъявляет к актёру зачастую некоторые особые требования, иной раз вызывающие необходимость длительной подготовки и тренировки: умения ездить по-казачьи верхом, владеть шашкой, знать обычаи, черты бытового уклада, устанавливавшегося на Дону веками, овладеть в совершенстве характерным донским

говором... То и другое, вместе взятое, естественно объединяет стремления актёра и интересы режиссёра при подборе исполнителей ролей в новом фильме. Вероятно, это привело к тому, что в советском кинематографе постепенно образовалось нечто вроде ядра шолоховской труппы актёров. Разумеется, такое определение более чем условно, но тем не менее ряд актёров не ограничился выступлением в одном фильме. Скажем, Эмма Цесарская и Евгений Матвеев снялись в трёх картинах, Зинаида Кириенко, Д. Ильченко — в двух.

Этот любопытный процесс дал о себе знать и при постановке второго варианта фильма «Поднятая целина». Роль Давыдова в нём сыграл актёр Московского Художественного театра Пётр Чернов, ранее остановивший на себе внимание исполнением роли Бунчука в «Тихом Доне». Людмила Хитяева после Дарьи в «Тихом Доне» обратилась к образу Лушки. Игорь Дмитриев после Евгения Листницкого сыграл Лятьевского. Участвовали в этом фильме и оба исполнителя роли Григория Мелехова: Андрея Абрикосова зрители увидели теперь в образе кузнеца Ипполита Шалого, Петра Глебова — в роли есаула Половцева. Самое примечательное в этом смысле произошло с ролью деда Щукаря: к ней вернулся после двадцатилетнего перерыва Владимир Дорофеев, который играл Щукаря ещё в фильме Юлия Райзмана.

Разумеется, вошли в число участников картины и такие актёры, которые тогда ещё впервые подключились к работе над шолоховскими образами для кино. В первую очередь надо назвать Евгения Матвеева — блестящего Нагульнова. Николай Крючков выступил в эпизодической роли Устина Рыкалина. А в массовых сценах участвовали жители казачьих хуторов и станиц.

Не только прославленные романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» стали объектами внимания кинематографистов. По рассказу «Судьба человека» студией «Мосфильм» выпущена полнометражная картина (1959), где роль Андрея Соколова исполнил Сергей Бондарчук (он же режиссёр фильма). Роль Ирины, жены Андрея, сыграла Зинаида Кириенко. Фильм завоевал Главный приз на 1-м Московском международном кинофестивале. Исполнитель главной роли и постановщик Сергей Бондарчук, оператор Владимир Монахов удостоены звания лауреата Ленинской премии.

Экранизирован ряд ранних рассказов Шолохова. Молодой режиссёр Искра Бабич поставила по своему сценарию короткометражную картину «Пастух» (1957). В 1959 году появился фильм «Жеребёнок» в постановке Владимира Фетина. По мотивам рассказов «Нахалёнок», «Смертный враг» и других режиссёр Евгений Карелов поставил фильм «Нахалёнок» (1962). По рассказу «О Колчаке, крапиве и прочем» Евгений Моргунов написал сценарий и поставил картину «Когда казаки плачут» (1963). Владимир Фетин осуществил постановку ещё одного фильма -«Донская повесть» (1964), где сценаристом А. Витолем использованы мотивы рассказов «Шибалково семя», «Родинка», а также некоторые мотивы из «Тихого Дона». В 1964 году Владимиром Монаховым поставлен фильм «Непрошеная любовь» по рассказу «Чужая кровь». Уже в начале 70-х годов появились новые фильмы: Евгения Матвеева — «Смертный враг» (по мотивам рассказов «Двухмужпяя» и «Смертный враг») и «В лазоревой степи» — сборник киноновелл «Продкомиссар», «Червоточина», «Коловерть», поставленный молодыми режиссёрами Олегом Бондаревым, Виталием Кольцовым, Валерием Донским, Владимиром Шамшуриным. Для троих из них это была защита дипломных работ.

О том, какие возможности для работника искусства таит в себе обращение к творчеству Шолохова, говорят многие факты. Можно напомнить для примера ещё хотя бы о некоторых, имеющих отношение к двум-трём творческим биографиям. Именно работа над перенесением шолоховских образов на экран сделала известного советского киноактёра Сергея Бондарчука кинорежиссёром. Известный оператор Владимир Монахов дебютировал в новом фильме также в качестве режиссёра. Актёра Петра Глебова работа над образом Григория Мелехова, по существу, «открыла» для кинозрителя. - Что касается Евгения Матвеева, то, на мой взгляд, образ Нагульнова — лучшее творческое достижение (по крайней мере, пока!) этого талантливого актёра на всём его пути в искусстве кино и театра.

Любое искусство, любой художник, обращающийся к Шолохову, острее постигают высокие критерии требовательности к гражданской, творческой совести, к мастерству.

СЕКРЕТЫ

Мастерство художника такого масштаба, как Шолохов... Не хотелось бы претендовать на способность проникнуть в то, что как ни говори, а представляет собою что-то вроде некоей тайны тайн искусства.

В этой главке будет предложен лишь опыт неторопливого, внимательного чтения некоторых страниц, а также возникающие попутно отдельные заметки и истолкование того, что поддаётся истолкованию.

Обширное поле для наблюдений предоставляет шолоховский метод и опыт в изображении человека, явлений жизни.

Вспомним, во-первых, как труден путь в «Тихом Доне» Штокмана и Бунчука, с какой правдивостью изображается и некоторая ограниченность Михаила Кошевого, объясняемая условиями его жизни, и в то же время его беззаветная преданность делу революции, его классовое чутьё, неукротимость в борьбе, во многом восполняющие отсутствие опыта и широты взгляда на мир. Вспомним также, каким нелёгким было начало работы Давыдова в колхозе и как каждый новый этап борьбы ставил его перед новыми трудностями, которые требовали разгадки и преодоления, требовали мужества, воли, стойкости, веры в своё дело, настойчивости в исправлении своих ошибок. А история всей семьи Мелеховых!.. Да и в том, что составляет так называемую личную жизнь его героев, автор вскрывает действительную сложность человеческих отношений, развития чувств, схватки противоположных начал. Достаточно упомянуть ещё раз о зарождении и укреплении любви Григория и Аксиньи, о роли, которую играла в жизни Григория Наталья, об истории дружбы и разрыва Григория с Михаилом Кошевым... Трудно даже перечислить подобные примеры.

Известно, во-вторых, как сложны характеры шолоховских героев.

Тонкий мастер психологического портрета, он раскрывает душу человека в её цельности и сложности. Он не боится изобразить и ограниченность своих героев, которая порождена прежними условиями их жизни. Но одновременно и поражает огромным богатством мыслей, чувств, переживаний, которое они несут в себе.

Можно ли взвесить плюсы и минусы характера Григория Мелехова и с полной уверенностью утверждать, что именно перетянет? Жизненное содержание этого образа настолько противоречиво, что не сразу удаётся ответить на возникающие иной раз у читателя вопросы: если в Григории больше положительного, почему же он пришёл к такому трагическому концу? Если это персонаж отрицательный, как могли его полюбить читатели, волноваться за его судьбу и засыпать писателя письмами в период работы над окончанием «Тихого Дона», с нетерпением ожидая решения, судьбы Григория?

Шолохов показывает бесконечное многообразие человеческих характеров, людских судеб во всей достоверности их индивидуальных особенностей, жизненных красок. Решение судьбы каждого персонажа воспринимается как единственно верное, неизбежно обусловленное всем развитием характера, хотя бы и изобилующим самыми крутыми поворотами.

Партийность, гражданский «темперамент» художника неизменно определяют позицию автора в изображении явлений действительности.

Писатель передаёт идейные искания своих героев, их внутренний мир в изображении реалистическом, проникнутом революционно-романтическим духом борьбы за нового человека.

В обрисовке характера — будь то большевик Котляров, или пошедший с врагами Пётр Мелехов, или закосневший в предрассудках сословности старик Мелехов, или строящие новую, колхозную жизнь Андрей Размётнов, Макар Нагульнов, вступающие на этот путь новой жизни Кондрат Майданников, Демид Молчун и многие другие — автор ничего не сглаживает, не затушёвывает. Но всегда видно то главное в индивидуальной судьбе каждого, что одних вывело на верный путь, других оторвало от ушедшей вперёд жизни. Это даёт образам шолоховских героев сложность, богатство красок, глубину... Таков и образ Григория Мелехова.

Глубина взгляда в душу своего героя. Точность и острота зрения художника-психолога. Писатель сближает многих своих героев с читателем настолько, что они становятся читателю как бы родными, и этим заставляет читающего книгу пережить порою в одном эпизоде самые разнообразные движения души. Иногда не можешь

отделаться от впечатления, будто автор зорко следит за тобою, вполне владея твоими чувствами...

Одно из характерных в этом смысле мест — конец первой книги «Тихого Дона». Проведя читателя через все, степени досады, почти отвращения к Аксинье, в минуту отчаяния и душевной опустошённости сошедшейся с Листницким, нагнетая эти чувства до предела, автор разряжает описание сценой, в которой Григории яростно избивает Листницкого, сценой, где врезается в память каждая деталь и всё размерено острым чутьём художника. И нарастает необходимость уже совсем иной разрядки. Как бы опомнившись и протрезвев вместе с Григорием, читатель невольно ждёт какого-то просветления. И писатель сразу, после мелькнувшей сцены с Аксиньей, стремительными штрихами — так, как это мог ощутить в те минуты Григорий,– рисует появление Дуняшки, Ильиничны, Натальи...

Снова как бы вместе с Григорием читатель оглянется на кнут, который тот, недоумевая, увидел в своих руках. Григорий очнулся. И впечатления окружающего мира уже начинают вступать в его сознание, ослаблять то напряжение, в котором он находился, подготавливать разрешение душевного конфликта.

Это разрешение дано в сцене встречи Григория с семьёй. Воспринимая всю чистую простоту и силу чувств близких ему людей, мы испытываем ощущение, освобождающее, очищающее от всего только что пережитого.

Стоит вдуматься в то, как сложно и глубоко решён финал «Тихого Дона».

Своеобразное художественное значение, как мы видели, имеют здесь шолоховские картины природы, приобретающие особое идейно-эстетическое наполнение. Тоска Григория, всё сужающийся чёрный круг его жизни даны на фоне победной донской весны — с буйным разливом Дона, со сказочным цветением степи, сплошь покрывающейся фиалками и тюльпанами, с перелётными стаями птиц, с неутихающим шумом привольного ветра в затопленном полой водой обдонском лесу, с лебедями, которых видит Григорий на восходе солнца...

Высокой степени совершенства достиг писатель в описаниях природы. Вглядываясь в них, то и дело изумляешься редкостной точности зрения художника:

«Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье

в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зелёные с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колен, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчёлы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы...

...Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вспугнутая стая сказочных зелёных птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки».

А посреди этого выполненного с любовным вниманием описания мы находим удивительный по чистоте рисунка образ, которому всё остальное служит лишь топким обрамлением. Этот образ сразу вводит нас в мир чувств и дум Аксиньи.

«Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безымянных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, л вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо-тенистым кустом. Широкие, некогда зелёные листья всё ещё ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелёк, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и жёлтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слёзы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся её долгая и бедная радостями жизнь...»

Словно в чистой воде лесного родника увидела вдруг Аксинья своё отражение — так много сказал её наболевшему сердцу этот цветок, неожиданно привлёкший своим грустным и сладостным запахом. В описании увядающего, но ещё прекрасного цветка замечательная точность изображения сочетается с великолепной и вдохновенной метафоричностью.

Работа над романом продолжалась около полутора десятков лет. И по мере этой работы, в ходе её мастерство писателя как бы кристаллизовалось. Это с особенной чёткостью видно в восьмой части романа. Каждый пейзаж, каждое «лирическое отступление» могут быть предметом специального разбора.

То, что угадывалось в ранних рассказах, то, что уверенно заявило о себе в первой книге романа, постепенно достигает наивысшего своего выражения. Характерные черты писательской манеры всё более определяются, художественные средства становятся всё более концентрированными, отсеивается то, что диктовалось временными устремлениями художника, развивается наиболее присущее его таланту.

Многообразны формы, избираемые писателем для достижения той гармоничности, которой определяется эстетически закономерное соотношение всех элементов произведений Шолохова.

Строга и взыскательна работа Шолохова над текстом. Тщательно продумываются линии развития образов; находятся всё более точные и верные варианты; в последних частях «Тихого Дона» из черновиков исключаются очень яркие главы лишь потому, что они нарушили бы чеканную стройность композиции, отшлифовывается, оттачивается каждая фраза.

В первых книгах «Тихого Дона» заметны некоторые стилевые черты, от которых впоследствии писатель решительно освобождается. Можно указать на известную нарочитость импрессионистических описаний природы, где в подчёркнуто «локальных» образах даётся восприятие явлений войны. Можно вспомнить также сравнительно наивное использование литературных шаблонов, надуманных

украшений словесного образа вроде «зажжённого любимым пожара», «пепла страха» и т. п.: «Аксинья ходила на цыпочках, говорила шёпотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголёк, оставшийся от зажжённого Гришкой пожара».

Писатель идёт ко всё большей простоте, мужественной собранности стиля в передаче сложных человеческих чувств.

Углубление содержания влечёт неуклонное совершенствование формы его выражения. Для сравнения напрашиваются те сцены из последней книги романа, где читатель снова видит Аксинью в сокровенном смятении её чувств. Обращает на себя внимание разительная простота слов, которыми передаётся столь большая сила и взволнованность чувства.

«Григорий уж вышел из сенцев и дошёл до калитки, а Аксинья всё ещё стояла в сенцах, улыбалась и тёрла ладонями пылающие щёки».

«Она сбросила кофту и платок,– не зажигая огня, прошла в горницу. Через не прикрытое ставнями окно в комнату вторгался густой, лиловый свет ночи. За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало и хоть в темноте и не видела своего отражения, всё же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку.

Много раз в жизни не оправдывались, не сбывались её надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь её жизнь? Что ждёт её в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье?

Опустошённая пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись щекой к холодному, заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом».

Классическая чистота и ясность прозы Шолохова, развившейся на народной основе, простота его стиля, достигнутая высоким мастерством, весьма далеки от нарочитой упрощённости. Художественная форма, в которую облечено содержание его произведений, цельна и максимально действенна. Язык насыщен предельно выразительной образностью, слог отчеканен.

Вспомним разговор Аксиньи с Натальей: «У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо... Одного ить делим?»; вспомним также резкий портретный штрих: то, что у Григория зубов «не меньше сотни...». Увидим ещё раз Аксинью, «с сатанинской гордостью», раздувая ноздри, проходящую мимо при встрече с кем-либо из Мелеховых, но, завидев Мишатку, пугливо оглядывающуюся и, если никого нет поблизости, подбегающую к нему, целующую «угрюмоватые чёрные, мелеховские, глазёнки» и бессвязно шепчущую, смеясь и плача: «Годный мой Григорьевич!..» Множество таких вдохновенных подробностей найдёт читатель на страницах шолоховских книг. Недаром же Серафимович, говоря о творчестве Шолохова, вспоминал «чудесные, задушевные» степные песни, «от которых и больно и ласково на
сердце».

В шолоховских произведениях мы находим те особенности, которые Горький отмечал в творчестве классиков,– «фабулу, внешнюю занимательность книги, обилие в ней содержания, наблюдений и знаний, её словесное изобразительное мастерство». (*М. Горький.* Собр. соч., т. 25, стр. 43).

Характерно, например, для мастерства писателя умение в собранной, скупой концовке отдельного эпизода, главы дать читателю с новой силой почувствовать смысл происходящего, состояние человека. Достигается это иногда насыщенностью фразы, иногда — неожиданно возникающим образом, внезапно овладевающим вниманием и чувствами читателя.

Гораздо больше пространных описаний» скажет читателю и о звериной сущности приспешников бандита Фомина, и об обречённости их, загнанных неумолимым преследованием, об их враждебности живому миру короткая, сжатая фраза с мастерски выраженным подтекстом:

«Они молча расседлали лошадей, привязали всех четырёх к одной ольхе и гуськом, одним следом, по-волчьи, пошли к Дону, неся в руках сёдла, стараясь держаться зарослей погуще».

Лаконично и сильно передано состояние Григория, находящегося среди этих отщепенцев, врагов народа, врагов казачества, покрывших себя кровью тех, из чьей среды вышел Григорий и против кого он сражался вместе с фоминовскими бандитами:

«— Надо погонять! Трогайте, ребята! — сказал Фомин.— К вечеру ежели доберёмся до Кривских логов — тогда мы будем спасённые...

Он хлестнул плетью своего коня, поскакал вперёд. Слева от него на коротком поводу тел второй конь. Срезанные лошадиными копытами, во все стороны летели, словно крупные капли крови, пунцовые головки тюльпанов. Григорий, скакавший позади Фомина, посмотрел на эти красные брызги и закрыл глаза. У него почему-то закружилась голова, и знакомая острая боль подступила к сердцу...»

С новой силой выражен здесь страстный, уже отчаянный, вопль души Григория: «Кого же рубил, братцы!..» Ужас и отвращение к себе становятся теперь не вспышкой на мгновение проясняющегося сознания, а суровым, беспощадным итогом, который он сам подводит прожитой им жизни.

Мы отмечали, что наряду с картинами, полными драматизма, щедро рассыпаны в произведеньях Шолохова блёстки искромётного народного юмора и могучими, возвышающими аккордами звучат столь характерные для писателя величественно простые и вдохновенные описания природы, насыщенные глубоким содержанием авторские «отступления».

Очень часто описание внешних впечатлений служит Шолохову тонким средством передачи внутреннего состояния человека, изображения психологического облика героя. Если внимательно вчитаться в страницы последней книги «Тихого Дона», можно заметить, как постепенно накапливает художник на своём большом, блещущем яркими, живыми красками полотне пятна чёрного цвета. Он властно вводит читателя в мир чувств главного героя, постепенно нагнетая изобразительные средства, говорящие о состоянии Григория.

Задолго до финала художник в лирическом контексте наносит внезапный, резко запоминающийся штрих:

«Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нёс его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где чёрная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час»,– а вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжёлым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрёстке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук её чёрную траурную косынку».

Писатель особо выделяет это место, делая здесь паузу. Так вступают в общее звучание произведения, как в симфонической музыке, два начальных аккорда трагического финала. Первый — проходящий, едва выделяемый: «чёрная смерть метит казаков», второй — сильно акцентированный: «чёрная траурная косынка»,– резко неожиданный и остающийся звучать не вполне разрешённым, ещё не воспринятым полностью. Это и делает, как ни странно на первый взгляд, ещё более устойчивым его звучание, исполненное смутной тревоги и тоски. Он ясно возникает в памяти, когда перед читателем проходят последние страницы романа, где даны картина чёрной степи и потрясающий образ чёрного солнца.

Картины природы вводятся у Шолохова то в соответствии с переживаниями героев, то, наоборот, составляют отчётливый контраст. Художник разнообразит средства воздействия на читателя, усиливает драматичность изображения — подобно тому как искусный чтец может выделить слово, либо повышая на нём голос, либо паузой перед этим словом, произнесённым ровным .тоном. Приём контраста применяется Шолоховым обычно в противопоставлении ожесточённой борьбы, описанной с беспощадной твёрдостью, вольному миру спокойной и радостной природы, её неизменному движению. И в этом угадывается стремление художника показать в образах величие хода истории, жизни, вбирающего в себя все этапы борьбы, жестоких столкновений, но в целом представляющего картину величавого, широкого развития. И по сути-то оказывается, что здесь не противопоставлено одно явление другому, а воплощено в художественных образах диалектическое единство частей и целого, явлений противоречивых, но составляющих единую картину победно движущейся вперёд жизни.

Стилевые особенности шолоховских произведений в немалой степени объясняются тонко проявляющимся внутренним сродством этого текста с образностью и глубоко воспринятым ритмом народной речи и песни.

Если иногда, особенно в ранний период, увлекаясь народным словом, писатель злоупотреблял воспроизведением местных речений, обильно используя их и в авторском тексте, то отнюдь не в этом заключается характерное для него отношение к языковому творчеству народа. Связи здесь гораздо более глубокие. Из народного песенного слова развились многие замечательные образы, сравнения, эпитеты в шолоховских произведениях. Любовно, с тонкостью большого художника выбирает он, шлифует и искусно заставляет играть всеми красками самоцветы, щедро рассыпанные в народной речи.

Шолохов, как мы помним, мастер будто бы неожиданных, но точнейших поворотов в психологическом портрете, словно внезапным озарением освещающих те стороны человеческой натуры, которые были до поры скрыты от читателя, а будучи показаны — убеждают в том, что иначе и быть не могло, только таким и был человек, о котором мы вдруг так много нового узнали.

В ряд с лучшими картинами, созданными Шолоховым, с полным правом становится прощание Макара с Лушкой после убийства Тимофея Рваного.

Здесь сила художественной детали в изображении доведена до предела.

Можно перечитывать этот шедевр писательского мастерства множество раз, и всегда будет свежо высокое эстетическое наслаждение, которое доставляет человеку лишь истинно прекрасное. Такое ощущение может подарить читателю только щедрая и безжалостная к себе душа человечнейшего художника, делающая чужую боль своей собственною, способная с необычайной остротой пережить, как свои, чувства любимых героев,– «облиться слезами над вымыслом»,– только великое искусство.

Вслушаемся как бы заново в звуки этой сцены, всмотримся во все её подробности, чтобы понять, как откристаллизовались в ней художественная мысль и слово. Обратим внимание на то, что Макар, распахнув дверь чулана, негромко (это ведь не очень похоже на прежнего Макара) позвал Лушку; что она стала на пороге, не промолвив ни слова, вялым движением для чего-то поправила на голове платок; что грубоватый обычно Макар посторонился, пропуская её вперёд. Вглядимся в её бледное лицо, в сухие её глаза и окружившие их тёмные провалы, таящие новое, незнакомое Макару выражение.

Встретились два когда-то близкие друг другу человека, сейчас опустошённые и удивительно облагороженные переживаемым страданием, как бы узнающие друг о друге нечто новое. Быть может, слишком поздно произошло это узнавание, а быть может, и оно никогда и прежде не смогло бы изменить судьбу их отношений. Но и прошлое этих отношений, и наступившая развязка обретают совершенно иной, новый, высокодраматический смысл.

«Я убил Тимофея» — так сказал Макар своей Лукерье. Прямо глянув в её чёрные, измученные глаза, невольно перевёл взгляд на страдальческие морщинки, успевшие удивительно скоро, за двое суток, поселиться в уголках капризного, чувственного рта.

Да беспутная Лушка ли это перед нами? Тот ли Макар, каким мы его знали до сих пор? И да, и нет. Конечно, это они, так хорошо нам как будто знакомые — и в то же время совсем новые. Удивительность новизны узнавания характеров сочетается с непререкаемой убедительностью изображения. Только такими и могли стать Лушка и Макар в этих совершенно новых для них и исключительных обстоятельствах.

Лушка молча выслушивает совет Макара уйти из хутора навсегда, чтобы избежать угрожающего ей судебного преследования. И тут ошеломляет как бы некий удар страшной силы, словно абсолютно внезапный, но психологически точно выверенный автором и подготовленный где-то ещё в глубинах первой книги романа:

«Макар неловко засуетился, разыскивая что-то в карманах. Потом протянул на ладони скомканный, давно не стиранный и серый от грязи кружевной платочек.

– Это — твой. Остался, когда ты ушла от меня... Возьми, теперь он мне не нужен...

Холодными пальцами Лушка сунула платочек в рукав измятого платья. Макар перевёл дыхание, сказал:

– Ежели хочешь проститься с ним — он лежит у вашего двора, за перелазом».

Так вот какую боль и какую силу чувства пронёс сквозь свою жизнь Макар! Вот чего стоят его не то гордые, не то беспечные слова о том, что, разведясь с Лушкой, он «распрекрасно себя сознаёт»...

И как трагичен, возвышен аккорд, которым писатель заканчивает главу, завершает повествование о прежней

Лушке — «молодой, хлёсткой, красивой», о суровой и нежной, рыцарски гордой любви к ней Макара:

«Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступенек крыльца, небрежно кивнул ей на прощанье, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек? Кто знает...»

А такой простоватый с виду, с «ясными, как летнее небушко» глазами, Андрей Размётнов... После его не весьма удачного романа с Мариной Поярковой, после деловитого и как бы скоропостижного сватовства к Нюре трудно было ожидать в этом человеке такой силы печальной памяти о Евдокии и любви к ней. Размётнов, с восхищением знатока вспоминавший о встреченных им на своём пути женщинах, Размётнов, выглядевший этаким добродушным ценителем женского очарования, оказался, собственно говоря, однолюбом.

И какая же чистота души обнажается в его любви к давно погибшей Евдокии! Кто из читателей сможет не пережить глубокого волнения, если неторопливо, внимательно всмотрится в последние строки, отданные писателем этой ясной, горькой любви. Молодцевато — при людях! — сбежав с крыльца, Размётнов идёт к могиле своей жены, и здесь он стоит, по-стариковски горбясь, глаза его суровы и безрадостны; глухим голосом разговаривая с Евдокией, словно с самим собой, сетует он на то, что не так, как надо было, блюдёт её последнее жильё, редко приходит навещать её. Говорит с ней, как с живой, словно верит, будто она и вправду видит, как ему — да и всем его товарищам — некогда, как всего, без остатка, забирает человека необходимая, неотложная работа, которую все они сейчас делают. Просит простить его за всё, чем он обидел её, мёртвую.

Снова торжествует шолоховское умение раскрыть необычайное богатство души, передать тонкость переживания самого простого человека из народа и заставить нас даже удивиться: как это мы сами не могли догадаться о многом, что оказалось таким очевидным, более того — единственно возможным для того или иного характера?

Любопытно, что именно Размётнов, его душевный мир даёт возможность писателю затронуть очень топко вибрирующие струны в сердце читателя, коснуться чего-то очень грустного, сосредоточенно-задумчивого, связанного с памятью об утраченном прошлом счастье.

Высокого искусства достиг Шолохов в использовании одного удивительного по своей красоте художественного приёма: рисуя совершенную по точности реалистическую картину, он умеет сделать её в то же время символом, наполнить огромной силой образности, образности возвышенно поэтической.

Размётнов видит пару голубей, прижившихся на его подворье. Найдётся ли живописец-анималист, который не позавидует искусству прозаика в описании этой птичьей четы? Сколько художнической зоркости нужно, чтобы увидеть как будто бы самые простые вещи: как статный голубь с щёголеватой брезгливостью, высоко поднимая малинового цвета лапки, прошёлся по грязному мелу на крыше, как он вобрал и слегка откинул голову, блистая тусклой радугой оперения на вздувшемся зобу; как красивая маленькая голубка торопливо семенит нарядными ножками, что-то поклёвывая на бегу; как голубь, уже не неуверенно, а яростно воркуя, кружит по земле с распущенным веером хвостом, «с безустальным упорством» преследуя свою избранницу.

И тут же писатель сразу переводит изображение в совсем иной план: вот так же кружил и Андрей лет двадцать тому назад вокруг той, которую — один раз на своём веку — любил, кажется, больше своей жизни, да так и не успел долюбить, с которой так быстро разлучила смерть. Страшной и обидной видится Размётнову поспешность, с какой пролетела жизнь.

Вся эта картина ещё усиливается коротким, но полным глубокого чувства «лирическим отступлением»:

«Бывает же в нашей жизни и так, что не только людское, но и короткое птичье счастье вызывает у иного человека с пораненной душой не зависть, не снисходительную усмешку, а тяжкие, исполненные неизбывной горечи и муки воспоминания...»

Чтобы не пройти мимо превосходной концовки этой лапки и чтобы попытаться проникнуть ещё в один секрет шолоховского мастерства, каким он покоряет читателя, остановимся на минуту вместе с Рахметовым и самим

писателем ещё раз на окраине хуторского кладбища, за той чертой, где в прежние годы хоронили самоубийц:

«На любом кладбище в любое время года всегда грустно живому, но особая, пронзительная и острая грусть безотлучно живёт там только ранней весною и поздней осенью...

Зачем Андрей пришёл сюда в этот вешний день, осиянный ярким солнцем, до краёв наполненный просыпающейся жизнью? Чтобы, сцепив куцые сильные пальцы и стиснув зубы, смотреть прищуренными глазами за туманную кромку горизонта, словно пытаясь в дымчатом мареве разглядеть свою незабытую молодость, своё недолгое счастье? А быть может, и так. Ведь мёртвое, но дорогое сердцу прошлое всегда хорошо просматривается либо с кладбища, либо из немых потёмок бессонной ночи...»

Всё здесь истинно прекрасно, всё зовёт забыть о том, как это сделано, и наслаждаться лишь достигнутым. Но посмотрите всё-таки, как искусно писатель добивается желаемого результата, каким утончённым способом приближает он читателя к себе и завладевает читателем. Завладевает не только вниманием, нет.- Он вводит, втягивает читателя в совместное раздумье, сопереживание, как бы в самый процесс творчества. Он склонен даже словно притвориться, что он не всё знает об им же созданных героях, отстраняет себя от этих как бы живущих вне его авторской воли людей и предлагает читателю вместе с ним решать, что же, собственно говоря, происходит, что изображено здесь, что переживают эти люди. Подобно тому как введены в концовке сцены прощания Макара с Лушкой, задумчивые слова: «Кто знает...» — так и здесь автор задаёт самому себе и читателю вопросы и отвечает неким полуответом: «А быть может, и так». Ведь можно было бы написать и по-иному: снять всего лишь вопросительные знаки, не вводить этого полуответа... Но как ослабилось бы при такой констатационной форме сокровенное общение писателя со своим читателем, как много едва уловимого, но крайне важного пропало бы! А эта интимность беседы с читателем, задушевное сотворчество нужны здесь ещё и как художественная подготовка к самой последней, требующей огромной сосредоточенности в её восприятии фразы, выразившей нечто очень близкое, кровно близкое сердцу писателя,– фразы, которая говорит о том, что «дорогое сердцу прошлое всегда хорошо

просматривается либо с кладбища, либо из немых потёмок бессонной ночи...»

Могучее и чистое чувство выделяет писатель в характеристике любимых своих героев — чувство мужской дружбы. Щедро показаны его проявления — в бескомпромиссной требовательности друг к другу, постоянной готовности прийти на помощь, в совершенном доверии, в сознании личной ответственности одного за всех и всех за одного, в прямой, открытой критике свершённых поступков, в сугубой деликатности по отношению к тому, что затрагивает интимные переживания человека. Дружба героев «Поднятой целины» несёт в себе черты благородной новой морали, возникшей в советском обществе, где человек видит в своём товарище прежде всего соратника по общей борьбе за народное дело.

Никогда не приукрашивая своих героев, часто облекая высказывания и мысли их в форму, вызывающую ощущение даже комического, Шолохов мастерски показывает в то же время, как высок духовный их мир. Это очень заметно, например, в обрисовке характера Нагульнова. Весь состоящий из контрастов между внешним и внутренним, удивительно цельный в этом постоянном противоречии человек, по виду суровый, замкнутый и как будто ограниченный, таит в себе кристально чистую душу, детски ясный взгляд на мир, глубокие а сильные чувства. Превосходно написанная сцена разговора между Нагульновым и Размётновым после отъезда Давыдова на полевой стан бригады, сцена, где точный психологический анализ послужил основой для совершенного по своему выражению художественного синтеза, даёт понять, что такое для героев «Поднятой целины» дружба, возникшая в боевом «товариществе», в суровом братстве воинов и строителей.

Хочется и эту сцену напомнить в её деталях. Размётнов, проводив Давыдова, встретил Нагульнова. Автор, как бы сильно нажимая на перо, выделяет штрихи, рисующие внешний облик Макара: как и всегда сухого, подтянутого, немного щеголяющего безукоризненной военной выправкой. На вопрос Нагульнова, касающийся Давыдова, Размётнов отвечает уклончиво, думая, что связь Семёна с Лушкой ещё не известна Макару. А Макар, который со всей силой нерастраченного чувства любит Лушку, думает сейчас совсем не о ней. Он даже склонен полагать, что его «предбывшую

супругу надо было ишо зимой подогнать под раскулачивание и проводить вместе с её Тимошкой Рваным в холодные края» в надежде, что, может быть, «хоть там у неё жару поубавилось бы», у этой «семейной контры». У Макара болит сердце сейчас за друга, за Даныдежа: он видит, как «на инду пропадает парень».

При виде Давыдова «сердце кровью обливается» у «сухого», повоенному подтянутого Макара. «Да по мне — чёрт с.ней, с кем бы она пи путалась»,– говорит он о Лушке, конечно сильно преувеличивая свою защищённость от боли, которую причинила ему любимая им женщина. «...Но ты, подлюка, мне Давыдова не трожь, не губи моего товарища дорогого!»

Вот тут уж звучит истая, святая правда, заставляющая нас, читателей, нежно любить этого чуть схожего с Дон-Кихотом, милого и душевного человека.

И не терпящий даже малейшего оттенка или хотя бы минимальной возможности подозрения в слащавости изображения художник спешит сразу перевести речевую характеристику героя в интонацию, окрашенную комизмом: «Вот как стоит вопрос на данный момент!» — добавляет Нагульнов, ставя привычную для его лексики «точку».

Вопрос Размётнова о том, почему же Макар в своё время не предупредил Давыдова, вызывает новую реплику Нагульнова, драгоценную для понимания глубин этого характера: «Да мне же неловко было предупреждать! Чего доброго, он мог бы подумать, что я из ревности его отговариваю или ишо тому подобное».

И как плод трудного раздумья, как формула выношенного в душе твёрдого решения следует фраза о том, что им, Нагульнову и Размётнову, надо Давыдова «по-товарищески остеречь, ждать дольше нельзя».

А завершается диалог снова фейерверочным блеском авторского юмора в широко известной тираде Макара о Лушке и о вреде, который приходится терпеть революционерам от прекрасной половины человеческого рода. Писатель достигает здесь редкой для прозаика гармонии самого характера героя и способа его обрисовки. Чуть приоткрыв читателю тайники нежнейшей и отзывчивой на всё человеческое, ранимой и стыдливой в своих глубинных проявлениях души Макара, тонкий художник незамедлительно как бы маскирует всё это, переводит изображение в

другой план, бросая своего героя в бой против ветряных мельниц:

«Бабы для нас, революционеров,– это, братец ты мой, чистый опиум для народа! Я бы эту изречению в устав вписал ядрёными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую изречению каждый день перед сном и утром натощак по три раза читал. Вот тогда бы ни один чёрт не попал в такой переплёт, как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. Да ты сам вспомни, Андрей, сколько хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени! Но счесть! Сколько из-за них растрат, сколько через них пьяниц образовалось, сколько выговоров по партийной линии хорошим ребятам за них повлепили, сколько из-за них народу по тюрьмам сидит — одна кошмарная жуткость!»

С огромным чувством подлинно художественной меры сочетает автор на протяжении одной короткой сцены острый драматизм, изображение высокой гуманности новых человеческих отношений с абсолютно правдивой исторической конкретностью в передаче формы, в которую облекалось это содержание, с присущим русскому народному художнику душевным тактом используя в юмористических целях и особенности донского говора, и чёткие приёмы индивидуальной речевой характеристики персонажа.

Чего стоят в этом свете снобистские упрёки, адресованные некоторыми литературными критиками автору «Поднятой целины», в потере чувства меры при использовании «хуторских» выражений, словечек, «хуторского» синтаксиса. Какой глухотой к живому слову народной речи надо страдать, чтобы не порадоваться хотя бы широкому и свободному вторжению в литературный язык могучей и бесконечно разнообразной стихии народного слова, наполняющего изображение сочными красками не условной, не схематизированной, неподдельной жизни! Разве не набил оскомину распространённый ещё, к сожалению, в некоторых произведениях прозы и поэзии некий обеднённый, урезанный язык, похожий на язык плохого перевода!

Но вернёмся к Нагульнову и Размётнову. Во второй книге «Поднятой целины» получает дальнейшее развитие уже знакомая нам черта Макара: он беззаветно предан партии и все главные проблемы жизни стремится решать с точки зрения «партийной идейности», такой, какова она

в его представлении, и сообразуясь со своей трогательной мечтой о мировой революции. Он совершенно не подготовлен для теоретических споров, он много может напутать и путает в практических решениях, но детски чистая душа его и страстное стремление отдать все свои силы делу партии помогают ему в самом главном добраться до истины, как бы возмещают в какой-то доле отсутствие необходимых знаний.

Ведь он весь, целиком, всем существом своим принадлежит к славной когорте героев — строителей нынешней нашей жизни и борцов за неё, которые отдали себя без остатка служению революции, хотя партийное обучение им зачастую доводилось проходить в том же порядке, в каком Максим Горький проходил курс наук своих университетов.

Правы те литературоведы, которые утверждают, что отнюдь не ревность была основной побудительной причиной, заставившей Макара убить Тимошку Рваного. Это легко доказывается простым противопоставлением отношения Нагульнова к этому человеку и к Давыдову, который в конце концов тоже мог вызвать в нём такое чувство. Конечно, он видел в Тимофее прежде всего классового врага и Лушке не мог простить то, что она «спуталась» с врагом.

И Давыдову объясняет Макар в постигшем их горе, что такое в его понимании Лушка и насколько неизбежен был разрыв с нею и для него самого, и для Давыдова: «Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как то ни чёрт! Ни колхозы, ни совхозы, ни сама Советская власть ей и на понюх не нужны! Ей бы только на игрища ходить, поменьше работать, побольше хвостом крутить — вот и вся её беспартийная программа! Такую бабу возле себя держать — это надо руки смолой вымазать, ухватиться за её юбку, глаза зажмурить и позабыть обо всём на белом свете... А чем же нам с тобою было держать такую вертихвостку? За-ради неё и революцию, и текущую советскую работу бросить? Трёхрядку на складчину купить? Ясная гибель! Гибель и буржуазное перерожденчество! Нет, уж лучше пущай она на первом суку хоть трижды повесится, а за-ради неё, такой паскуды, нам с тобой. Сёма, от нашей партийной идейности не отказываться!»

Способно вызвать и улыбку, и хорошее умиление то наивное постоянство в самом способе выражать свою мысль ц в обращении к одной и той же мысли, постоянство, с которым Нагульнов оценивает в первой книге собственный разрыв с Лушкой, а во второй — аналогичное положение Давыдова. Выгоняя Лукерью из своего дома, Макар говорит ей: «Я, девка, с тобой не то что до мировой революции не дотяну, а вовсе могу с катушек долой». А много позже он говорит Андрею Размётнову уже о Давыдове: «Лушка — это такой змий, что с нею он не только до мировой революции не доживёт, но и вовсе может скопытиться».

С предельной выразительностью показано понимание Нагулъновым партийного долга в споре с Размётновым о том, что подобает или не подобает мужчине, казаку. Напомним: в Андрее Размётнове взыграло вдруг чувство «казачьей чести», и он вознегодовал при мысли о том, что ему, мужчине, да ещё председателю сельсовета, предстоит ходить вместе с бабами на прополку, подвергая себя тем самым осмеянию со стороны хуторян. Макар горячо бросается в спор, развенчивает старозаветное чванство своего друга, втолковывает ему новое понятие о чести партийной. Оп настаивает на том, что любое дело становится «мужчинским», если его поручает партия. О какой бы работе ни шла речь, это остаётся в силе.

С великолепной яростью убеждения подкрепляет он свои доводы наглядными примерами: пошлёт партия его в бой против врагов революции — он с радостью пойдёт; разъяснят ему, что требуется сейчас картошку окучивать,– без радости, но пойдёт; скажут ему, что надо заменить доярку, ему, краснознаменцу-партизану, герою гражданской войны, своими мужскими руками коров доить,– скрипнет зубами, а всё равно пойдёт.

Таков он и во всей своей жизни. В мирной обстановке колхоза он делает всё, что представляется ему нужным для партии, для революции, хотя и остаётся по своей натуре воином, рубакой-кавалеристом.

Однако в подлинном вдохновении мы увидим его, когда потребуется стать лицом к лицу в вооружённой схватке, сразиться насмерть с врагами, приготовившимся к нападению, к отчаянному прыжку из засады.

Вот на эту опаснейшую операцию пойдёт Макар с особенным подъёмом, «с радостью», пойдёт, как на «весёлое дело».

Словно свет ясного утра, пала на облик Давыдова его первая истинная любовь, как-то незаметно для него самого и удивительно спокойно очистившая его душу от смуты, вызванной вторжением в его судьбу «хлёсткой, красивой» Лушки.

В самый как будто неподходящий и в самый для него нужный момент вошла в жизнь Давыдова Варя. Вспомним, в каком психологическом состоянии, в каком душевном смятении был Давыдов, когда это произошло. Добавим, что он был измучен и надвинувшимся разрывом с Лушкой, и даже своим чувством к ней ещё до приближения этого разрыва, и изматывающим спором с самим собой.

Как точно передан писателем внутренний мир героя, ещё не понимающего и не приемлющего то, что совершенно неотвратимо вторгалось в его судьбу! Раньше он замечал только, что Варя большерукая, рослая и красивая, что она при встречах улыбается ему смущённо и ласково, что её лицо при этом вспыхивает, как это бывает в семнадцать лет. А тут вдруг он не мог не увидеть во взгляде серых девичьих глаз нечто иное, «повзрослевшее и серьёзное», не мог не увидеть в этом взгляде горячую любовь, ожидание, надежду и покорность. И так сильны были эти невысказанные чувства, что они заставили его на миг растеряться. Но тут же его собственный взгляд стал рассеянным, потому что это было совсем не похоже на то, что так волновало Давыдова в Лушке, потому что не перегорело в нём чувство к ней, а главное — потому, что он попросту не мог представить себе даже тени возможности какой-то близости с этой милой, но совсем сторонней для него «девчонушкой».

Он недоумевает: «каким ветром» её несёт к нему, на что нужны они друг другу, когда он вдвое старше да ещё изранен, некрасив? Мы видим, как полувопрос сменяется утверждением: нет, не нужна она ему, пусть растёт и идёт своей дорогой, будет счастлива без него. И горько думает он о том, что вот Лушкины глаза ни разу не взглянули на него с такой любовью и преданностью. В её палах хотел бы он увидеть то, что дарила ему Варюха-горюха, как прозвал он юную казачку.

Мастерски показано в ряде глав, сколь постепенно пробивалось к Давыдову,

побеждало и покоряло его чувство Вари — в начале своей детской наивностью и непосредственностью, потом своей цельностью, изумившей его страстью и полнотой.

Поэзией чистоты юного сердца проникнут этот образ. Грустные и нежные краски находит писатель для изображения того, как развивались отношения Вари и Давыдова на первых порах, как её девичья любовь встретила с его стороны лишь равнодушие. Надо оговориться: это было в какой-то степени вынужденное равнодушие. Многое объясняют здесь сопровождаемые невольным вздохом мысли самого Давыдова о Варе: «Нет, милую Варюху можно любить только всерьёз, попросту баловать с ней мне совесть не позволит. Вон она какая вся чистая, как зоренька в погожий день, и какими чистыми глазами на меня смотрит... Ну, а если я всерьёз любить пока ещё не научился, не постиг этого дела, то нечего мне и голову морочить девушке. Тут уж, матрос Давыдов, отчаливай да поживее!.. А вообще-то надо мне подальше от неё держаться. Надо осторожненько поговорить с ней, чтобы не обиделась, и — подальше».

Эта ясная и прочная позиция, при сооружении которой, однако, Давыдов снова переоценил свои возможности, спустя известный срок внезапно рушится. Но рушится она, конечно, не только под натиском превосходящих сил «противника», а и в результате того, что внутри самой крепости постепенно усиливался разлад среди её защитников и к моменту стихийно возникшего штурма она была уже готова сдаться на милость победителя. Ряд и других обстоятельств содействовал этому.

Давыдов пережил жестокое разочарование в своих планах «перевоспитания» Лушки. Тяжёлую рапу нанесла ему неудавшаяся любовь. Задумывался он и о своём возрасте, о том, что нет у него до сих пор семьи и неизвестно, будет ли она. Видимо, всё существо его стремилось к хорошей, настоящей любви. Притом что касается Вари, то он вполне убедил себя в непозволительности излишнего интереса к поп со своей стороны, но совершенно не подготовил себя к возможности первых шагов для сближения и признании с её стороны.

Между тем в прекрасной главе, где описано это неожиданное для Давыдова развитие, казалось бы, и не возникавших ещё отношений, всё происходит именно так.

На собрании Давыдов, слушая выступление Вари в защиту Кондрата Майданникова от нападок Щукаря, успел только изумиться тому, как за одно лето изменилась и похорошела эта девушка. Правда, во второй книге «Поднятой целины» очень о многом говорит автор не прямыми описаниями, а глубоким подтекстом. И в данном случае мы не можем не догадываться, что на Давыдова должен был произвести сильное и отрадное впечатление сам факт смелого и верного выступления юной казачки на партийном собрании, проявления её общественной активности. А в работе колхозной он уже видел Варю раньше, ещё весной. Однако эти впечатления откладывались где-то в глубине.

И встреча с Варей после собрания обрадовала Давыдова просто как возможность поговорить с «милой девчонушкой», о которой у него осталось самое светлое воспоминание. Очень точен здесь художник в описании всех переходов в психологическом состоянии Давыдова. Совершенно искренне Давыдов думает, что Варю заставило поджидать его в переулке какое-то дело. Видя, что девушка чем-то опечалена, он обращается к ней и дружески ласково, и с наигранной бесшабашностью бывалого морячка. Но вскоре отбрасывает шутливый тон, обеспокоенно старается прочесть в её глазах, что за беда стряслась с нею.

Только услышав, что Варю собираются выдать замуж, он ощутил поразившую его самого острую боль на сердце.

Как помнит читатель, после вспышек гнева у Вари и перепалки, вызванной непонятливостью Давыдова, его неумением в нужный момент проникнуть дальше прямого смысла тех слов, которые он сейчас слышит, Варя ошеломляет его бурным, наконец-то вырвавшимся у неё в неистовости отчаяния признанием.

Писатель всё время подчёркивает, сколь не похоже было просыпающееся в душе Давыдова чувство на то, что испытывал он по отношению к Лушке; ни жара в крови, ни желания, только некая грусть и что-то, мешающее дышать... Но Давыдов понимает, что вот это и пришло к нему настоящее счастье, о котором он уже всё чаще подумывал как о минувшем его судьбу.

К лучшим страницам книги относятся и эта сцена, и сцена Давыдовского сватовства, разговор с Вариной матерью, рассказ о том, как Давыдов обдумывает будущее Вари, принимает на себя заботы о её семье.

Один из шедевров шолоховского художественного письма представляет собой описание поездки Давыдова с Варей и Щукарем в Миллерово. Степь, ночная и утренняя, оживает в этих картинах, наполняется звуками, запахами, которые так хорошо умеет уловить и передать своим образным словом Шолохов. Он заставляет увидеть, что в ранний утренний час роса на низкорослом придорожном полынке ещё бесцветна, не блестит так, как после восхода солнца, когда она переливается в солнечных лучах всеми цветами радуги; почувствовать, что степной подорожник, поникшие ветки жёлтого донника, близко подступившая к шляху рожь, даже всесильный полынок утратили свои запахи, их поглотила роса, лежащая на хлебах и траве «так щедро, будто прошёл здесь недавно короткий сыпучий июльский дождь». Скромные краски этого пейзажа, облик умытой росою степи, спокойное целомудрие просыпающейся природы как нельзя лучше сочетаются с образом юной Вари, с тем чувством, которое живёт в ней и Давыдове. Недаром через несколько страниц, там, где речь снова идёт о часе перед восходом, Давыдов видит Варю, уже сбегавшую к пруду умыться, «розовую, как эта зоренька».

•

На некоторых примерах постарались мы подметить, с какой удивительной зоркостью вглядывается писатель-психолог во внутренний мир людей, как поэтому умеет он повернуть своих героев совершенно новой стороной, но так, что безусловно веришь такому «повороту» и уже потом улавливаешь, сколь мастерски заранее подготовлена эта видимая внезапность художественного штриха. Для разительности примеров были взяты Нагульнов, Размётнов, дед Щукарь, но едва ли найдётся герой, к которому это не относилось бы.

Изображая самых разных людей, почти всегда показывает Шолохов — и делает это настойчиво, убеждённо,– насколько многогранна внутренняя жизнь каждого из них. Всегда многостороння художественная обрисовка человеческого характера в высокой шолоховской прозе.

Для оценки сделанного писателем в этом направлении можно достигнуть малого, если ограничить себя узкими канонами, которые нетрудно усвоить из учебных пособий по введению в литературоведение.

Можно написать обширные исследования о жанровых особенностях того или иного шолоховского произведения, попытаться в геометрических терминах выразить строение его сюжета, вырвать для лабораторного анализа из ткани произведения пейзажи, диалоги, полилоги и монологи, диалектизмы собственно лексические, этнографические и прочие, заняться подсчётом действующих лиц, разбором метафор и сравнений, развёрнутых и неразвёрнутых, определить художественный эффект, достигаемый использованием сложносочинённых и подчинённых предложений, то есть проделать обстоятельнейшую и далеко не бесполезную работу,– и всё-таки ничего не почувствовать в том, что составляет своеобразие шолоховского мастерства, не услышать пульса его творчества.

Досадно бывает наблюдать, как самые добрые побуждения по отношению к искусству иной раз выражаются в стандартных классификаторских усилиях. Приходят на намять цветы, высушенные для гербария, разложенные и подклеенные на картоне под стеклом и снабжённые табличками с латинскими названиями.

Нужны и гербарии. Но если есть возможность, лучше видеть живые краски цветка, дышать его запахом!

Ещё раз следует оговориться, что смешно было бы отрицать продуктивность сугубо научного, академического рассмотрения, изучения таких произведений, как «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Это очень нужно, и тут обширное поле деятельности для литературоведов.

Хочется только предостеречь от любой разновидности сальеризма при попытках постигнуть гармонию художественного мира, созданного писателем.

Может быть, для уяснения художественных особенностей произведений Шолохова больше дадут попытки не перечислять и классифицировать приёмы, которыми широко и многообразно он пользуется, а определить хотя бы некоторые присущие ему эстетические принципы и характерную манеру их проявления и воплощения в художественной ткани романа.

С точки зрения строгих и обычных правил построения сюжета бросается в глаза, например, непропорционально большое место, занятое в романе дедом Щукарем. Один критик высказал приведённое выше суждение о том, что во второй книге Щукарь «продолжает довольно долго инерцию прежнего художественного

существования, не обретая нового качества». Другой критик полагал, что «балагурство Щукаря приобретает постепенно I) романе самодовлеющее значение, а временами приходит и противоречие с его основным пафосом». Иные критики делали снисхождение писателю, объясняя обилие эпизодов, посвящённых Щукарю, влюблённостью писателя в своего героя.

А дело здесь в поэтических принципах писателя. Показывая суровые судьбы главных своих героев, готовя читателя к тяжёлому потрясению, которое предстоит испытать в финальной главе, человечный и тонко чувствующий эстетическую меру и необходимость художник даёт читателю как бы отдышаться, перевести дыхание, всмотреться в другие стороны жизни. Художественная мера определяется здесь по очень большому счёту.

Думается, можно оспаривать место, которое отведено Щукарю на партийном собрании. В этом случае автор,_ видимо, стремясь дать читателю «передышку» перед тем, как вести сюжет к наибольшему напряжению и драматичной развязке, заботясь о верном сочетании разнородных элементов, создающем гармоническое звучание произведения в целом, утрачивает чувство пропорции в построении данной главы романа. Внимание к тому главному, что происходит на собрании, всё время отвлекается Щукарем. Если бы комическое присутствовало здесь в меньшей дозе, глава была бы, вероятно, ещё сильнее. Но на это нельзя ссылаться как на пример, это исключение, которое отнюдь не опровергает общей закономерности.

К слову сказать, некоторое перенасыщение комизмом сказывается и в двух главах, связанных уже с другими героями — Нагульновым и Размётновым. Речь идёт об уничтожении Макаром Аркашкиного петуха и об истреблении Размётновым кошек. Однако и это лишь исключения.

Образ Щукаря существует не только сам по себе. Ему принадлежит немаловажная роль во всей образной системе романа, в композиции произведения. Это один из типичных шолоховских компонентов единого целого, многообразно воздействующего на эмоции, пробуждаемые в читателе.

Большое художественно-эстетическое значение имеют спокойные по манере выполнения картины всё время идущей вперёд жизни, неторопливость в сюжетном развитии, тот подлинно народный

юмор, которым окрашены многие страницы книги и целые главы.

А после гибели Давыдова и Нагульнова писатель даёт и нарочито суховатое, лаконичное изложение событий, связанных с ликвидацией вражеского заговора, и вводит печально-шутливый рассказ о Лушке, создаёт удивительно человечную сцену Варюхи и Щукаря — и завершает роман задумчивой, мужественно-строгой концовкой.

Всё это вместе взятое, тонко прочувствованное и точно продуманное сочетание самых многообразных элементов в развитии действия и создаёт ощущение гармонии. В результате возникает совершенная композиция книги и достигается верный, правдивый тон всего повествования.

В романе силою большого искусства переданы величавая поступь революционной истории, ход народной жизни, вбирающей в себя и возвышающей всё лучшее в людях и отметающей со своего пути всё, что пытается сопротивляться этому неодолимому движению. »

Действительность страны, построившей социалистическое общество и строящей коммунизм; полна героической романтики. Этой романтикой проникнуто реалистическое творчество Шолохова — художника, умеющего в самых обыденных и в самых суровых явлениях жизни всегда показать светлую цель, ради которой ведётся борьба и совершается порою незаметный подвиг, рассказать своим читателям о высокой человечности новых отношений между людьми, порождаемых новым строем жизни. Будничный труд Давыдова одухотворён мечтой о судьбах будущих поколений, о коммунистическом будущем родного народа. Мечта о коммунизме на всей земле дороже всего для Нагульнова, она движет помыслами такого, казалось бы, практически настроенного человека, как Кондрат Майданников.

А в описании нескольких месяцев из жизни хутора Гремячий Лог писатель-реалист сумел воплотить в образах героику и увлекающую романтику ломки человеческой психологии, воспитанной миром собственничества, поэзию строительства нового общества, нового мира.

Давно известно мастерское владение Шолохова словом. Язык его произведений свидетельствует о том, что это мастерство непрестанно шлифуется. В рассказе о столкновениях человеческих судеб, в описаниях картин природы, в диалогах героев — всюду поражает

богатство народной речи, которым с таким знанием и талантом пользуется писатель. Невольно уподобляешь слово в этих книгах полновесным слиткам самородного золота.

Критика уже не раз отмечала глубокую художественную мысль, заключённую в пейзаже, начинающем повествование во второй книге «Поднятой целины»:

«Земля набухала от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млела под ярким соднцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких, болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через Гремячий Лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листьях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная калёная дробь, приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжёлая, обильная роса.

В степи пырей поднялся выше колена. За выгоном зацвёл донник. Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. Озимые хлеба стояли до горизонта сплошной тёмно-зелёной стенкой, яровые радовали глаз на редкость дружными всходами. Серопески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы.

К концу первой половины июня погода прочно установилась, ни единой тучки не появлялось на небе, и дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь! Была она теперь, как молодая, кормящая грудью мать,– необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства».

С редкостным искусством ведёт здесь писатель взор и мысль своего читателя от сугубо конкретных, чётких подробностей, составляющих волнующую своей красотой картину, к широкому обобщению, к образу могучей силы.

Шолоховский пейзаж... Сколько красок, запахов привольной донской степи возникает в нашем представлении, когда мы произносим эти слова!

Богата здесь живопись, разнообразны едва порою уловимые оттенки. Художник в совершенстве владеет обширным арсеналом изобразительных средств. Иной раз выделяется в картине природы какая-либо деталь, взятая в фокус изображения, показанная очень

отчётливо и до предела лаконично и необычайно ёмко вбирающая в себя те элементы искусства, которые наменяют пространный рассказ о происшедшем или происходящем. Таковы, например, в последней главе «Поднятой целины» три стебля подсолнушка, что выросли после августовских дож лен неподалёку от могил Давыдова и Нагульнова и «сумели подняться в две четверти ростом и уже слегка покачивались, когда над площадью дул низом ветер». Таковы там же голоса осенней ночи: «журавлиный стон в аспидно-чёрном поднебесье, грустный переклик казарок, сдержанный гогот гусей и посвист утиных крыльев» — «птичий гомон, призывно падающий с высоты». Таковы в самых последних строках зарницы, или, по-донскому, сполохи, алым полымем озаряющие сразу полнеба, вестники величавой и буйной грозы, будящей природу к жизни.

•

Сложна и вместе с тем стройна композиция «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Её определяют и сам ход исторических событий, и внутренняя логика развития образов, и столкновения характеров.

Влияют на композицию и эстетические принципы иного порядка: очень характерно, например, что эпизоды, в которых нарастает драматическое напряжение, чередуются с разного рода «отступлениями», в частности такими, где даётся некая разрядка, свободное, свежее дыхание степного пейзажа.

Подобные композиционные переключения продиктованы чувством художественной меры, и, кроме того, они заставляют читателя невольно подняться над судьбой отдельного человека или группы людей к большому, широкому миру, крупицей которого они являются, прислушаться к поступи истории.

Драматизм и тонкая поэтичность отлично сочетаются у Шолохова с иной раз грубоватым, пион раз удивительно мягким и задушевным комизмом.

Если в «Тихом Доне» и «Поднятой целине» многие страницы, сверкающие народным юмором,– похождения и рассказы Прохора Зыкова, злоключения и хвастовство деда Щукаря — не только раскрывают образы этих потешных и трогательных героев, а играют, как мы отметили, существенную роль в композиции произведений, то, по-видимому, нечто подобное можно сказать о комических

стычках Лонахипа со Стрельцовым в главах романа «Они сражались за Родину».

Искромётны у Шолохова диалоги, обогащённые и меткостью определений, и живостью чутко переданной разговорной интонации, и лексической яркостью, и великолепным жизнеутверждающим юмором, присущим русскому народу.

Могут быть отдельно рассмотрены диалоги и полилоги в произведениях Шолохова — в рассказах и романах,– речевые характеристики героев. Постараемся всмотреться в некоторые особенности шолоховских диалогов. Да и тут ограничим свою задачу наблюдениями над диалогами лишь определённого типа. Есть диалоги, носящие характер, так сказать, дуэтный; в других — ведётся спор, по достаточно спокойный... Из множества разновидностей выберем одну такую, какую можно было бы охарактеризовать как диалог-«схватку». Это наиболее драматичная форма диалога, имеющая — как правило — свой, так сказать, микро-сюжет.

Вот кухня старого мелеховского куреня, в котором после гибели Петра и Дарьи, после смерти стариков Мелеховых остались жить Дуняшка и её муж Михаил Кошевой.

В их семье живут и дети Григория Мишатка и Полюшка. И наступил день, когда вернулся демобилизованный из будённовской армии Григорий. Григорий и Михаил сидят за столом. Идёт невесёлый, насторожённый и отчуждённый разговор двух людей, впервые встретившихся после долгой разлуки. Уже поздний час. Дуняшка, лёжа в постели в соседней горнице, с тревогой отшелушивается к доносящимся до неё словам мужа и брата. «— Что ж, потолкуем, Михаил?

– Давай.

Они сидели друг против друга, разделённые столом, молчали. Потом Григорий сказал:

– Что-то у нас не так... По тебе вижу, не так! Не подуше тебе мой приезд? Или я ошибаюсь**?**

— Нет, ты угадал, не по душе.

— Почему?

— Лишняя забота.

- Я думаю сам прокормиться.

- Я не об этом.

- Тогда об чем же?

— Враги мы с тобой...

— Были.

— Да, видно, и будем.

— Не понимаю. Почему?

— Ненадёжный ты человек.

Это ты зря. Говоришь ты это зря!

– Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо!

— Не знаю.

- Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не доверяли тебе, так?

- Ежли б не верили — не дали бы эскадрон.

- Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток!

— А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий.

– Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит. Ты выпил нынче лишнего, Михаил.

– Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!»

Посмотрите: только длительность диалога может составить затруднение для постановщиков спектакля или фильма, а по структуре своей этот диалог абсолютно драматургичен. Вот сейчас он перемежится краткой ремаркой, и напряжение будет нарастать.

«Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок солёного огурца, пожевал его и выплюнул.

– Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? —спросил Михаил.

– Да.

– Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я, в этот же день...

Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.

— Что ж я тебе — Кирюшка Громов?!

– Не шуми. А чем ты лучше?

— Ну, знаешь..

Тут и знать нечего. Всё давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится, мне тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор.

- Для тебя лучше?

- И для меня, да и народу лучше, спокойнее.

- Ты меня с ними не равняй!

– Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего: ты не лучше их, ты непременно хуже, опасней.

— Чем же? Чего ты мелешь?

— Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.

— Не я им закручивал, я был командиром дивизии.

— А это мало?

— Мало или много — не в том дело... Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.

— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.

— Ежли б меня не брали на службу, не был бы я офицером... Ну, это длинная песня!

— И длинная и поганая песня.

— Зараз её не перепевать, опаздано».

Спор, важнейший для понимания образа Григория, взаимоотношений между Григорием и Кошевым.

«Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал:

– Знаю я об твоих геройствах, слыхал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть... Этого из памяти не выкинешь.

Григорий усмехнулся.

– Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю... Ежли всё помнить — волками надо жить.

— Ну что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького!

— А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки... Выходит, занапрасну я тогда спешил.

— Благодетель какой нашёлся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ешли бы зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины небось вырезывал! Это ты зараз такой добрый...

— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.

— Значит, разные мы с тобой люди... Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде.— Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил: — Будешь пить?

— Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора...»

И наступает последняя фаза схватки, после кульминации — развязка.

«Они молча чокнулись, выпили. Григорий слёг грудью на стол, смотрел на Михаила щурясь, покручивая ус.

— Так ты чего же, Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать?

- Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнёшься на другую сторону.

- Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

– Нет, не схотел. Я отслужил своё. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Всё мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта... нехай оно всё идёт пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и всё. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца!

Впрочем, никакие заверения уже не. могли убедить Кошевого, Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого чёрта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К чёрту! Григорий встал.

- Кончим этот никчемущний разговор! Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмёт. А возьмёт — буду обороняться! Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.

- Это как то есть?

Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!

Михаил презрительно усмехнулся:

Тоже моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получай свой паёк с довеском. За старые долги надобно платить сполна!

- Ну, тогда поглядим.

- Поглядим, ясное дело.

Григорий снял пояс и рубашку,– кряхтя, стал разуваться.

- Делиться будем? — спросил он, с чрезмерным вниманием разглядывая отпоровшуюся подмётку на сапоге.

- У нас делёж короткий: подправлю свою хатенку и перейду туда.

- Да, давай уж как-нибудь расходиться. Ладу у нас с тобой не будет.

- Не будет,– подтвердил Михаил.

- Не думал, что ты обо мне такого мнения... Ну что ж...

— Я сказал прямо. Что думаю, то и сказал. В Вёшенскую когда поедешь?

— Как-нибудь, днями.

— Не как-нибудь, а надо ехать завтра.

- Я шёл пешком почти сорок вёрст, подбился, завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.

- Приказ есть такой: регистрироваться немедленно. Ступай завтра.

- День-то отдохнуть надо? Не убегу же я.

— А чёрт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.

– До чего же ты сволочной стал, Михаил! — сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.

Ты меня не сволочи! Я к этому не привык...— Михаил перевёл дух и повысил голос.

— Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо! Отправляйся завтра же, а ежли добром не пойдёшь — погоню под конвоем. Понятно?

– Теперь всё понятно...— Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь лёг на кровать».

Встретились два бывших друга, которых суровое время гражданской войны развело в разные стороны, порою бросало в разные станы враждующих сил. Михаил Кошевой воевал в Красной Армии, а Григорий метался от одного лагеря к другому. Теперь он вернулся домой, «уморившись душой страшно». Но Кошевой знает, что борьба не окончена, кругом вспыхивают одно за другим восстания, он опасается, что Григорий может стать знаменем контрреволюционного мятежа.

Характерно построение диалога, его внутреннего сюжета. Говорит Григории, и зачастую смутно кажется, что прав в споре он, что Михаил рубит сплеча и не способен найти путь к изболевшемуся сердцу Григория, что тот в своей примитивной ограниченности

заслуживал бы иного подхода, снисхождения... А то кажется, что Михаил чутьём улавливает реальную опасность, реальную угрозу. То нам представляется, что прав Кошевой, то — будто весы в споре склоняются к Григорию. И вот отзвучал этот разговор, и так и не видно, кто же одержал верх в споре. Ясно лишь одно: что может пролиться кровь, что это начало нового размежевания, что намечается трагический финал в судьбе главного героя романа...

В шолоховских диалогах поражает обилие и сочность красок, подсмотренных в непосредственной, живой народной речи, глубина психологического проникновения и чёткость ритмического рисунка. Речь каждого героя отчётливо индивидуализирована. В драматических ситуациях вступают в борьбу яркие, выпукло очерченные характеры.

Как правило, такой диалог-«схватка» или диалог-«битва» возникает в сюжете остро конфликтном, столкновение характеров вызывает порою искру мощного разряда...

В диалоге Макара Нагульнова и Григория Банника автор, используя едва ли не каждую реплику как точнейшую речевую характеристику персонажей, на столкновении этих характеров замешивает взрывчатый «сюжет» диалога, естественно и приводящий к взрыву. Самоуверенный, вызывающе улыбающийся, ехидный и озлобленный Банник довольно быстро выводит из себя буйно темпераментного Нагульнова, краснознаменца, героя-партизана времён гражданской войны.

Итог этого диалога-схватки — несомненная победа Нагульнова, хотя и достигнутая весьма спорными средствами.

А вот совсем иной диалог. И совсем другой поединок. Из абсолютно иной сферы человеческих взаимоотношений. Дело касается любви.

Бесовски хитрая Лушка приходит к Давыдову и, поначалу изображая готовность следовать гражданским советам Давыдова, якобы проснувшийся в ней живой интерес к колхозным делам и нуждам, старательность и в этих заботах, и в самообразовании — даже политическом... по сути дела, проводит сокрушительный, молниеносный штурм позиций противника. Да, собственно, и штурмом это назвать можно лишь условно: «противник» сам с готовностью идёт в плен.

Драматично построение у Шолохова диалогов-«схваток»,

они до отказа начинены психологическим зарядом и психологическим действием.

Вспомним опять-таки совершенно иной смысл и характер противоборства сторон в широко известном диалоге Андрея Соколова и лагерфюрера Мюллера! Здесь ошиблись в поединке два мировоззрения, два мира.

Это схватка не на жизнь, а на смерть. И увенчивается она победой советского воина, одного из миллионов сыновей нашего народа. Диалог насыщен энергией, ёмким подтекстом. Художник достигает, как и в ряде других диалогов, классической простоты и совершенства формы.

•

Необычайно сильны у Шолохова «лирические отступления». Например, известное место в третьей книге «Тихого Дона»:

«Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-солёный запах, жуёт шелковистыми губами и ржёт, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок и суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!»

Или необычайной силы внезапное вторжение авторского «я» в эпический лад «Поднятой целины»: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову...»

И вот едва ли не самая шолоховская черта в манере повествования, притом особенно чётко определившаяся в пору расцвета мастерства,– сближение повествователя и героя в авторской речи. Что это такое и в чём выражается?

Порою автор ведёт повествование от себя, словно бы от себя... но включает в него непосредственно и слова из лексикона героя, представления, присущие уровню сознания героя, а не автора.

Не будем сосредоточиваться на том, под каким классификаторским термином мы могли бы занести этот приём в реестр рассмотренных нами. Поможет ли нам уяснить сущность приёма, его назначение, отчётливее воспринять

его художественный эффект, если мы зарегистрируем его под рубрикой, скажем, «несобственно-прямой речи»? В какой степени близок он по своей природе, своей направленности к «внутреннему монологу»? Отметим и подчеркнём другое — то, что такой приём служит писателю постоянным и верным средством сближения не только автора и героя, но и героя с читателем. Вот его прямая цель: создание теснейшего контакта между героем и читателем, интимнейшее проникновение в круг представлений, мыслей, эмоций того или иного персонажа.

«Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чём она подумала? И почему в глазах её мелькнул испуг, когда он взял её на руки? Может быть, она всё время думала, что отца нет в живых и он никогда больше не вернётся, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чём не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать... Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей».

Совершенно очевидно, что это последовательный ход мыслей Григория (не автора!). Стоит только обратить внимание на ступенчатый ритм задаваемых вопросов, высказываемых предположений и т. д., чтобы убедиться в этом. Да и предшествует этому отрывку ясная фраза: «Потом Григорий стал думать о детях». Однако эти мысли не заключены в кавычки, то есть не выделены внешним обозначением как мысли персонажа. Более того, весь рассказ ведётся в третьем лице. Следовательно, хотя бы по форме это речь «от автора»?

Всегда ли только по форме? Настолько гибка конструкция, что способна передавать тончайшие оттенки: то преобладает мир чувств и мыслей героя, то выступает на первый план автор-повествователь.

Вот, например:

«Такое же безлюдье и такие же следы поспешного бегства жителей видел Григорий, когда казачьи полки ходили по Восточной Пруссии. Теперь довелось ему увидеть это же в родном краю... Одинаково угрюмыми и ненавидящими взглядами

встречали его тогда — немцы, теперь — казаки верхнего Дона».

Пока обычная авторская речь. Но вот:

«Опять подступила к сердцу проклятая боль...»

Тут уж автор явно как бы повторяет слово самого Григория. Затем следует переданный, вне всякого сомнения речью автора, пейзаж, картина опустошённого хутора. И — вдруг снова:

«Во сне или в далёком детстве видел всё это Григорий? Охваченный внезапным приступом горячей тоски, он лёг под плетень ничком, закрыл лицо ладонями...»

Снова ,мы воспринимаем всё гладами не автора, а Григория, следим за ходом его раздумий. Автор на мгновение даже как бы отходит на шаг в сторону: ведь на самом-то деле кто же, как не он, всё знает о Григории... Это Григорий может вспоминать: «Во сне или в далёком детстве?»

А дальше? «В степи — тишина и ветерок, напитанные родным и горьким запахом полыни». В данном случае — «родной» для Григория! Это слово по внешности выбивается из строя авторского повествования, но оно более чем уместно в том, что так непонятно именуется «несобственно-прямой речью», что способствует интимному духовному общению автора — героя — читателя.

«Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную жёлтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Всё было кончено».

Последние две фразы по форме содержат в себе авторскую констатацию объективной данности. А по сути? Психологическое состояние Григория. Его субъективное восприятие того, что произошло в его судьбе.

Примечательно, что взгляд героя и взгляд автора на одно и то же явление здесь совпадают, во всяком случае — очень близки друг другу.

А вот ещё пример, где автор уже не вторгается со своим восприятием явления, переживания, но сохраняет за собою форму ведения рассказа: «Они сели ужинать, и слова к Аксинье вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней; на него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают её взгляды, можно было говорить глазами всё, не таясь и не смущаясь. Господи.

как она соскучилась по нем, как истомилось, наскучало по этим большим неласковым рукам её тело!»

«Она жадно вдыхала исходивший от него смешанный запах терпкого мужского пота и табака, такой знакомый и родной запах, свойственный лишь одному ему. Только по запаху она с завязанными глазами могла бы отличить своего Григория из тысячи мужчин...» Это констатация автора? Конечно же, нет. Это стон Аксиньи, из её сердца вырвавшийся, хотя мы слышим и речь автора, объясняющую нам состояние Аксиньи в эти минуты.

Может быть, допустимо эффект этого художественного приёма, совершенной техники его выполнения уподобить эффекту стереофонии?

Иногда слова, включаемые в авторскую речь, звучат очень эмоционально, на самом же деле автор лишь фиксирует эмоцию героя. Она притом такова, что и не нуждается в выражении либо солидарности автора с нею, либо отрицания её (опять-таки автором). «Чёрт возьми, не мог же он в самом деле щеголять без рубахи!» Ясно ведь, что не автора это возглас, а самого Давыдова....

Или ещё о Давыдове: «Что ни говори, а потрудился он эти дни во всю силу, и пусть не обижаются на него за чрезмерную нагрузку ни погоныч Варюха, ни Кондратовы быки... А интересно будет в октябре взглянуть на этот массив...»

Характерный способ переключения внимания с авторского комментария, авторской живописи словом на внутренний мир героя, перехода в «несобственно-прямую речь» — применение фразы с отрицанием.

«Нет, вовсе не всё было понятно для Федотки. Такое легкомыслие при мене, которое проявил взрослый дядя, крайне удивило Федотку и даже как-то насторожило его... Роскошный, блестящий на солнце нож и ни к чему не пригодная круглая железка,– нет, тут что-то не так!»

(В этом примере помимо «нет...» отлично срабатывают и другие компоненты: мнимое «легкомыслие» «взрослого дяди», «роскошный» нож, «ни к чему не пригодная круглая железка»...)

«Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразна стала её голова, после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая,

некрасивая и всё же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший её шею. Всё это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то тёплое, ласковое, но не нашёл слов и, молча притянув её к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал её лаской. Аксинья заслоняла её всю жизнь».

«Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведёт он казаков под пулемётный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую».

Не менее характерно появление в речи констатирующей, информирующей, живописующей интонаций предположительных:

«Почему у неё такие печальные глаза? И ещё что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна... Может быть, она прослышала о том, что он в Вёшенской встречался с Аксиньей?»

«Разговор ли с Копыловым или стычка с Фицхалауровым, а может быть, то и другое, вместе взятое, было причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти».

«Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе?»

«А ведь неспроста Давыдов в разговоре с Варей случайно обмолвился, что счастье его «осталось за кормой».

Да и было ли оно, это счастье, в его суматошной жизни? Вернее всего, что нет».

Вот отрывок, в котором мастерски перемежаются разные интонации, разные приёмы. Вначале эпический строй повествования:

«Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость-то эта резче, безжалостней подчёркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков — растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и

теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней,– не дождаться милых сердцу! Сколько ли будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слёз,– не замыть тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок,– не донесёт восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..»

Затем — типичное «лирическое отступление»:

«Травой зарастают могилы,– давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших,– время зализет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождётся, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...»

Возвращение к повествовательному слогу, но с нарастанием динамизма и драматичности:

«Билась головой о жёсткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, нянчит детей и раздаёт им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами».

И, наконец, тот приём, который нас сейчас интересует, причём настолько сливается здесь автор со своими персонажами, что нелегко уловить, чей же голос преобладает:

«Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной тяжкой жизни волосы, кусан своп в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмёт к груди твою голову ночью, когда упадёшь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюн, Аниська! Проживём!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих полуголых, сопливых детей отца; сама будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки, метать на воз, поднимать на трончатках

тяжёлые вороха пшеницы и чувствовать, как рвётся что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лопухами, и исходить кровью».

Другая тональность, но по главным признакам аналогичный случай: трудно различить голос автора и «внутренний голос» (течение мысли) героя, и столь же тесно слиты автор и герой в отношении к тому, о чём ведётся речь. Детали заставляют утверждать, что преобладают ощущения героя:

«Вагон мягко покачивает, перестук колёс убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки жёлтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колёс: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — всё дальше фронт».

Говорит автор: «Григорий сидел на лавке, не скидывая шинели. Небритые щёки его пылали, на опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи».

Продолжает звучать голос „автора, но слово, эмоция уже — Григория: «Она чертовски похорошела за время его отсутствия».

То же чередование. Вначале: «На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завёрнутый в клеймёную чистую рубаху расписной платок. Его купил он в Житомире у торговца-еврея за два рубля и хранил как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью, когда он, вернувшись домой, развернёт перед ней узорчатую ткань».

И — вдруг всплеск: «Жалкий подарок! Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатейшего в верховьях Дона помещика?»

Затем возвращение к прежнему описательному строю повествования: «Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Сумку швырнул на лавку, вошёл в комнату».

Нечто схожее читаем о Размётнове: «Андрея Размётнова провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был идти в строй на своём коне. Но не только коня,– и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталась в наследство одна дедовская шашка в отёрханных, утративших лоск ножнах. Век не забыть Андрею горького унижения!»

Это всплеснулось чувство обиды Андрея, не приглушённое временем.

Так же возникает его эмоция, его горькое раздумье в совсем ином месте романа, при совсем других обстоятельствах:

«С какой же страшной и обидной поспешностью пролетела жизнь!..»

Об Аксинье: «Ей очень хотелось под каким-нибудь предлогом пойти к Мелеховым, побыть там хоть минутку, хоть одним глазком взглянуть на Григория. Просто немыслимо было думать, что он тут, рядом, и не видеть его. Но она всё же пересилила это желание, не пошла. Не девчонка же она, в самом деле. В её возрасте незачем поступать легкомысленно».

«В конце концов не всё ли равно, что подумают о ней соседи? Пусть для них сегодня — будни, зато для неё — праздник».

«Выбор он сделал, но преждевременно говорить об этом не хотел. Незачем было отравлять ей последние дни, они и так были не очень-то весёлыми. Об этом надо будет сказать в последний день, так он решил. А сейчас пусть она спит спокойно, уткнувшись лицом ему в подмышку. Она часто за эти ночи говорила: «Хорошо мне спать под твоим крылом». Ну, и пусть спит пока. Недолго ей, бедной, осталось прижиматься к нему...»

«Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без того было достаточно тяжко. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось — будто сердце у него освежёвано, и не бьётся оно, а кровоточит».

А вот совсем иное. В уже знакомом нам течении «стереофонического» повествования вдруг остаётся, вытесняя голос героя, один голос автора, хотя внешние контуры слога сохраняются. Но в данном случае вряд ли можно сомневаться, что заключительная сентенция принадлежит только автору:

«Вот уж чего никак не ожидал Давыдов и никогда не думал о том, что такая новость может повергнуть его в полное смятение! Растерянный, онемевший от неожиданности, чувствуя острую боль на сердце, он молча сжал Варины руки и, слегка отшатнувшись, смотрел на её склонённое заплаканное лицо, не зная, что сказать. И только в этот момент до него наконец дошло, что он, таясь от самого себя, пожалуй давно любит эту девушку — какой-то новой для него, бывалого человека, чистой и непонятной любовью и что сейчас вот уже в упор подошли к нему две печальные подруги и спутницы почти каждой настоящей любви — разлука и утрата...»

И опять пример почти полной слиянности голосов автора и героя:

«Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щёк наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли».

Или: «Неужели мамаша не ждала меня? Может, она тут чего прихоронила?» — подумал он. И, обнажив шашку, концом её поддел половицу. Скрипнув, она подалась. Из подпола пахнуло сыростью и гнилью. Мишка стал на колени. Не освоившиеся с темнотой глаза его долго ничего не различали, наконец, увидели: на разостланной старенькой скатерти стояла полбутылка с самогоном, сковорода с заплесневелой яишней, лежал наполовину съеденный мышами кусок хлеба; корчажка плотно накрыта деревянным кружком... Ждала сына, старая. Ждали, как самого дорогого гостя!»

И ещё прекрасные строки:

«Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, тёплой подушкой и ещё чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его,– как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие чёрные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ремённой амуниции...

Глаза Григория застилала туманная дымка слёз, под усами дрожали губы... Раза три он не ответил на вопросы

отца и только тогда подошёл к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастёрки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слёзы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный бьётся колокольчик... Впрочем, всё это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провёл её без сна...»

Снова разновидность использования приёма: эмоциональный накал, экспрессия сохраняется, но автор со своим отношением отходит в сторону, воспринимаются только эмоции героя:

«По сути не надо бы посылать Дарью... Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до весёлого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но, кроме неё, никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что — не девичье это дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны?»

«Не надо бы», «нельзя», «не девичье это дело» — говорит все слова как бы автор, но суждения-то это Пантелея Прокофьевича.
Другой такой же пример с тем же персонажем:

«Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофёр в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофъевича, а тот, как стал навытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли позади и были по виду наряднее — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его всё больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевпч был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже както обидно и за своё торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Чёрт возьми,

если б он знал что явятся этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропечённым хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов ещё никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось: минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребятишки, а один чертёнок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хромой Мелехов накопился! Будто ерша проглотил!» Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну... Внутри у Пантелея Прокофьевича всё клокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус атаманишка! Пришёл, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотру: иной идёт — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется, икона, а не генерал! А эти — все в зелёном, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеёй, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдёшь, хоть с фонарём ищи...»

О Михаиле Кошевом:

«А потом сел за стол, широко расставил локти и долго сидел в одиночестве, стиснув зубы, выставив вперёд нижнюю челюсть. Боже мой, каким же сукиным сыном был он всё это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом...»

«Невесёлая была жизнь в Татарском в ту осень... Визжали на ходах и арбах неподмазанные колёса, сохла и лопалась без дёгтя ремённая упряжь и обувка, но скучнее всего было без соли. За пять фунтов соли в Вёшенской отдавали татарцы сытых баранов и возвращались домой, кляня Советскую власть и разруху. Эта проклятая соль много огорчений причинила Михаилу...» Разумеется, но автор называет соль проклятой...

Почти такая же конструкция для Григория: «Умел этот однорогий дьявол снимать налыгач, ночью поддевал рогом завязку на воротцах скотиньего база, выходил на

волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей и огорчений доставил в своё время он Григорию...»

Снова — о Григории: «Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены. И эти руки свяжут? Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдёт туда! Завтра — пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор, проживёт этот день с детьми, увидится с Аксиньей и утром вернётся в Вёшенскую. Чёрт с ней, с ногой, которая побаливает при ходьбе. Он только на один день сходит домой — и вернётся сюда, непременно вернётся. Завтра будь что будет, а сегодня — нет!»

«Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразвёрсткой и что во время выпивки об этом неизбежно пойдёт речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком».

До сих пор мы имели дело с героями, в той или иной степени дорогими сердцу автора. Можно было бы подумать, что приём этот годится лишь для них. Нет, он говорит не о единомыслии, а о глубоком проникновении во внутренний мир героя, об умении ввести в этот мир вместе с собою читателя. Не ведя его за руку, а как бы пропуская вперёд, оставляя его рядом с героем, до минимума сокращая своё посредничество между ними.

Два-три примера. Автор предоставляет «площадь» в своём тексте для отрицательных персонажей, сохраняя за ними право пользоваться их лексиконом, выражать их, чуждое автору, отношение к тем или иным явлениям жизни.

«Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он произведён в вахмистры, а затем в подхорунжий и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении, за Донцом; лёгкий защитный френч так и распирали широченные Митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади... Быть бы Митьке но его- наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять

священную особу его императорского величества, если бы не эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества... А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам водил на распыл заподозренных в большевизме, не брезгал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всём отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, говорил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!» И ещё одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпустить живым из рук,– его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пятидесяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не ослушивая, уверенно заворачивали в рогожу... Из-под Митькиных рук ещё ни один осуждённый живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, побитых мною, посымать штаны да юбки,– весь хутор Татарский одел бы!»

Размышления английского полковника:

«Полковник немного знал историю; рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придётся идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят,– полковник был твёрдо убеждён. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...»

Ещё раз о Якове Лукиче Островнове:

«Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они — советские, а Советская власть обижала

Якова Лукича налогами ц поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато — сытней сытого. Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крест-накрест. Яков Лукич, как ребёнок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в Новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек трёх работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь!), думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика — войскового старшины Жорова — его полузаброшенную вальцовку... В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чёртовой кожи, а в чесучовой паре, с золотой цепочкой поперёк живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка-выползень, слезут чёрные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новопавлова... Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная скатерть-новка! Революция дохнула холодом невиданных потрясений, шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигавшееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил нажитое... Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десяток и кожаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул, посев. Подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним, как стеновой вихрь над травой: погнуть — погнул, а чтобы сломать пли искалечить — этого не было. В бурю лишь тополя да дубы ломает и выворачивает с корнем, бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встаёт. Но вот «встать»-то Якову Лукичу и не пришлось! Потому-то он и против Советской власти, потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него, потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублёвкой, или и эту кинуть. Поэтому и

режет четырнадцать штук овец Яков Лукич — член правления гремяченского колхоза».

Итак, главная цель приёма — углублённое проникновение читателя в психологию изображаемого автором человека, в его характер, в мир его представлений. При всём многообразии красок, разновидностей, вариаций — это смысл приёма. Он никогда не воспринимается как нечто нарочитое. Виртуозное мастерство прозаика проявляется здесь, как и во многих других художественных особенностях произведения, с полной силой.

Надо ли оговариваться, что этот приём имеет богатую традицию в отечественной литературе? Одним из первых, если не первым, кто ввёл его в практику русской словесности, был великий наш поэт — и великий прозаик – Пушкин. Хрестоматийными примерами может служить использование «несобственно-прямой речи» в «Барышне-крестьянке» и «Полтаве». Не чуждался своеобразного приёма такой виртуозный мастер прозы, как Гоголь. Охотно и часто применялся и применяется он прозаиками Грузии, Армении, Латвии, Эстонии, Литвы да и многими-многими другими.

Для Шолохова «несобственно-прямая речь» — приём излюбленный, чрезвычайно характерный, он доведён писателем до высокой степени точности и многообразной выразительности. Уже в ранних рассказах зачастую обращается автор к «несобственно-прямой речи». Позже — в «Тихом Доне», «Поднятой целине», «Они сражались за Родину» — писатель, используя это благодарное художественное средство, дал подлинные образцы совершенного мастерства.

•

Охватывая взором распахнутое перед нами художественное полотно, мы видим и реалистическую верность изображения в целом, и строгую соразмерность его частей. Вглядываясь же пристально в любую из фигур, во множестве выступающих в этой эпической картине, нельзя не поразиться достоверности деталей. Словно в ярком солнечном свете, видим мы каждую чёрточку лица шолоховских героев, все подробности портрета, которые находит художник. Красочная живопись, точный рисунок сочетаются со всеми многообразными средствами художественного изображения.

Неотрывны психологические и внешнепортретные черты в обрисовке образа Давыдова от выразительной и не менее убеждающей речевой его характеристики. Что можно изменить или отвергнуть как необязательное из подробностей, которые создают образ Щукаря? Даже его белая шуба кажется необходимой, единственно возможной для него художественной деталью.

Реалистичность изображения неизменно включает в себя в произведениях писателя, как и сама действительность нашей страны, героическую романтику. Трезвую, сугубо практическую деятельность Давыдова окрыляет мечта о коммунистическом будущем, эта мечта безраздельно владеет помыслами Макара Нагульнова. В скромных делах гремяченского колхоза художник-реалист сумел увидеть возвышающую романтику ломки старых устоев крестьянской психологии, романтику новых отношений, завязывающихся между людьми, романтику строительства нового мира. Высоко романтичен в «Поднятой целине» образный рассказ о том, как в стране социализма менялись взгляды людей на труд.

В описании жестоких испытаний, которые выпали на долю Стрельцова, Лопахина и их боевых товарищей – героев романа «Они сражались за Родину», постоянно присутствует величественный мотив беззаветного служения советской родине, счастье, свободу, независимость которой отстаивали эти люди против её лютого врага — гитлеровского фашизма.

Писательскому мастерству Шолохова посвящаются и будут посвящаться обстоятельные исследования. Особенно характерно для него как художника мастерство в том величайшем искусстве, которое делает литературу, по выражению Горького, «человековедением».

Очевидно воздействие Шолохова на рост писательских талантов, украсивших нашу многонациональную литературу. Речь идёт, конечно, не о внешнем подражании, не о копировании приёмов. Обращение к богатейшему опыту Шолохова помогло и помогает раскрываться лучшим сторонам ярких и самобытных дарований.

Мы знаем, что Шолохов уподобил писателя, обучающего молодых собратьев, орлу-беркуту, который учит орлят смело, стремить свой полёт ввысь. Он имеет особенное право говорить о писательском творчестве как об отважном и гордом полёте. Именно такой образ возникает при

мысли о его собственном таланте, об этих распахнутых широких крыльях, о зорких глазах, открыто глядящих навстречу солнцу.

Вновь и вновь невольно возвращался к этому образу автор, работая над книгой, выход которой приурочен к 70-летию Михаила Александровича Шолохова.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Может быть, точнее было бы назвать эту главку: «Из папки «Шолохов»... В папке — или папках — с такой надписью хранится среди прочих материалов увиденное, узнанное, прочитанное, что ещё не включилось в ткань какой-либо работы, может быть, и не включится, но само по себе и вкупе с другими подобными заметками способно представить интерес не только для собирающего, а и для читателя. Да и вообще эта не оформившаяся, не сложившаяся, живая мозаика (скорее — элементы мозаики) самой своей незавершённостью пусть свидетельствует об активном процессе, отдельные моменты которого отразились в ней.

•

Есть некоторые старые издания, помогающие заглянуть в историю донского казачества. Например, «Материалы для истории Войска Донского», изданные в Новочеркасске, в Войсковой типографии, в 1864 году. Это собрание грамот, составленное, судя по предисловию, И. Прянишниковым. Или: «Донцы. Исторические очерки военных действий, биографии старшин прошлого века, заметки из современного быта и взгляд на историю Войска Донского. Михаила Сенютка. В двух частях с приложением актов и таблицы регалий Войска Донского» (Москва. В типографии С. Селивановского. 1866). Или: «Трёхсотлетие Войска Донского. 1570—1870 гг. Очерки из истории донских казаков. Составил А. [Андроник] Савельев. Издание Донского войскового статистического комитета. Санкт-Петербург, 1870».

Интересны страницы, дающие возможность установить сроки, от которых пошло донское казачество:

«Ещё в 1549 году известен был на Дону некто Сары-Азман, который устроил в трёх, четырёх местах городки и делал нападения на ногайских татар. В это время ногайские люди

ходили к Москве с торгом, и, когда шли назад, на них напали казаки Севрюки, которые на Дону стояли, причём одних побили и купы их взяли, а других повели к русскому царю. На жалобы ногайского Юсуфа Иоанн отвечал, что эти холопы его в Русской земле многое лихо учинили и убежали на поле. Спустя полтора года султан турецкий уже жалуется, что русский царь Иван все поле и речки у него поотымал, отнял Дон и волю в Азове, казаки царя Ивана с Азова оброк берут, воды из Дона пить не дают и крымскому царю делают великие обиды.

В начале 1570, года Иоанн Грозный прислал на Дон свою грамоту, которая считается первою по времени и с которой начинается признанное московскими царями существование Войска Донского. Послу Новосильцеву, отправленному в Крым, поручалось передать эту грамоту атаманам и казакам, которых найдёт он на Дону, и уговаривать их служить государю и его, Новосильцева, в царских делах слушать во всём. В то время,– как говорил турецкий султан,– казаки жили Азовом, а Азов — казаками: они ежегодно приходили под город, разоряли его, брали пленных и всё это делали без царского указа и ведома. В грамотах турецкому султану, в ответ на его жалобы на казаков, московские цари обыкновенно говорили: «Донские казаки не по нашему веленью живут, бегая из разных земель нашего государства и из Литовской земли; и всякие мирные и бранные дела у них делаются без нашего ведома; мы сами по всем своим украинам заказали, что если донские казаки будут приходить в украинские города, то чтобы их ловили и казнили смертию. А что близ Азова живут казаки, то те тоже беглые люди, они там живучи и постарелись. Ссоры же между азовцами и казаками бывают от того, что азовские, крымские и ногайские люди ходят на наши земли, берут в плен и увозят в Азов, казаки же этого не могут терпеть и сами приходят на них войною». Но в это же время донские атаманы и казаки служили Московскому государству в других местах».

Любопытны многие штрихи.

Опасным и назывались грамоты, предупреждающие об опасности, извещающие о состоянии тревоги.

Некоторые грамоты начинались таким обращением: «От Донских атаманов и молодцов, и от всего великого Войска Донского, во все верхние городки атаманам и молодцам челобитье!»

Из жалобы донских казаков царю на воеводу астраханского, на калмыков: «У нас на Дону живут друг другу угождаючи, а не досаждаючи». И скорбное добавление**:** «Теперь такое шаткое время стало, что нам, кроме худа, ожидать нечего. Как жить нам, мы и разуму не приложим: надо постоянно беречься от неприятеля, а ещё более от своих: дураков явилось много».

Казаки полагали, что с азовскими людьми тюшманиться им не пристало.

Послал царь на Дон своего, так сказать, наместника Ивана Карамышева, дав ему широкие полномочия с целью прибрать казаков к государевым рукам,– и получил от донских казаков ответное письмо. В письме сообщалось о злокозненных намерениях царёва посланника и царя уведомляли: «Но Бог помиловал нас, грешных, Христос объявил нам то злоумышление Ивана Карамышева, и мы от горести душ своих, за великую неправду, его обезглавили...»

•

В газете «Известия» (Московский вечерний выпуск) за 6 февраля 1973 года напечатан репортаж с борта научно-исследовательской плавучей лаборатории «Муссон». В репортаже есть такие строки: «Наш боцман — Анатолий Леонидович Чистяков. Он уже 14 раз прочитал «Тихий Дон» Шолохова. («И ещё буду. Хорошую книжку хочется читать снова и снова...») ».

•

В московской школе № 504 успешно, интересно работает «шолоховский зал». Он существует с 1967 года. Душой полезнейшего начинания стала преподавательница литературы в этой школе Галина Александровна Слаущева, связанная своей педагогической деятельностью с коллективом школы уже много лет. В организации зала приняли участие и другие педагоги.

Работа ведётся с размахом и увлечением. Школьники не раз бывали на Дону. Они встречались и беседовали с писателем. Снимали фильмы, делали магнитофонные записи. Посещали редакции журналов, газет, людей, знавших или знающих писателя,– его коллег по профессии,

актёров, художников-иллюстраторов, фоторепортёров, встречались с земляками Шолохова.

В зале хранится диплом I степени, полученный от Государственного литературного музея Москвы.

В «Книге посетителей» зала есть запись, оставленная испанским поэтом Хулио Матеу: «Каким прекрасным примером для понимания роли литературы и искусства в жизни вообще является труд, посвящённый Михаилу Шолохову!»

•

В 1972 году вышел цветной документальный фильм Ростовской студии «Песни тихого Дона» (сценарий и режиссура Леона Мазрухо, оператор — В. Каликьян). Он начинается факсимильными строками Шолохова: «Всё, что помогает сохранять в памяти современников старинное народное песенное творчество,– большее и нужное дело».

•

Довелось мне присутствовать на одной из встреч М. А. Шолохова с генералом М. Ф. Лукиным, в частях которого писатель был в первые месяцы войны. Героика и трагизм военной биографии этого полководца произвели на Михаила Александровича глубокое впечатление. Рассказ генерала был застенографирован (частично воспоминания М. Ф. Лукина опубликованы журналом «Огонёк»), и у автора романа «Они сражались за Родину» зрела идея сделать генерала Лукина прототипом одного из героев романа — сводного брата Николая Стрельцова. Писатель заявлял об этом и в печати. Однако впоследствии замысел претерпел изменения, для создания образа старшего Стрельцова потребовался иной материал.

•

Журнал «Огонёк» напечатал блестящую статью английского писателя Джека Линдсея «Новаторство Шолохова».

«Обращаясь к более отдалённому прошлому, сразу вспоминаешь «Войну и мир» Толстого, единственное произведение, с которым

можно уверенно сопоставлять «Тихий Дон»...» — пишет Дж. Линдсей.

Позволю себе процитировать эту статью попространнее.

«Лирическое в шолоховском таланте то вспыхивает, вскипает, когда речь заходит о противоречиях и нелепостях обстановки, в которой оказываются населяющие роман люди, то приобретает окраску тёплого сочувствия, когда в них проступает то доброе, что заложено в жизни простых людей. Трагическое же даёт себя знать в обрисовке невзгод и упадка, которые несёт с собой на первых порах разлом старого быта,– и не только для тех, кто наживался и жирел при старом порядке, но и для тех, кто не может ясно увидеть лучшее, что предлагает революция...

По сути дела весь роман — это история постепенного, всё ускоряющегося приближения Григория к катастрофе. Извилистый, лихорадочный путь, смена подъёмов и падений — всё это приводит его неотвратимо к полной потере всего, из чего складывается жизнь человека. Все старые связи порваны и отпали. Он остаётся один, отверженный, нагой в своей последней человеческой сущности, безнадёжно заблудившийся и измученный. Он отторгнут от людской общности настолько, насколько это мыслимо по сю сторону смерти...

Благодаря всё тому же шолоховскому тонкому чувству истории, проницательному пониманию того, что ведёт к формированию или распаду человеческой личности, мы отчётливо видели, как всё углубляется пропасть между Григорием и реальной действительностью; но в то же время его последнее одиночество и эта последняя встреча с сыном не производят на нас гнетущего воздействия. В трагическом конце, к которому пришёл Григорий, мы ощущаем некую связь с торжествующим освобождением человеческой жизни революцией. Всё, чего Григорий не смог понять, чего не захотел отстаивать, чему не помог войти в жизнь,– всё это теперь воплощено в ребёнке, его сыне...

Та интерпретация, которую мы дали здесь последним страницам «Тихого Дона» — трагической и рождающей надежду встрече Григория с сыном,– находит, видимо, своё подтверждение в потрясающем рассказе «Судьба человека»... Здесь всё сгущено Шолоховым до основных черт трагедии; и всё-таки здесь как бы находит простое земное завершение то, что осталось только символом в

последней сцене «Тихого Дона». Жизнь, окоченелая, изломанная, нагая и бездомная, снова пускает корни; из безжалостного и бесчеловечного вырастает и утверждает себя человеческая близость — на более широкой, полной и более надёжной основе».

•

Надо думать, ушли в недоброй памяти прошлое попытки кое-где за рубежом извратить смысл и содержание шолоховских произведений при переводе, при издании. Теперь, пожалуй, вряд ли кому-нибудь придёт в голову публиковать «Поднятую целину», обрывая повествование на «бабьем бунте» и избиении Давыдова, как это было сделано в своё время во Франции; также вряд ли рискнёт теперь какое-либо буржуазное издательство подвергнуть искажению и безответственным купюрам «Тихий Дон», как это производилось в своё время одним английским издательством. Теперь переводчика «Тихого Дона» не приходится укрывать и охранять от полиции, как это было в давние годы в Японии.

Борьба реакционной пропаганды против произведений Шолохова, против него как писателя принимает теперь иные формы.

В одном случае делаются попытки лживо истолковать содержание шолоховских книг, приписать автору никогда не имевшие места замыслы, распространять в связи с этим окололитературные сплетни. В другом случае предпринимается не менее безнадёжная попытка противопоставить произведения Шолохова всей остальной советской литературе, противопоставить его творчество социалистическому реализму. В третьем случае враги Шолохова, враги советской социалистической культуры, не останавливаются в своём озлоблении, в своей ненависти перед разнузданной, чудовищной клеветой, горя желанием хоть какую-то тень да бросить на прославленного писателя, опорочить завоевания нашей литературы...

Тщетность подобных усилий очевидна. Очевидна и мера позора, обрушивающаяся на клеветников.

Ставить рогатки на пути движения шолоховских книг к новым и новым миллионам читателей не удастся никому.

Творчество писателя-человеколюбца, всемирно известного художника слова, завоевало и продолжает завоёвывать сердца людей

в самых различных странах, на всех континентах.

Самой жизнью, фактами опрокинуты странные претензии некоторых литературоведов изобразить дело так, будто круг читателей Шолохова в мире относительно ограничен, будто никто из крупных писателей-современников не высказывал оценок, по которым можно было бы судить об их отношении к шолоховским романам.

Можно напомнить, что уже давно существовали и были опубликованы такие высказывания.

Слово Ромена Роллана:

«Лучшие новые произведения советских писателей (например, Шолохова) связаны с великой реалистической традицией прошлого века, в которой воплотилась сущность русского искусства и которую обессмертило мастерство Толстого».

Слово Эрнеста Хемингуэя:

«Мне очень нравится русская литература... Из современных писателей мне нравится Шолохов».

Слово Чарлза Сноу:

«Он необычайно обогащает нашу жизнь».

Слово Мартти Ларин:

«Я лично считаю, что человеку при жизни не следует сооружать памятников. Но что поделаешь, если Михаил Александрович Шолохов своим повествовательным искусством уже воздвиг себе памятник в мировой литературе. И я уверен, что никакие новые течения не способны поколебать его незыблемое положение ведущего прозаика Европы».

Слово Билли Бределя:

«Среди советских писателей Шолохов — одна из ярчайших фигур, крупный художник, подлинный гуманист. Его произведения «Тихий Дон», «Поднятая целина» уже сегодня принадлежат мировой литературе».

Слово суданского писателя Хасана Ат-Тахира Зарука:

«Уже в первых рассказах Шолохова были семена его будущих классических произведений. «Донские рассказы» бурно развивались и вылились в две могучие поэмы: «Тихий Дон» и «Поднятую целину».

Слово Андре Вюрмсера:

«Разумеется, не все нынешние произведения социалистического реализма гениальны, но делать выводы из несовершенных книг

абсурдно: хотят этого или нет, но именно социалистический реализм на своих высших ступенях передаёт то новое, что происходит в мире, и передаёт в свете самых мудрых идей, которыми обладает человечество. Судить социалистический реализм надо по его шедеврам.

По «Тихому Дону».

Слово Анри Труайя:

«Я бесконечно восхищаюсь Шолоховым. Это великий писатель, у которого есть призвание к эпосу, к трагическому действию и лирическое чувство природы.

Его книги полны неистовой силы и поэзии».

Слово Джеймса Олдриджа:

«Блестяще изобразил Шолохов трагедию человека, борющегося против того, что может принести счастье его народу. «Тихий Дон» имеет огромное значение для воспитания молодёжи, пытающейся понять ценность человеческой жизни...

«Тихий Дон», «Поднятая целина», рассказы Шолохова по праву вошли в сокровищницу мировой литературы».

•

Так и прервём главы о творчестве великого нашего прозаика на высказываниях других писателей и на литературно-критическом полуслове... Главы, которые время от времени дополняются, уточняются. Пусть этот процесс будет долгим! Пусть возникает и накапливается материал для новых глав!

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

А. С. МАКАРЕНКО *(критико-биографические очерки)*

Присяга 7
Горький в его жизни 8
Рождение писателя 30
Поэма педагога 39
После «поэмы» 76
Боевое оружие 81
На великом походе 88
Что такое оптимизм Захарова 102
Прощание 116
Верность 127

М. А. ШОЛОХОВ *(критико-биографические очерки)*

Большое сердце художника 149
Слово гуманиста 155
Миру 163
Начало 195
Речь возговорит славный тихий Дон 213
Глубокая вспашка 254
В сражениях за Родину 306
По велению души 331
Музы 347
Секреты 357
Из записной книжки 407

Юрий Борисович Лукин

ДВА ПОРТРЕТА

(А. С. Макаренко, М. А. Шолохов)

Критико-биографические очерки

Заведующий редакцией *И. Бораненков*
Редактор *Т. Бойко*
Художественный редактор *Г. Комзолова*
Художник *Е. Никитин*
Технический редактор *С. Устинова,*
Корректоры *З. Кулемина, Н. Сечина*

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий».
Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л23940. Сдано в набор 3/111 1975 г. Подписано
к печати 31/VII 1975 г. Формат бумаги
$84\times108^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,03.
Тираж 50 000. Цена 1 р. 37 к. Зак. 431В.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская ул., 16.

Оцифровано для страницы
Педагогического музея А.С. Макаренко
(Makarenko-museum.ru)
Нумерация страниц и разбиение текста по ним
с точностью до 1-2 слов на границах страниц
соответствует бумажному изданию